

В. Каверин

ЮНОСТЬ ТАНИ



Детизмиз - 1955



В. Каверин

ЮНОСТЬ ТАНИ



Государственное Издательство
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1955

В. Каверин

ЮНОСТЬ ТАНИ



*Государственное Издательство
ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1955*

Рисунки В. Щеглова

Оформление Н. Шишловского

О Т А В Т О Р А

Юность, задумавшаяся над книгой, — вот образ, который всегда был мне особенно дорог. О чем задумался молодой человек, подняв глаза от лежащей перед ним книги? Что стремится он разглядеть в будущем — далеком или близком? Какой жизненный путь выбирает он из того множества путей, которые открываются перед ним, едва он прощается со школьной скамьей?

«Юность Тани» — это первая часть моей трилогии «Открытая книга», посвященной истории Татьяны Вл́асенковой.

...Я вижу ее девочкой, сидящей на скамейке у ног старого доктора, с книгой в руках — зимним вечером, когда снег падает на маленький городок, затерянный в глуши Российской империи. Я вижу ее девушкой, после школьного бала, когда лучший друг впервые делится с ней заветной мыслью — совершить великое во имя и для счастья народа. Дорога на Пустыньку, высокий берег Тесьмы, неясные купы под обрывом, в которых трудно узнать давно знакомые старые ивы, слившиеся со своими тенями...

Я вижу ее в глухом поморском селе, где, как пожар, из дома в дом перекидывается болезнь и она ходит за ней по пятам — из одного дома в другой. И там, где она появляется, сла-

бый свет надежды возникает в растерянных, воспаленных глазах...

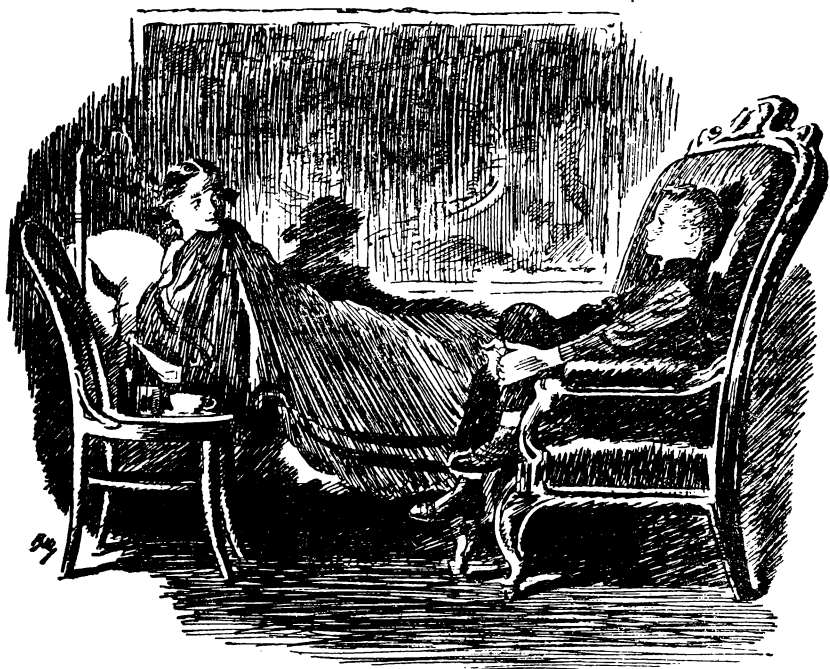
Но не будем забегать вперед. Пускай сама Таня Власенкова расскажет нам о своей юности — о тех годах, когда воспитывается и развивается ум, а сердце глубоко чувствует любовь, доброту, вдохновение.



Глава первая

ПЕРВЫЕ СТРАНИЦЫ





ТАНЯ

Раз-два! Сперва все ножи я воткнула в песок крест-накрест, и получилась прекрасная решетка, совсем как вокруг губернаторского садика на Расстанной. Потом стала по очереди вытаскивать их и снова втыкать — так было веселее работать. В общем, я даже любила чистить ножи, мне нравилось, когда они начинали блестеть. Вытирать посуду — это тоже было ничего, если бы Домна Ефимовна не сердилась, когда нужно было просить у хозяйки чистое полотенце. Сердилась она на хозяйку, а попадало-то мне! Мыть тарелки — это было хуже всего, потому что официанты ставили глубокие тарелки на мелкие селечные, а селедку у нас жарили на постном масле, и такую посуду было очень трудно отмыть.

Сильный мороз стоял на дворе, и левая рука так замерзла,

что даже хотелось постучать ею, как деревяшкой. Но все-таки я вычистила ножи, все до единого, только не стала натирать кирпичом. Трактир Алмазова был в городе, а мы с мамой жили за рекой, в посаде Замостье, и на том берегу начиналась дорожка, по которой ночами я боялась ходить. Черные тени косо пересекали ее, а над головой гулко стучали сухие, замерзшие ветки. Тихонько, чтобы не услышала Домна Ефимовна, я поставила под крыльцо ящик с песком и вернулась на кухню. Лучше было уйти незаметно, тем более что еще несколько грязных тарелок стояло на плите — эти были уже не от гостей; должно быть, сама хозяйка принесла их, пока я чистила ножи на дворе. Осторожно, чтобы не загреметь, я засунула тарелки подальше в стол — вымою утром. Но в эту минуту Домна Ефимовна вышла из своей каморки и закричала:

— Ты что же это делаешь, дрянь этакая! — хотя прекрасно видела, что я уже помыла лохань.

Пришлось засучить рукава и снова приняться за работу.

Теперь я уже не думала о дорожке на том берегу, потому что все равно стемнело, городовые сменились и газовый фонарь — единственный на всю Застенную — зажегся подле трактира. Теперь я беспокоилась, как бы мама не вздумала пойти мне навстречу, а она нездорова и утром, когда мы пили чай, все охала и жаловалась на сердце. Торопливо вымыла, вытерла я хозяйскую посуду, прибрала кухню и, обвязавшись крест-накрест платком, стала натягивать на себя старенькую жакетку, которую я в ту пору носила. Но Домна Ефимовна снова вылезла из каморки — тощая, злющая, в очках, с седой крысиной косичкой:

— А керосин? Забыла?

Батюшки, да что ж это я? Керосин кончается, хозяйка велела сбегать к Бобриковым, а я забыла! Да не потеряла ли еще пятиалтынный? Нет, цел, слава богу.

— Сейчас сбегаю, Домна Ефимовна.

— Сбегаешь! Небось закрылись уже!

— Не беда, зайду с черного хода.

Вот когда действительно нужно было спешить! А что, если Бобриковы не отпустят с черного хода? Бутыль стояла в сенях, я схватила ее, опрометью выбежала на улицу, — и в двух шагах от меня промчались покрытые богатой медвежьей полостью широкие сани.

— Дорогу!

Сани круто повернули за угол, но я успела заметить, что какой-то полный человек в светлой шинели — гимназист или офицер — сидел на облучке, отчаянно нахлестывая лошадь.

— Дорогу! — снова крикнул кто-то у меня за спиной. Я не поняла, обернулась. Другие сани вылетели вслед за первыми.

Широкая грудь лошади вдруг надвинулась на меня, и оказалось, что я лежу на мостовой, а снег под полозьями скрипит где-то далеко-далеко. Только что мне было холодно, я крепко держала бутылку из-под керосина в руках и волновалась, что опоздаю. А теперь мне было не холодно, и я нисколько не волновалась, а лежала и смотрела на небо. А потом пропало и небо...

* * *

Придя в себя, я прежде всего вспомнила эту минуту — когда почувствовала, что сейчас кончится не знаю что, но самое последнее в жизни. Я лежала, не открывая глаз, и думала. Было трудно вздохнуть, но все это происходило уже после той последней минуты. После! Я стала радостно, шумно дышать. И потом несколько раз возвращалась к этому счастливому «после».

Но где я? Что со мной? Что это за маленькая высокая комната с темным кругом на потолке? Какая-то таблица висела на стене, два одинаковых темнокрасных комода стояли рядом, покрытые одной накидкой с кистями, — значит, я не в больнице? И не дома?

Я хотела привстать, оглядеться, но в эту минуту где-то очень близко за стеной раздались шаги, и что-то тяжелое стало толкаться о стены. С медленно бьющимся сердцем я долго слушала эти удаляющиеся, тяжело переступающие шаги. Огромный зверь, вроде мамонта, которого я видела в «Природеведении» у Лельки Алмазовой, представился мне, и я почти увидела, как он спускается с лестницы, упираясь в стены боками.

Шаги умолкли, и с другой стороны, за стеной, слышались скрип пера и долгое невнятное бормотанье. Я прислушивалась, переставала, снова прислушивалась — все скрипело да скрипело перо, все кто-то грустно бормотал за стеною...

Но самое главное заключалось в том, что в этой комнате я была не одна.

Какой-то гимназист, подложив под щеку ладонь, скорчившись так, что подбородок упирался в колени, крепко спал в старом кожаном кресле у моего изголовья. Он спал, хотя было утро или день и яркое солнце смотрело в окно, освещая странные здания с многоэтажными крышами, изображенные на выгоревших обоях.

Мне было трудно дышать, какие-то твердые бинты с палками на груди мешали мне, я не могла даже подняться на локте. Но я все-таки поднялась. Я долго разглядывала его. Он неслышно дышал, и вокруг было так тихо, как будто дом был заколдован и все остановилось в этой солнечной однообразной тишине, прерываемой лишь скрипом пера да сонным бормо-

таньем за стеною. К счастью, мамонт больше не спускался с лестницы. Хотя теперь мне даже немного хотелось, чтобы он спустился еще раз.

Зато я сама куда-то спускалась, очень медленно — как будто даже нарочно так медленно, чтобы не было страшно...

Когда я очнулась или проснулась снова, был уже вечер, потому что пагоды на стене — я потом узнала, что эти зданьица с многоэтажными крышами называются пагоды, — были красными от заходящего солнца. Два голоса спорили надо мной, и прежде чем совсем открыть глаза, я несколько раз приоткрывала их и опять закрывала.

— Мало того, что ты чуть не утопил мальчика из прекрасной семьи, — сердито говорил женский голос, — теперь еще эта история, о которой говорит весь город! Имей в виду, что больше я не ударю пальцем о палец! Расхлебывай сам эту кашу. Тебя исключат...

Вот тут я в первый раз широко открыла глаза. Я увидела полную даму в пенсне, которая, гордо закинув голову, смотрела куда-то мимо меня. У нее была старомодная твердая прическа с-валиком — таких уже давно никто не носил, и мне показалось, что все на ней такое же твердое, как эта прическа, — юбка до земли, шнурок от пенсне. Даже боа (она была почему-то в боа), которому по природе полагается быть мягким, тоже как-то твердо лежало на ее полных плечах. Давешний гимназист, улыбаясь, стоял у меня в изголовье.

— Мамочка, честное слово, не стоит так волноваться! В крайнем случае, переведут куда-нибудь... И еще лучше! На пари — золотая медаль!

— Не переведут, а исключат.

— Однако Раевского не исключили.

— У Раевского отец — директор банка.

— Тем более! Неудобно же его оставить, а меня исключить.

Полная дама сняла пенсне, и я увидела, что ее близорукие глаза были полны слез.

— Да что говорить, — сказала она и безнадежно махнула рукой. — Никогда я не думала, сколько будет горя с тобой. И так бьешься, как рыба об лед, только и думаешь, как бы вытянуть вас, а ты...

Она хотела уйти, но гимназист обнял ее, даже не обнял, а обхватил сверху, потому что оказалось, что она ему едва по плечо.

— Конечно, плохой, что же делать? — с нежностью сказал он. — Но ведь я же слово дал, вы об этом забыли? Если Таня поправится...

Я смотрела на него через щелки век, но когда он сказал «Таня», поскорее снова закрыла глаза.

Они еще спорили, но я больше не слушала их. Мне стало так страшно, что я не поправлюсь, что я даже сжала колени и положила ладони на грудь. Нужно было сделать что-нибудь — встать или крикнуть.

— Мамочка!

Полная дама вздрогнула и бросилась ко мне:

— Очнулась? Таня, милая! Очнулась?

— Очнулась? — дрожащим голосом спросил гимназист.

Он выбежал, и из комнаты в комнату стало передаваться: «Очнулась, очнулась!» Сперва переспросил высокий мальчишеский голос, потом старческий — кажется, тот самый, который только что бормотал за стеной. Залаяла собака, захлопали двери, и старик в длинном сюртуке, в измятых штанах, засунутых в огромные боты, с большой бородатой головой вошел и, опираясь на две палки, остановился в дверях.

Вероятно, этого было уже слишком много для меня, потому что я снова закричала:

— Мамочка!

Все стало сдваиваться перед глазами, домики с многоэтажными крышами снялись со стен и рядами стали уходить от меня.

Я слышала, как полная дама взволнованно сказала кому-то: «Полотенце!» — и, называя мою мать по имени-отчеству (это поразило меня), послала кого-то за нею. Страшный старик, тяжело опираясь на палки, подошел к моей постели и не сел, а свалился в кресло. Он взял меня за кисть и стал прислушиваться, глядя прямо в мое лицо грустными глазами. Потом махнул рукой, и все на цыпочках вышли.

Возможно, что он поил меня с ложечки какой-то жидкостью, довольно приятной на вкус, которую непременно нужно было выпить — так он сказал, — чтобы пришла моя мама. Я послушалась, и правда — мама пришла, и я, как всегда, немного огорчилась, что у нее такие черные, провалившиеся глаза и такая морщинистая, худая шея.

Я сказала ей:

— Мама, возьми меня домой.

Она поцеловала меня и стала говорить, что теперь — скоро, а прежде нельзя было, доктор не велел. Я уснула, держа ее руку в своей.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ АНДРЕЙ

Мальчик лет тринадцати в гимназической серой рубашке неторопливо подошел ко мне, когда я очнулась. Он был чем-то похож на давешнего гимназиста, и я подумала, что они, на-

верно, братья. У того были веселые серые глаза, а у этого тоже серые, но, как мне показалось, тяжелые, с ленивым выражением. Я поняла, что это дежурство, то-есть что мне еще так плохо, что нельзя оставлять одну.

— Тебе нужно что-нибудь? — спросил он. — Хочешь чаю? Я покачала головой.

— Ничего не ела целый день, — медленно сказал мальчик. — Ну, хлеба с маслом? Съешь, пожалуйста, а то мне неприятно, что ты голодная.

Я сказала:

— Потом.

— Ладно. — Он подумал. — А теперь вот что: ты имей в виду...

Он смотрел прямо на меня — даже не смотрел, а разглядывал, — и так внимательно, что мне стало неловко.

— Ты имей в виду, что все это вранье.

— Что вранье?

— А вот, что мать говорит, что она к тебе привязалась. Она твоей матери сказала, я слышал. Это невозможно хотя бы потому, что ты все время была без сознания. К тебе можно было так же привязаться, как к бревну. Она это утверждает, чтобы твоя мать не подняла шуму. То же самое и насчет прогимназии.

— Как — прогимназии?

— Когда ты поправишься, — задумчиво продолжал мальчик, — она обещала отдать тебя в прогимназию Кржевской.

Меня? В прогимназию Кржевской? Я открыла рот, чтобы не задохнуться от счастья, и поскорее положила руку на грудь. Я буду ходить в коричневом платье с черным передником, носить книги на левой руке, учить уроки, получать отметки...

— Твоя мать — портниха?

— Да.

— Значит, ты бедная?

Я пробормотала:

— Не знаю.

— Наверно, бедная, если даже не можешь поступить в прогимназию Кржевской. Мы тоже бедные, хотя мать почему-то не хочет в этом сознаться.

Он помолчал.

— Тебе интересно, что происходит в душе?

Я сказала, что интересно.

— Один день я совершенно не врал. Кажется, что это очень мало. А на деле — много, потому что большинству людей приходится врать буквально на каждом шагу. Например, ты

утверждаешь, что не хочешь чаю. Это вранье из вежливости. Ты вежливая и поэтому врешь. Бывает вранье от гордости, страха и так далее. Я составил таблицу — видишь, висит на стене. Я тебе ее потом объясню.

Он вышел и через несколько минут принес мне стакан чаю и два сухаря.

— Да, здорово тебе досталось, — сказал он, поставив чай и сухари на комод (так, что я все равно не могла их достать) и забираясь в кресло с ногами. — Просто чудо, что ты осталась жива. Очевидно, крепкий организм. Он трое суток возле тебя просидел.

— Кто?

— Митька. Сам чуть не умер. Возможно, что он тебя жалел, раскаивался. Но, по-моему, он боялся не того, что ты вообще умрешь, а того, что если ты умрешь, его отправят на каторгу или в арестантские роты. Впрочем, полной уверенности у меня нет, так что пока ты думай, что хочешь.

Я помолчала. Мне было приятно, что он так серьезно со мной говорит.

— У меня мать боится городских, — снова сказал мальчик. — Это странно, потому что она ни в чем не виновата. Но, видя городского, она становится очень любезной, чего не бывает почти никогда. Она их подкупает.

— Зачем?

— Они приходят с протоколами на Митьку, и она каждый раз дает им по рублю. В среднем это выходит по пяти рублей в месяц. Но, конечно, то, что он тебя чуть не убил, обойдется дороже... Это уже бенефис. Ты застрахована?

Я не знала, что такое застрахована, но на всякий случай сказала, что да.

— Тогда придется еще и твою страховку платить, — сказал он.

Мальчик увидел чай и сухари на комод, и у него стало расстроенное лицо.

— Ах, так? — сказал он и правой рукой стал закручивать кожу на левой. Он ущипнул себя и изо всех сил закрутил кожу. — Не удивляйся, — добавил он и улыбнулся, хотя я видела, что ему очень больно. — Это я отучаюсь. Понимаешь?

— Нет.

— От рассеянности.

Он взял чай с комода и поставил на стул, у моей постели.

— Пей, пожалуйста. Что тебе еще принести? Ты ведь теперь можешь жевать?

— Могу.

— Вот и хорошо. Я тебе еще принесу хлеба с маслом.

Вот что рассказал мне Андрей — так звали этого мальчика. Раевский из восьмого класса хвастался своими лошадьми, а Митя сказал, что может обогнать его на обыкновенной извозчицкой кляче. Оказывается, я так крикнула, что у Мити потом до утра отдавалось в ушах. Он остановил извозчика, бросился ко мне и увидел, что у меня на груди платок весь мокрый от крови. Раевский предложил отправить меня в больницу, но Митя сказал: «Я это сделал, я и буду отвечать» — и повез меня к Агнии Петровне, то-есть к той полной даме в пенсне, которая была, как я потом узнала, матерью Андрея и Мити.

— Но возможно, что как раз наоборот, — заметил в этом месте Андрей. — Он боялся, что придется за тебя отвечать, и именно поэтому настоял, чтобы тебя не отправляли в больницу.

Так или иначе, но меня привезли в этот дом, когда я уже почти не дышала. Агния Петровна чуть не сошла с ума. Митя тоже был в таком отчаянии, что пришлось отнять у него револьвер, чтобы он не покончил с собой.

Главный врач военного госпиталя, которого он разбудил в два часа ночи и от которого не ушел, пока тот не согласился поехать, сказал, что меня нельзя трогать с места. Он сказал, что я все равно, вероятно, умру, но если меня начнут таскать, то я умру очень скоро. И вот меня уложили, а Митя уселся подле моей постели и не уходил трое суток, пока наконец сама Агния Петровна не уговорила его отдохнуть.

Несколько раз мне было совсем плохо. Тогда Агния Петровна плакала и говорила, что Мите обеспечены арестантские роты. Мою мать она всячески стремилась подкупить — во-первых, деньгами, а во-вторых, прогимназией Кржевской.

Глаша Рыбакова тоже приходила ко мне, но Агния Петровна ее не пустила.

— А кто это Глаша Рыбакова?

— Да, ведь ты не знаешь, — сказал Андрей. — Это барышня, в которую они оба влюблены — Раевский и Митя.

Глаша была гимназисткой восьмого класса. Она была красавица, но Агния Петровна не хотела, чтобы Митя женился на ней; во-первых, потому, что ее родители были какие-то темные люди, а во-вторых, потому, что у нее брат «зачитался» и его отправили в сумасшедший дом. Зачитался — это означало, что он прочел больше книг, чем могла переварить его голова. Но Агния Петровна утверждала, что это только предлог, а на самом деле все Рыбаковы — дураки. Об этом она часто спорила с Митей.

Все это было очень интересно, хотя я и не все поняла.

Красавица — вот что меня поразило! Как наяву, я увидела ее с распущенными белокурыми волосами, в бальном платье и в белом атласном корсаже. Таких красавиц я видела на новогодних открытках.

Что же произошло после того, как я попала под лошадь? Ничего особенного! Исправник вызвал Агнию Петровну, и если бы у него не стоял на прокате самый лучший концертный рояль, за который он уже целый год ничего не платил, Митя был бы выслан в уезд. При чем тут концертный рояль — это было не очень-то ясно! Но Андрей не стал объяснять, а я только подумала и не спросила.

„ДЕПО ПРОКАТА РОЯЛЕЙ И ПИАНИНО“

«Депро проката роялей и пианино» — вот как назывался этот дом, в котором я лежала и поправлялась, хотя врач объявил, что я непременно умру. Я и прежде знала, что в нашем городе существует такое «депо». Это была первая вывеска, которую мне удалось самостоятельно прочитать, и я на всю жизнь запомнила большие белые буквы с веселыми хвостиками на яркозеленом фоне. Правда, мне казалось, что в этом депо, так же как и в пожарном, должна быть вместо лестницы дырка со столбом, по которому можно мгновенно спуститься вниз в случае тревоги. Но хотя дырки не оказалось, все-таки это был не совсем обыкновенный дом, навсегда оставшийся для меня именно «депо», то-есть местом, где все происходит неожиданно и ничего нельзя предсказать. Мамонты спускались и поднимались по лестнице — это грузчики таскали вверх и вниз тяжелые инструменты.

Кстати, это стало одним из воспоминаний моего детства: крики на лестнице «Тащи, заходи!» и беспомощно плывущий по воздуху рояль, похожий на какое-то животное, у которого отрубили ноги.

Я провела у Львовых шесть недель. Но все, что я увидела и услышала в «депо», было так ново для меня, что эти шесть недель еще и теперь кажутся мне чем-то очень долгим, интересным и стоящим как бы отдельно от того, что случилось потом.

Конечно, мне запомнилось только самое главное, то-есть то, что поразило меня, когда врач позволил вставать. Я обошла всю квартиру и в каждой комнате нашла самое главное, а уже за ним, в отдалении, нарисовалось — и рисуется до сих пор — все остальное.

Таким самым главным в комнате Андрея, где я лежала, отгороженной двумя комодами и полинялым ковром от сто-

ловой, была «таблица вранья», на которой он каждый вечер отмечал, сколько раз ему пришлось соврать и по какой причине.

Посреди таблицы шла зигзагами синяя линия — «кривая», как объяснил мне Андрей. При помощи «кривой» он определял силу и зависимость вранья от различных обстоятельств жизни. Таблица висела над изрезанным столом, который был завален тетрадками — не Андрея, а Мити и вообще старшего поколения, учившегося в той же Лопехинской гимназии. Эти тетрадки тоже поразили меня. Все, что угодно, можно было найти среди них: и труднейшие алгебраические и геометрические задачи с решениями, и письменные работы по-латыни, и русские сочинения на любую тему. Не только Андрей, но весь его 4-й класс списывал с этих тетрадок. Это называлось «заглянуть к Шнейдерману». Шнейдерман был старший брат одного из Митиных товарищей и учился давно, лет десять назад. У него все было правильно решено, а по домашним сочинениям всегда стояло не меньше четырех с плюсом.

В столовой самым главным для меня был портрет белокурого молодого человека с бородой и усами, в таком высоком стоячем воротнике, что сразу становилось ясно, почему у молодого человека такой растерянный, полузадушенный вид. Андрей сказал, что это «шарж на отца», то-есть что художник нарочно нарисовал отца в смешном виде, чтобы друзья и знакомые подсмеивались над ним. Отец Андрея и Мити был известный адвокат, которого в Киеве черносотенцы убили камнем, когда он ехал из суда в открытой пролетке. После этого Агния Петровна с детьми уехала из Киева и поступила к фабриканту Юлию Генриху Циммерману, который открыл в Лопехине одно из своих «депо». Дом, в котором помещалось «депо», принадлежал Циммерману, и за свою квартиру Агния Петровна тоже платила ему.

В Митиной комнате самым главным была лежавшая на столе запаянная стеклянная трубка, о которой Андрей сказал, что это яд кураре и что одной капли этого яда достаточно, чтобы отравить сто семьдесят шесть человек. А сто семьдесят седьмой уже не умрет, но на всю жизнь останется инвалидом. Тут же он добавил, что, вероятно, это вранье и что в данном случае Митя врет «из желания порисоваться». Я не знала, что такое — «желание порисоваться», и решила, что Митя просто хочет, чтобы его нарисовали. Таким образом, от меня надолго ускользнула таинственная связь между ядом кураре и этим невинным желанием.

Кроме яда кураре, у Мити на столе стояли пепельница из черепа и красная голова какого-то старика с острой бородкой и разлетающимися бровями.

Андрей сказал, что это бес Мефистофель и что он выведен в знаменитой опере «Фауст». На лысой голове Мефистофеля, на бородке и даже на носу было множество надписей и изречений — некоторые очень странные и запомнившиеся мне навсегда. На носу было написано: «Гений или безумство!» Я спросила у Андрея, что такое гений, и он ответил, что гений — это, например, Шнейдерман.

Наконец, ту комнату, которая находилась рядом со мной, но попасть в нее можно было, лишь пройдя все другие, занимал родной брат Агнии Петровны, которого в доме звали дядя Павел и который так напугал меня, когда я очнулась. Он был больной и очень старый, чуть ли не на двадцать пять лет старше Агнии Петровны. Это он постоянно скрипел пером и бормотал за стеной. Но когда я присмотрелась к нему, мне показалось, что он не такой уж страшный. Стуча своими двумя палками, согнувшись пополам, он ходил по дому.

Дядя Павел был доктором, но уже давно почти никого не лечил. Зато он писал, и стоило заглянуть к нему в комнату, чтобы убедиться в том, что это у него получалось прекрасно. Вся комната была завалена бумагой, исписанной отчетливым мелким почерком — каждая буква отдельно. Под столом, на окнах, на шкафу — всюду лежали журналы, из которых торчали закладки. Он писал «труд», как сказал мне Андрей.

Все у Павла Петровича было ветхое и старомодное: ковровое кресло с выдвижной скамейкой для ног, столик для курения, висевшая над постелью выцветшая малиновая скатерть, оклеенная голубыми раковинками туфля для часов и очень много фотографий, на которых была одна и та же красивая дама — то в бархатном платье с длинным шлейфом, то в шлеме и латах, то в русском национальном костюме. Сам доктор тоже был снят еще совсем молодой, с бородой и усами, с цилиндром в руке и в белом жилете.

В комнате было два окна с широкими подоконниками. На одном стоял прибор, о котором Андрей сказал, что это микроскоп, вроде подозрной трубы, но подозрная труба увеличивает в сто раз, а микроскоп — в тысячу. На другом подоконнике было много стеклянных трубочек, заткнутых ватой и запаянных с одной стороны, и в старом, треснувшем стакане постоянно лежало что-нибудь заплесневелое — кусочек сыру или апельсинная корка. В комнате всегда немного пахло плесенью и от самого Павла Петровича — тоже.

Такая же ветхая, как и все в этой комнате, фисгармония стояла в углу. Иногда доктор играл на ней, и тогда фисгармония начинала вздыхать и задыхаться, как будто она была живым существом, которому нужно было набрать воздуха, чтобы сказать, что ему очень тоскливо.

Мама приходила ко мне каждый день, одетая как можно нарядней, в своей кашемировой шали, которую она надевала только по праздникам или когда шила у Батовых — был в Лопяхине такой богатый купеческий дом.

Мне не нравилось, что, когда входила Агния Петровна, мама начинала говорить о забастовках на кожевенном или о том, что в Германии тоже голод, так что запрещено крахмалить белье и Вильгельм II лично приказал чистить не сырой, а вареный картофель. И вообще что-то изменилось в маме за те дни, что я лежала у Львовых. Казалось, она была еще чем-то глубоко расстроена — не только тем, что случилось со мною.

Бывали минуты, когда я смутно чувствовала, что мама стала другая и что у нее не очень-то весело на душе. Я думала об этом, а потом забывала.

Мне было некогда — просто не запомню, когда еще я была так занята! Андрей дал мне книгу «Любезность за любезность», я читала ее каждый день и каждый день узнавала такие вещи, которые не могли присниться ни одной девочке с нашего двора или даже со всего посада.

Суп, оказывается, нужно было есть совершенно бесшумно, причем ложку совать в рот не сбоку, а острым концом. Подливку не только нельзя было вылизывать языком, как я это делала постоянно, но даже неприличным считалось подбирать ее с тарелки при помощи хлеба. Пока девушка не замужем, она, по возможности, не должна была выходить со двора одна или с двоюродным братом. Нельзя было спросить: «Вам чего?», а «Извините, кузина, я не поняла» или «Как вы сказали, дедушка?» В спальне молодой девушки все должно было, оказывается, дышать «простотой и изяществом». С родителями — вот это было интересно! — следовало обращаться так же вежливо, как и с чужими. Дуть на суп нечего было и думать, но зато разрешалось тихо двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Но больше всего меня поразило, что при всех обстоятельствах жизни девушка должна быть «добра без слабости, справедлива без суровости, услужлива без унижения, остроумна без едкости, изящно-скромна и гордо-спокойна».

Я представляла себе жизнь по книге «Любезность за любезность»: муж в крахмальном воротничке сидит и читает газету; дети тоже сидят и молчат, потому что, оказывается, за столом, кроме «мерси», дети не должны произносить ни слова; никто не сопит, не зевает, не хлебает громко и не дует на суп. Вдруг приносят телеграмму: неприятное известие — мы

разорены. Я читаю и остаюсь изящно-скромной и гордо-спокойной.

Да, это была интересная книга, хотя она надолго отравила мне жизнь — почти полгода я не могла двинуть ни рукой, ни ногой, не вспомнив прежде, что советует по этому поводу «Любезность за любезность».

Но, конечно, не только эта книга заставила меня на время совершенно забыть свою прежнюю жизнь.

Прежняя жизнь — это был трактир Алмазова, в котором я однажды полдня простояла на коленях за пятнышко на столовом ноже. Это были поздние возвращения домой, сперва очень страшные и тоскливые, а потом привычные и все-таки страшные, особенно когда я поднималась на Ольгинский мост и картина бедного посада, раскинувшегося между рекой и полем, издалека открывалась передо мной. По крутой, обледевшей лестнице я спускалась на набережную, и голые, черные тополя, которые я не любила, встречали меня глухим звоном ветвей.

Прежняя жизнь — это была наша комната в доме «лично-почетного гражданина Валуева» (как было написано на доске у ворот), в деревянном двухэтажном доме с такими тонкими перегородками, что мы с мамой привыкли шептаться, хотя нам нечего было скрывать от соседей. Как я ни была мала, но уже тяготилась знанием всего, что каждый час происходило в доме...

Да мало ли чем еще была эта прежняя жизнь!

Так или иначе, она оборвалась, и я нисколько не жалела об этом. Напротив, с тоской думала я о том, что пройдут две или три недели, и все это — трактир Алмазова, тополя, мамин шопот и ее непонятные слезы по ночам, — все начнется снова, а то, что я увидела и узнала в «депо», так и останется в «депо» навсегда.

И больше всего я жалела, что не будет наших удивительных разговоров с Андреем.

Он приходил ко мне каждый день после гимназии, и я уже ждала его, хотя, конечно, не подавала виду и, когда он входил, всегда оставалась «гордо-спокойной». Книжки, стянутые ремешком, летели на пол, он усаживался в кожаное кресло, пыхтя, и сразу начинал говорить. Когда я рассмотрела его, он оказался довольно плотным мальчиком с широкими плечами и широкой грудью.

Но первое впечатление медлительности, пристального внимания и озабоченности чем-то таким, что для других людей не представляет интереса, сохранилось и даже стало сильнее.

В те дни, когда я поправлялась и уже начинала понемногу

вставать, он был озабочен главным образом Митиными делами.

— Возможно, Митя даже не боится, что его исключат, — сказал он мне однажды, — потому что он уверен, что скоро будет революция, а после революции могут стать совершенно другие законы. У них в классе есть один монархист...

Я не знала, кто это — монархист. В подобном случае полагалось «учтиво молчать». Я промолчала.

— Все остальные — эсеры, эсдеки и три кадета, — продолжал Андрей. — А монархист — один Катык. Знаешь «Гильзы Катыка»? Но это тоже вранье. Просто он хочет отличаться хоть чем-нибудь от других.

Мне захотелось спросить, зачем Катыку отличаться хоть чем-нибудь от других, но чтобы не попасть впросак, я промолчала. Впрочем, куда больше меня интересовало другое, и, постаравшись придать своему лицу «изяшно-скромное» выражение, я спросила Андрея, как он думает: женится ли Митя на Глашеньке Рыбаковой?

— Женится, — подумав, сказал Андрей. — Но для него это не имеет большого значения. Мама говорит, что это первая любовь, хотя, по-моему, не первая, потому что Митя уже несколько раз собирался жениться.

Насчет первой любви я прочитала в «Любезности за любезность», что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом» и т. п. Но это, очевидно, не имело отношения к нашему разговору, хотя бы по той причине, что насчет Митиной первой любви, о которой говорил весь город, нельзя было сказать, что она «не хочет быть подмеченной посторонним взглядом».

— Ему вообще не так легко жениться, — помолчав, продолжал Андрей. — У него ведь компания.

— Какая компания?

— Зернов, Ковалевский, Лазарев, Колышкин из «А» класса и Рубин. Эта компания на него влияет, чтобы он не женился, особенно Рубин. Но если Митя решится — конечно! Увезут.

— Кого?

— Глашеньку. Увезут на тройках в Петров, и ищи ветра в поле.

Петров был соседний городок.

— У них все за одного, один за всех. Знаешь, что у них на выпускном жетоне написано: «Счастье — в жизни, а жизнь — в работе». Между прочим, я почти согласен с этим девизом. Хотя, что счастье — в жизни, — это глупо. Несчастье — тоже в жизни. Но они таким образом выводят, что счастье — в работе. Это, пожалуй, верно. Как ты думаешь?

Я сказала, что смотря какая работа...

Самого Митю я почти не видела. С тех пор как я очнулась и главный врач-генерал объявил, что как это ни странно, но я, очевидно, поправлюсь, Митя исчез и совершенно перестал интересоваться моей судьбой. Только раз, заглянув в мою комнату, он спросил бодрым, равнодушным голосом: «Ну, как дела, Татьяна? Вид прекрасный!», хотя у меня не мог быть прекрасный вид, потому что я в тот день обвела стручками и была белая, как бумага.

Андрей сказал, что это для него характерно.

— В данном случае ты — это прошлое, — объяснил он. — А для людей типа Мити прошлое вообще не имеет большого значения.

* * *

Мама сказала, что на днях возьмет меня домой, и каким же коротким показалось мне это «на днях» в сравнении с теми длинными, однообразными годами, которые я должна была провести в посаде Замостье! Агния Петровна подарила мне книгу — сочинения Пушкина, а маме — свое старое бальное платье из шелка дамасэ, покрытое тюлем, по которому были нашиты блестки. Уже меня пригласили к столу и был подан обед, который никто не называл прощальным, хотя он был все-таки прощальный, потому что меня в первый раз пригласили к столу. Между прочим, за этим обедом я поразила весь дом своей вежливостью, ни разу не спросив: «Чего?», а говоря: «Как вы сказали, Агния Петровна?», или «Извините, дедушка, я не поняла». На суп я, правда, подула, но сразу же спохватилась и стала двигать ложкой туда и назад для его охлаждения.

Уже Андрей спросил меня равнодушно:

— Уезжаешь?

И соврал, потому что он вовсе не был так уж равнодушен к тому, что я уезжаю.

Уже мне представилось, как я буду прощаться с пагодами на обоях, с кожаным креслом, с кругом от керосиновой лампы на потолке, на который я всегда смотрела засыпая. В последний раз я услышу стук посуды, доносившийся из столовой, вздохи старой фисгармонии, голоса Митиных друзей, споривших о старшем брате Рубина — «политическом», который был арестован в прошлом году. Уже я уложилась, то есть завязала в платок две книги, рукоделье и резинку «Слон», которую подарил мне Андрей. И вдруг обо мне забыли! Весь дом, начиная с Агнии Петровны и кончая Агашей, оказался так занят, что обо мне забыли, и я осталась у Львовых еще на несколько дней.

В комнате Андрея были антресоли, то-есть большая полка под потолком для хранения вещей. Время от времени Андрей приносил стремянку и доставал с антресолей «Ниву» — иллюстрированный еженедельный журнал, выходивший в СПб с 1869 года. Эту «Ниву» Андрей решил прочитать всю и, когда я лежала у Львовых, уже дошел до 1904 года.

Но на этот раз со стремянкой явилась Агаша. Пыхтя, она влезла на антресоли — снаружи остались торчать только толстые голые пятки — и спустилась вниз с большим чемоданом.

— Поехали в Петроград, — сказала она и ушла.

Я не очень удивилась, потому что знала от Андрея, что Агния Петровна иногда ездила в Петроград. Там жил Юлий Генрих Циммерман, которому принадлежало лопахинское «Депо проката». На некоторых роялях и пианино его фамилия была написана по-немецки. Кроме того, Агния Петровна ездила в Петроград за артистами. Она занималась устройством концертов, и в этом отношении у нее, по мнению Андрея, были большие заслуги.

В Петроград она собралась поехать за артистами — так я поняла Агашу.

Ничего подобного! Агаша вернулась, снова полезла на антресоли, на этот раз за ремнями, и, спустившись, объявила, что Агния Петровна едет к министру.

— Едем к графу-министру, — сказала она загадочно. — А там — что бог даст. Так не оставим.

Мы с Агашей подружились за тот месяц, что я лежала у Львовых. Она была толстая, пугливая и все любила представлять в таинственном виде.

Я спросила:

— К графу или министру?

— К графу-министру, — строго повторила Агаша. — Будем жаловаться.

И она опять ушла, погрозив кому-то ремнями. Это было интересно, хотя загадочный граф-министр существовал, разумеется, лишь в воображении Агаши. Я сунулась за нею на кухню, но она выгнала меня. Немного огорченная, я принялась за книгу. Вот кто-то постучал, Агаша открыла, и мужской голос спросил, дома ли Митя. Мити не было дома.

Вот Агния Петровна прошумела платьем по коридору, и я услышала, как она приказала Агаше звать ее, если будут спрашивать Митю, а сама торопливо вернулась к себе и закрыла двери на ключ. Что-то тревожное почудилось мне в этих быстрых шагах, хлопанье дверей, щелканье замка, даже в шуме ее тяжелого платья. Должно быть, на этот раз Митя дей-

ствительно «устроил бенефис», если нужно было хлопотать за него в Петрограде.

Старый доктор вздохнул за стеной, и я вдруг решила пойти к нему — может быть, он скажет мне, что случилось.

На цыпочках я прошла через все комнаты и заглянула к нему — дверь была приоткрыта.

— Здравствуйте, дядя Павел.

Он кивнул и продолжал писать. Прежде он писал неторопливо, приставляя одну круглую буквочку к другой. А сегодня — я посмотрела — очень быстро, неразборчиво и уже поставил несколько клякс, но не обратил на них никакого внимания.

Я сказала любезно:

— Вы сегодня гуляли, дядя Павел? Мороз семь градусов, но день прекрасный.

Старый доктор поднял левую руку и помахал — очевидно, чтобы я замолчала. Я хотела уйти, но он снова помахал — очевидно, чтобы я оставалась. Я осталась. Он писал молча, с крепко сжатыми губами. Перо сломалось, он пробормотал энергично «Чорт!» и схватил другое.

Это продолжалось долго — так долго, что мне стало казаться, что это было всегда: старый доктор всегда сидел и писал, а я всегда смотрелась в зеркало над умывальником и строила рожи. Теперь, когда я стала худенькая и бледная после болезни, с этими скулами, большими глазами и косичками, которые в разные стороны торчали над ушами, у меня стали выходить великолепные рожи. Потом я посмотрела на доктора, на его согнутую спину. Что он пишет? О чем думает в эту минуту? Почему не хочет, чтобы я уходила? Как это странно, что я думаю об одном, а он — совершенно о другом! Я пришла, чтобы спросить о Мите, что случилось и зачем Агния Петровна собралась в Петроград. А он и не думает об этом. Он пишет «труд», и ему все равно, чем заняты Агния Петровна, и моя мама, и Агаша, и Митя. Не знаю, как передать это чувство, но в ту минуту я впервые сознательно оценила ход чужой мысли, которая стремится вперед, не обращая внимания на тысячи других маленьких мыслей, окруживших ее со всех сторон.

Наконец доктор оставил свое писание. Он снял очки, и я увидела его круглые грустные глаза с ободком вокруг цветного колечка, как это бывает у очень старых людей.

— Вот слушайте, — сказал он.

Он сказал «слушайте», как будто перед ним был весь мир, а не одна-единственная худенькая девочка с косичками, которая не поняла ни слова из того, что он прочитал. Сперва эта девочка слушала внимательно, потом устала и снова начала коситься в зеркало, с трудом удерживаясь, чтобы не соорудить еще одну

рожу. Потом выпрямилась, вспомнив, что согласно «Любезности за любезность» нужно сидеть, не касаясь спинки стула.

А доктор все читал. Глаза его сияли, красные пятна выступили на щеках, там, где борода переходила в мягкую, симпатичную шерстку под глазами. Он спорил о чем-то и один раз, рассердившись, даже ударил кулаком по столу.

Читая другую страницу, он закинул голову и с детским торжеством взглянул на меня из-под очков. Улыбаясь, он два раза с расстановкой повторил какую-то фразу. Он лукаво прищурился, закусывал бороду, поднимал брови и умолкал, как будто ожидая от меня возражений. Через много лет среди его рукописей я нашла эту страницу. Я узнала ее по кляксам и еще по тому, что одна из клякс была чем-то похожа на кошку. Вот что старый доктор писал о задачах науки:

«Пытаться объяснить достоверные, но кажущиеся поразительными факты, как следствие других, уже давно известных. Подорвать их необычайность. Рассеять видимость чудесного. Познакомить человечество с новыми и действительно чудесными явлениями, перед которыми бледнеют мнимые чудеса...»

* * *

Он замолчал и, совершенно забыв обо мне, стал переделывать какую-то фразу. Я посидела еще немного и побежала к себе, потому что кто-то опять спросил Митю и Агния Петровна разговаривала с пришедшим в передней, а из моей комнаты было слышно все, что происходило в передней.

Это пришел Митин товарищ, Рубин, маленький, удивительно черпый и умевший широко открывать один глаз, а другой в то же время закрывать без единой морщинки. Это получалось смешно. Андрей говорил, что Рубин — самый спокойный человек на свете и что он только один раз в жизни потерял равновесие: когда его старшего брата — студента — посадили в тюрьму. Старший Рубин был большевиком — об этой партии мне почти ничего не удалось узнать от Андрея.

— Приятная новость, нечего сказать, — в десятый раз повторила Агния Петровна. — Только этого еще не хватало!

— Агния Петровна, по-моему, это все подлец Борода.

«Борода» было прозвище латиниста.

— При чем тут Борода? Где Митя?

— Ей-богу, не знаю. Логически он должен быть дома. Но поскольку он находится под влиянием некоего алогического чувства, он мог в данный момент оказаться не дома.

— То-есть он у Глашеньки? — с гневом спросила Агния Петровна.

— Возможно.

— Так вот иди к нему и скажи, что если он не явится сию же минуту...

И она сказала то, что говорила всегда: что она никуда не поедет, не ударит пальцем о палец и так далее.

Рубин ушел, в передней стало тихо, и я бесшумно приоткрыла дверь. Сквозь щелку была видна не вся Агния Петровна, но даже и по ее щеке, по руке с кольцами, которую она держала у виска, можно было заключить, что она глубоко расстроена и не знает, на что решиться. Мне захотелось сказать ей, что все обойдется, но в эту минуту опять постучали. Агния Петровна открыла, и в шинели нараспашку вошел улыбающийся, но взволнованный Митя.

— А, это ты? — странным голосом спросила Агния Петровна. — Что, доигрался?

Он перестал улыбаться, и лицо стало напряженным и мрачным, с пристальным взглядом.

— Пойдем ко мне и поговорим, — повелительно сказала Агния Петровна. — Я сегодня еду.

И они ушли. Это было уже не просто интересно — это была какая-то необычайная тайна, и я не могла найти себе места, дожидаясь, когда Андрей вернется из гимназии и расскажет, в чем дело.

Наконец он явился. Я увидела его через кружок, который надышала на замерзшем стекле. Нос и рот у него были запачканы чем-то красным, но мне и в голову ничего не пришло — так неторопливо и важно он шел. Только когда, присев на корточки, он стал прикладывать снег к лицу, я поняла, что это кровь, потому что снег сразу становился красным.

Не знаю, что удержало меня — я едва не выбежала к нему из дому. Может быть, то, что он в это мгновение оглянулся — наверно, не хотел, чтобы кто-нибудь видел, как он сидит у крыльца и прикладывает снег к разбитому носу.

Но вот он постучался. Агаша открыла, и, отвернувшись от нее, он быстро прошел к себе. Я сразу побежала за ним, постучалась, позвала. Не тут-то было!

— Кто там?

— Это я! Таня!

— Приходи через час, — сказал Андрей. — Или вот что: приходи завтра.

ЗАГАДКА

Сани стояли у подъезда, заиндеветшая лошадь была похожа на косматого яка в оглоблях, и хотя кружок на стекле замерз, я все-таки узнала по крупной, полной фигуре, спускавшейся с крыльца, Агнию Петровну, а в тонкой и высокой —

Митю, которого она гнала домой, потому что он выскочил без шинели. Извозчик, обернувшись, отстегнул полость, Митя подал ему чемодан, и Агния Петровна села, подняв плечи и держась очень прямо, как будто была привязана к невидимой палке. Сани тронулись, и у крыльца все стало, как пять минут назад: тишина и снежинки, заметные, лишь когда они пролетали через полосу света...

В «Любезности за любезность» не было ни слова насчет того, как поступить, если мальчику разбили нос и он невежливо сказал знакомой девочке: «Приходи завтра».

Но там был интересный совет: «В затруднительных случаях ставь себя на место того, с кем ты находишься в тех или других отношениях». Я поставила, и получилось, что если бы мне разбили нос, я бы тоже не вышла из своей комнаты, и не день или два, а быть может, неделю. Поэтому на другой день, дождавшись для приличия, пока Андрей умоется и позавтракает — было воскресенье, и он встал очень поздно, в десятом часу, — я зашла к нему и поздоровалась, как будто ничего не случилось:

— С добрым утром!

Он поднял глаза от книги и тоже сказал:

— С добрым утром!

Мы помолчали. Потом я спросила, что он читает.

— Нат Пинкертон. «Злой рок шахт Виктория».

— Интересно?

— Очень.

Мы опять помолчали. Нос у него порядочно распух, и я не знала, что вежливее — спросить про нос или сделать вид, что я ничего не замечаю. Но Андрей сам решил эту задачу и, как всегда, очень просто.

— Очевидно, тебе хочется спросить, отчего у меня распух нос? — спросил он серьезно.

Я сказала, как дура:

— Да.

— Мне его разбил Валька Коржич.

— Ну?

Коржича я немного знала. Это был беленький, хорошенький мальчик, о котором Андрей говорил, что с ним интересно, потому что у него сильная воля. Он приходил списывать «у Шнейдермана» алгебру.

— Из-за Мити, — продолжал Андрей. — Ты знаешь, что его исключили с волчьим билетом?

И он объяснил, что теперь Митя не может поступить ни в одно казенное учебное заведение, а только в частное, и придется давать огромную взятку, потому что в свидетельстве за семь классов будет сказано, что он исключен с волчьим билетом. Мать поехала в Петроград.

— Зачем? Хлопотать?

Андрей кивнул.

— Чтобы отменили волчий билет?

— Да.

Мы опять помолчали. Мне хотелось спросить, при чем тут Коржич и за что он разбил Андрею нос. Но я чувствовала, что не следует торопиться.

— Вообще это неправильно, что его исключили с волчьим билетом. Я говорю не как брат, а как посторонний. Директор сам сказал, что Митя — талантливый, но что нельзя всегда отыгрываться на таланте. А по-моему, можно. Например, Юлий Цезарь в детстве был хулиган, а потом всю жизнь отыгрывался на таланте.

Я сказала:

— Безусловно.

Он замолчал и грустно потрогал нос — наверно, ему еще было больно.

— Но главное, понимаешь, заключается в том, что Митя считается неблагонадежным. Например, все знают, что он дружил со старшим Рубиным, которого в прошлом году забрали. Потом Борода один раз нашел у него в парте запрещенную книгу. Словом, здесь политическая подкладка.

И Андрей рассказал, что скоро должна произойти революция, и поэтому, что бы ни случилось, все сразу смотрят — это «за» революцию или «против». Митя написал сочинение о причинах упадка римского государства, и все поняли, что под римским государством подразумевалось наше — значит, «за». Директор вызвал Агнию Петровну и швырнул ей это сочинение — «против». На кожевенном заводе рабочие забастовали, и восьмой класс устроил в их пользу сбор — «за». Исправник приказал задерживать «всех лиц, виновных в возбуждении обывателей, стоящих в очереди за съестными продуктами», — «против». Митю исключили за политическую неблагонадежность — тоже, разумеется, «против».

На заседании педагогического совета победили «правые» — вот почему с Митей расправились так беспощадно. А «левые» остались в меньшинстве. Правда, Раевского тоже исключили, но ему наплевать, потому что он едет в Петроград и поступает в Училище правоведения, а это еще выше гимназии.

Все это было очень сложно, но, в общем, понятно. Однако Андрей рассказывал с таким выражением, как будто эта борьба имела отношение к его разбитому носу — вот это было уже непонятно! Я послушала еще немного, а потом спросила:

— А Коржич?

— Ах, да! — сказал Андрей и крепко ущипнул себя за левую руку. — Совсем забыл! Мы подрались из-за его старшего брата.

— Из-за его старшего брата?

— Ну да. У него есть старший брат, который тоже «против» Мити, потому что Митя чуть не утопил его прошлым летом. Я сказал, что это нечестно, и мы подрались. Но потом я пожалел, что мы дрались, потому что Валька все-таки «левый». А брат — «правый». Знаешь, как его дразнят: «Мими, собачья морда, зачем ты смотришь гордо?» В общем, все-таки жалко, что мама уехала, — неожиданно сказал Андрей. — Когда она уезжает, это всегда кончается более или менее плохо.

* * *

В самом деле, на другой день после отъезда Агнии Петровны все изменилось в «депо». К Агаше с утра пришли гости — между прочим, жандарм с женой, о котором я еще расскажу. Водки не было, но жандарм принес ханжу и рассказал, что в Петрограде не хватает соли, сахара, мяса, муки, дров и керосина.

Старый доктор забыл, обедал он или нет, и очень удивился, когда я ему сказала, что нет. Но все это были пустяки в сравнении с пакетами, которые принесли Митины товарищи Зернов и Рубин.

Первым принес пакет Ваня Зернов, о котором Андрей говорил, что он безумно богат, потому что у его отца «Мясная, зеленная и курятная». Он долго хохотал и топал в Митиной комнате, а потом, хватаясь за живот, вывалился из дверей как раз в ту минуту, когда я совершенно случайно проходила мимо. Дверь сразу захлопнулась, но я успела заметить, что Митя стоит перед зеркалом в каком-то странном наряде: на нем были широкие короткие штаны, из которых торчали длинные ноги, и пиджак, надетый на голое тело.

Потом пришел Рубин, тоже с пакетом. Раздеваясь, он положил его на стул, а мне нужно было посмотреть, где стоят мои калоши в передней, и я совершенно случайно толкнула этот пакет. Он упал мягко и развернулся. Я вскрикнула вежливо:

— Ах, виновата!

И бросилась поднимать пакет. В нем тоже был пиджак и что-то белое, манишка или рубашка, и ото всего этого сильно пахло нафталином. Рубин оттолкнул меня и сам поднял пакет. На пороге он обернулся и один глаз закрыл без единой морщинки, а другим посмотрел на меня — мне показалось, что с подозрительным выражением.

Это была загадка! Новые взрывы хохота донеслись из Митиной комнаты — заливистого, от всей души, — это смеялся Рубин.

Минут двадцать спустя он унес сверток.

Я слышала, как он ругал «бабье, которому приходят в голову нелепые мысли», и Митя не возражал, только спросил с отчаянием:

— Что же делать?

Я даже вспотела — так напряженно думала о том, что это значит. Конечно, я могла бы спросить у Андрея, но мне смертельно хотелось догадаться самой.

Может быть, в Дворянском собрании бал? Но в Лопахине никогда не бывало больше одного бала в году, и этот единственный бал состоялся на днях.

Может быть, Митя хочет пойти к директору на дом в новом костюме и дать ему в морду? Он ненавидел директора, и я сама слышала, как он кричал Агнии Петровне, что на выпускном акте откажется подать ему руку. Да, это было самое вероятное! Я никогда не видела директора, но мне представился толстяк с красным лицом, вроде нашего посадского пристава, и этот толстяк спрашивает: «Чем могу служить?» А Митя очень бледный, с мрачным пристальным взглядом подходит и бьет его сверху.

Эта мысль так взволновала меня, что я не выдержала и побежала к Андрею.

Он уже кончил «Злой рок шахт Виктория» и читал толстую книгу «Новый метод лечения».

— Значит, штаны были коротки? — спросил он, когда я рассказала ему эту загадочную историю.

— Да.

Он подумал.

— Немного ниже колен?

Я была поражена:

— Откуда ты знаешь?

— Я сделал заключение, — сказал Андрей. — В самом деле, откуда Зернов мог взять штатский костюм? Он стащил его у отца. А отец у него маленький, немного больше двух аршин. Но вообще это нечто такое, что стало возможно, только когда уехала мама. Вчера мама была дома, и никаких костюмов сюда никто не таскал. Следовательно, это подготовка к тому, чего при маме Митя сделать не мог.

Я согласилась.

— Теперь подумаем, зачем Митьке штатский костюм. Может быть, теперь, когда его выгнали из гимназии, он решил выступить?

— Как выступить?

— А разве ты не знаешь, что он семь лет учился играть на скрипке? Но потом бросил, потому что мама повезла его в Петроград и знаменитый скрипач Кубелик сказал, что у него не хватает слуха.

И он стал доказывать, что это вполне возможно; подобным способом Митя мог бы убить двух зайцев: во-первых, показать презрение к «правым»; во-вторых, прекрасно заработать. Кстати, за последнее время «депо» почти не приносит дохода, и Юлий Генрих Циммерман уже грозился, что уволит маму, и тогда ей останется только поступить учительницей музыки в прогимназию Кржевской.

Так мы и решили: Митя будет «выступать». Я немного расстроилась, а Андрей ничуть. Впрочем, вскоре выяснилось, что мы понимали под этим словом разные вещи: он думал, что Митя будет давать концерты, вроде Мозжухина или Шаляпина, в Дворянском собрании. А я решила, что Митя будет ходить по дворам и играть на скрипке, а потом обходить всех с шапкой и дворники будут его гнать, а из открытых окон ему будут бросать платки, завернутые в бумагу. Поскольку Кубелик не нашел у него слуха, это будущее казалось мне вполне вероятным.

СВИДАНИЕ

Все стало ясно для меня после этого разговора: Митя готовится к концерту. И когда я услышала — впервые за время, проведенное у Львовых, — что он играет на скрипке, я совершенно успокоилась и пошла погулять на дворе.

Это было второй или третий раз, что я выходила после выздоровления. Закутанная в три платка, похожая на бабушку — поверх платков Агаша еще накинула на меня большую деревенскую шаль, — я немного постояла у заднего крыльца, а потом тихонько обошла вокруг дома.

Когда впервые после болезни я вышла на двор и увидела этот крепкий снег, скрипящий под ногами, и высокое зимнее холодное небо, мне стало тоскливо, и я сразу же запросилась домой. Теперь я привыкла и гуляла с удовольствием, тем более что у Львовых был интересный двор. У них во дворе стояли ящики от роялей и пианино, так что можно было прятаться, играть в «казаки и разбойники» и придумывать, что ящики — это города. Гимназисты, удрав с большой перемены, отсиживались в этих ящиках, играя в карты, чтобы время не пропало даром.

Сейчас на дворе было пусто, и, побродив среди ящиков, я собралась домой, когда за калиткой показалась и сразу же скрылась барышня в беленьком полушубке. Полушубок был

хорошенький, обшитый мехом на рукавах и внизу, и барышня тоже хорошенькая: в этом я убедилась, когда, недолго постояв в переулке, она распахнула калитку и нерешительно перешагнула порог. Она была нежнорумяная, с большими глазами и какая-то хрупкая — это я почувствовала, когда, разговаривая со мною, она сняла рукавичку и стала поправлять волосы, которые выбились из-под меховой шапочки, вроде папахи.

— Девочка, ты здесь живешь?

— Да.

— А как тебя зовут?

— Таня.

Вот тут она сняла рукавичку и поправила волосы. Она волновалась. Вдруг она бросилась ко мне:

— Таня! Ты — Таня! Ну, как ты? Поправилась? Ты выходишь?

Я сказала любезно:

— Благодарю вас. Ничего. Значительно лучше.

— Как я рада!

Мы стояли посередине двора, и я видела, что она чего-то боится. Но, кажется, она еще и стыдилась, что приходится чего-то бояться. Я тоже волновалась, потому что давно поняла, что это Глашенька Рыбакова. Она не была красавицей с распущенными волосами, в белом атласном корсаже, но все-таки она тоже была красавицей, и я влюбилась в нее с первого взгляда.

Я сказала:

— Может быть, мы зайдем за ящики? Здесь что-то дует.

Она улыбнулась, и лицо стало еще нежнее. У нее были белые, удивительно ровные зубы и на верхней губке заметный, тоже беленький, заиндевевший пушок. Но в глазах было что-то мрачное — я заметила это, когда она улыбнулась.

— Нет, ведь я на минуту. Я хотела...

Она опять сняла рукавичку, теперь с левой руки, и стала вытряхивать из нее записку. Записка выпала, и она подала ее мне:

— Ты не можешь... Митя дома?

— Дома.

— Ты не можешь передать ему эту записку?

Я сказала вежливо:

— Сию минуту. Подождите, пожалуйста.

И не торопясь отправилась домой.

На всю жизнь запомнилось мне чувство ожидания чего-то необычайного — чувство, с которым я шла к Мите, крепко держа эту записку в руке. Честное слово, я бы не удивилась, если бы двери дома в эту минуту распахнулись сами собой!

Митя еще играл на скрипке, не зная, что его ожидает. Про-

должая играть, он обернулся и недовольно вскинул брови, когда я вошла. Я осторожно отдала записку, точно это было что-то живое.

С этой минуты к чувству ожидания чуда присоединилось еще одно чувство, не оставлявшее меня весь этот день и потом еще много дней, когда я уже давно жила у себя, в посаде. Это было чувство всматривания в то неизвестное, что заставило Митю мгновенно побледнеть, покраснеть, выбежать со скрипкой в руках на крыльцо, окинуть двор нетерпеливым, нежным и вместе с тем властным взглядом и побежать наперерез по нетронутому снегу прямо к ящикам, за которыми стояла она. То неизвестное, что заставило его через несколько секунд выйти вместе с Глашенькой и почтительно предложить ей руку, которую она приняла свободно и гордо. То неизвестное, которым были полны их движения, их лица и то, что он вел ее, ничего не боясь, а она шла с прелестной улыбкой, немного несмелой, но совершенно доверяясь ему. То неизвестное, которое вдруг преобразило (не только для них, но и для меня — я смутно догадалась об этом) весь этот заваленный снегом двор, ящики и суровое зимнее небо.

Замирая от восторга, от счастья, я смотрела на них.

Я отпрянула, когда они поднялись на крыльцо, точно это были не люди, а какие-то волшебные существа, которые могли исчезнуть, если бы им этого очень захотелось. Они не затворили за собой дверь, и я очнулась, лишь когда Агаша закричала на меня из кухни таким обыкновенным, грубым голосом, как будто до того, что произошло, ей не было никакого дела.

* * *

Вовсе не концерт занимал Митю и не в Дворянском собрании собирался он выступать. Он хочет жениться на Глашеньке — вот зачем ему штатский костюм.

Очевидно, у меня был торжественный вид, когда я пришла со своей догадкой к Андрею, потому что он долго рассматривал меня, а потом сказал с интересом:

— Ты делаешь носом, как кролик.

Мне захотелось подразнить его, что я что-то знаю, а он не знает. Но я не успела. Вдруг приехала на извозчике мама и увезла меня домой.

ЗАМОСТЬЕ

Ничего как будто не переменилось в нашей комнате за то время, что я провела у Львовых: так же стояли на своих местах темнокрасный комод под вышитой скатертью, обеденный

стол и другой маленький стол в углу, на котором помещалась швейная машина. Так же везде лежали и висели коврики и половики из цветных тряпок — мама шила их на продажу, но в последнее время их не стали брать, потому что во время войны жилось тяжело, а такая вещь, как коврик, была все-таки роскошь. На своем месте висела афиша, объявлявшая о спектакле «Бедность — не порок», и точно так же среди действующих лиц и их исполнителей можно было найти П. Н. Власенкова — так звали моего отца. На своем месте я нашла «Мадам Жюль», нашу соседку, которую на самом деле звали Настасьей Васильевной и у которой на дверь были наклеены вырезанные из цветной бумаги магические знаки и звезды. Настасья Васильевна занималась гаданьем на картах и «объясняла призвание», то-есть советовала, в какое учебное заведение идти после окончания гимназии. Все по-старому! Только котенок, которого еще осенью я подобрала на Плоской, стал большим лохматым котом, да кенар перестал петь и сидел нахохлившись, сердитый и грустный.

Но вскоре я поняла, что изменилось многое.

Еще когда я лежала у Львовых и мама приходила ко мне каждый день, я чувствовала, что она держится со мной как-то иначе, чем прежде. С Агнией Петровной она разговаривала гордо, как будто для того, чтобы показать, что между ними нет никакой разницы, а со мной — торопливо-жалко, точно она была в чем-то передо мной виновата. Теперь мне все время казалось, что она что-то скрывает от меня — скрывает и боится, что я догадаюсь! Но и без всяких догадок я знала, что если мама плачет по ночам и сидит на постели с остановившимся взглядом, значит снова что-то случилось с отцом.

Это очень странно, но хотя мне минуло семь лет, когда отец уехал на Камчатку, я как-то сбивалась в своих представлениях о нем, то-есть он казался мне то одним, то совершенно другим. Только что я привыкала к тому, что папа служит в Духовной консистории, как он являлся домой в форме Вольного пожарного общества, то-есть в блестящей медной каске, с какими-то черными звенящими веревками на груди. Он часто «менял должности», как говорила мама, и его было трудно запомнить, потому что в каждой новой должности он сам чувствовал себя совершенно другим. Каждый раз он был очень доволен, клялся маме и мне, что бросит пить, и много говорил о значении своей профессии для государства, так что мне, например, начинало казаться, что если бы папа отказался поступить в Вольное пожарное общество на платную должность, Россия могла бы погибнуть от неосторожного обращения с огнем.

Я помню, как однажды мама взяла меня на дневной спектакль «80 тысяч лье под водой». Это была феерия, очень инте-

ресная и поразившая меня тем, что все действительно происходило под водой и даже была видна большая зеленая акула с неподвижно разинутой пастью. В этом спектакле участвовал **папа**. Я не узнала его, потому что он прошел по сцене только один раз в каком-то халате и сказал глухим голосом: «Нет, это судно!»

Но мама объяснила, что это был папа и что его так плохо слышно, потому что он под водой. Во втором акте он уже не был занят и вместе с другими свободными артистами дул на **кисею**, изображавшую море.

Это хорошее время скоро кончилось, потому что пошли дожди, антрепренер разорился, и папа получил за весь сезон одиннадцать рублей пятьдесят копеек.

Потом были другие должности: он являлся домой то в виде носильщика, то почтальона, так что мне стало казаться, что это превратилось в какой-то номер с переодеваниями, который я однажды видела в цирке.

С тех пор прошло несколько лет, он давно уехал на Камчатку и в 1917 году должен был вернуться с капиталом в 3548 рублей, не считая драгоценных шкур, которые ему ничего не стоили, потому что он служил приказчиком и камчадалы — по его словам — так уважали его, что почти каждую неделю давали по одному соболю и одной чернобурой лисице. Таким образом, к тому времени, когда, согласно договору, он мог уехать с Камчатки, у него должно было, по моему подсчету, накопиться 215 соболей и столько же чернобурых лисиц. Мы с мамой так часто говорили об этих соболях и лисицах, что в конце концов отец стал представляться мне каким-то Робинзоном Крузо в остроконечной меховой шапке, меховой куртке, меховых штанах и сапогах — все из соболей и чернобурых лисиц. Он сидит на скале, а перед ним стоит голый черный Пятница с перышками на лбу — в «Ниве» я видела такую картинку.

Постепенно этот образ, который очень нравился мне, стал самым главным и заслонил все другие...

Мама умела шить не только коврики и половики, а вообще была превосходная портниха, получившая швейное образование в Петербурге, но заказов во время войны становилось все меньше, и мне пришлось поступить сперва на тряпичную фабрику Валуева, а потом в трактир Алмазова судомойкой. И вот чем хуже шли наши дела, тем могущественнее рисовался мне папа. Он был маленького роста, а теперь стал казаться большим. Он привезет огромный капитал и меха, и мне не нужно будет чистить ножи и вилки толченым кирпичом, а маме не придется сидеть за шитьем по ночам и будить меня, чтобы я вдела нитку в иголку: под утро мама почти переставала видеть.

В 1915 году папа прислал письмо, в котором не было ни одного слова о войне, и это еще больше уверило меня в его необычайном могуществе и силе. У нас тут гимназисты учатся в две смены, потому что новое здание отдано под лазарет, в посаде каждую ночь ловят дезертиров, почти всех извозчиков взяли на войну, и даже на тройках возят мальчишки или бабы, а его там, на Камчатке, все это совершенно не интересует.

Была ли мама такого же высокого мнения о его камчатских делах? Не знаю. Она не жаловалась, но я видела, что ей тяжело. Все время у нее как будто что-то кипело на сердце, и нужна была сильная власть над собой, чтобы это кипение не прорвалось наружу. По ночам она теперь стонала, и когда, проснувшись, я шептала испуганно: «Что с тобой, мама?», она отвечала с глухим стоном: «Не спрашивай»,

* * *

Но не только с мамой произошло что-то непонятное за те шесть недель, что я провела у Львовых. Домá стояли на своих местах, Настасья Васильевна попрежнему время от времени заходила с папиросой в зубы и, покашливая — у нее была чихотка, — насмеялась над дурами-лавочницами, ходившими к ней гадать, — «отводила душу». К Валуеву попрежнему везли на возах грязные разноцветные тряпки. Но все как бы повернулось другой стороной, и я в особенности чувствовала это, когда забегала в «Чайную лавку и двор для извозчиков», находившуюся напротив нашего дома.

От Лопахина пятнадцать верст до железной дороги, но извозчиков брали не только к вокзалу, а и в соседний городок Петров.

В Петров почему-то любили ездить гулять купцы, хотя это был грязный городишко, куда меньше Лопахина и стоявший не на реке, а в скучном еловом лесу. Среди извозчиков были «одиночки» и «троечники», ездившие на тройках и носившие синие кафтаны и низенькие бархатные шапки с павлиньими перьями. Троечники были богатые и к одиночкам относились с презрением.

Когда началась война, почти всех извозчиков взяли в армию, но некоторые троечники вернулись — «откупились», как говорили в посаде. Под утро, поставив лошадей во дворе, они заходили в чайную и молча садились за стол в шелковых рубашках, подпоясанных кушаками, на которых болтались гребенки.

Мне всегда казалось немного странным, что все уже было, когда я появилась на свет: дома, люди, земля, солнце, которое точно так же всходило и заходило. Но в том, что суще-

ствовали эти троечники, у меня никогда не возникало ни малейших сомнений. Меня не было, а они точно так же сидели в шелковых рубашках, потные, бородатые, с расстегнутыми воротниками, и долго пили чай, а потом перевертывали стаканы и говорили «аминь».

И вот теперь, когда я вернулась домой, что-то переменилось в этом извечном чаепитии.

Во-первых, новые люди появились на постоянном дворе — худые, беспокойные, в папахах и солдатских шинелях. Я слышала, как посадский пристав спросил одного такого солдата:

— Какого полка?

Тот ответил:

— Битого, мятого, сорок девятого.

И засмеялся, когда пристав от неожиданности смешно шлепнул губами.

Во-вторых, в чайной появился Синица. Синица был троечник, который еще в мирное время славился тем, что у него были лошади по пятьсот рублей и он возил только «купечество и дворянство». На второй год войны он пропал, а теперь вернулся и завел тройку с сеткой и фонариками. Сетка была синяя, с кисточками и накидывалась на выезд, а фонарики Синица для шику зажигал на оглоблях. Он был маленький, страшный и носил черную бороду и усы, под которыми неприятно открывались красные губы. Он сверкал глазами, когда говорил, и вдруг становились видны желтые белки. В такие минуты я всегда вспоминала, как мама говорила о нем, что еще в мирное время он завез в лес и убил офицера.

Этот Синица теперь мало возил. Прекрасно одетый, в синей расстегнутой поддевке, под которой была видна алая шелковая рубашка, в лакированных сапогах, он сидел в чайной и читал вслух «Газету-копейку».

— С точки зрения национально-прогрессивного блока, университеты до конца войны надо закрыть, — сказал он однажды, — а студенчество отправить в окопы. А там на выбор, господа, — столбняк или пуля!

Я долго думала, «правый» он или «левый», но после этих слов решила, что «правый».

Вообще троечники были «правые», а рабочие с кожевенного, которые иногда заходили в чайную, были, конечно, «левые», а Синица нарочно громко читал «Газету-копейку», когда они торопливо — совсем не так, как извозчики, — ели ситничек с чаем. На Синицу они поглядывали кто сумрачно, кто равнодушно.

Все это была, конечно, политика. У Львовых мне казалось, что политика существует только для того, чтобы объяснить, почему Митю исключили с волчьим билетом. Как бы не так!

В Лопахине пропало мясо и масло — это была политика. Какого-то Протопопова назначили министром внутренних дел — тоже. Когда на кожевенном заводе бастовали, директор сказал рабочим: «Да я вас из снега накатаю сколько угодно», — тоже. Но однажды я видела, как по Лопахину провели большую партию «политических», закованных в кандалы, и какая-то старая женщина бросилась к арестантам (потом говорили, что она узнала сына), и конный городской ударил ее по лицу нагайкой. Вот когда я поняла, что политика — это не только очереди за мясом, Митин волчий билет, Протопопов, а что-то гораздо более серьезное, что-то ссорившее и разъединявшее людей и в то же время объединявшее их, связывая между собой необыкновенно далекие события и предметы.

ПИСЬМО. МАМИНО ДЕТСТВО. СНОВА У ЛЬВОВЫХ

Мне больше не нужно было ходить в трактир, потому что, пока я болела, Алмазов нанял другую судомойку. Настасья Васильевна дала мне работу — переписать «Новый полный чародей-оракул». Это была редкая книга, которую она брала у одного букиниста и только за чтение платила двугривенный в день. Я принялась, и так усердно, что мама даже забеспокоилась — она считала, что от чтения и писания «надрывается грудь».

Жандарм, которого я однажды видела у Агаши, в этот вечер явился к Настасье Васильевне. Я хотела уйти, но она сказала: «Пиши, Танечка, ты мне не мешаешь». Он пришел с женой — он повсюду ходил с женой — и сперва не заводил разговора насчет гаданья, а все рассказывал о том, что в полиции теперь стало почти невозможно служить. Настроение — как в пятом году, а содержание и обмундирование значительно хуже. Жена тоже сказала, что хуже и что у Николая Николаевича — так звали жандарма — миокардит. Я запомнила эту болезнь, потому что у Агнии Петровны тоже был миокардит и она часто о нем говорила.

Настасья Васильевна поддакивала, хотя ей было неприятно, что они так долго тянут: я видела, как несколько раз она сердито поджимала губы. Но жандарм вдруг вытащил из кармана шинели бутылку вина, и Настасья Васильевна ожилилась.

Не буду рассказывать о том, как они пили, — это неинтересно. Жандарм все хотел рассказать о своем начальстве и начинал:

— Наш полковник — интересная личность...

Но жена перебивала его, и он умолкал. Он был грубый, но

робкий и, как видно, очень боялся жены. Потом Настасья Васильевна принялась за гаданье, и вот тут стало ясно, зачем они пришли. Начальство предложило жандарму идти в шпики — перевестись в армию и там подслушивать разговоры, а потом доносить, кто и при каких обстоятельствах высказывался за революцию и, следовательно, против царя.

— Слушать и брать на карандаш, — объяснил жандарм. — Вот тебе и нечаянной радости царица небесная!

Он сомневался, стоит ли идти в шпики, тем более что в армии настроение не лучше, чем дома. Один знакомый жандарм пошел и «хватил шилом патоки». Короче говоря, он решил погадать и теперь надеялся лишь на то, что Настасья Васильевна поможет ему выйти из этого затруднительного положения.

Я сидела за столиком и переписывала, но одним ухом прислушивалась к гаданью — мне было интересно, что Настасья Васильевна скажет жандарму. Конечно, ничего хорошего. Она жандармов ненавидела и называла их «охломоны». Сквозь прореху в тряпичном ковре, которым была разделена комната, мне было видно ее худое доброе лицо со впалыми щеками, седеющие рыжеватые волосы, цыганские серьги-кольца. Она поддевалась под цыганку и время от времени говорила: «ча ода-рик, ча север» — «иди сюда, иди скорей», или «хохавеса» — «обманываешь». Это было все, что Настасья Васильевна знала по-цыгански.

Жандарма я не видела, только нос и усы, но и по этим толстым стоячим усам легко было представить себе тупое внимание, с которым он слушал Настасью Васильевну.

Несколько раз я засыпала над «Чародеем-оракулом» и просыпалась, а жандарм все не мог решить, идти ему в шпики или нет. Самые простые выражения, вроде «казенный дом», «пиковый интерес» или «пустая мечта», пугали его. Он спрашивал:

— Что значит?

И Настасья Васильевна наконец сердито сказала ему:

— Жандарм ты — так и оставайся жандармом! По крайней мере, шпоры хлопают, люди слышат...

Мне почудилось, что где-то плачет мама, и так вдруг не захотелось переходить от чего-то хорошего, что я видела во сне, к этим слезам и непонятным мученьям! Я выглянула из-под коврика — да, мама! Жандарма уже не было, на его месте сидела Настасья Васильевна, а мама расхаживала, держа в руке какую-то бумагу, и читала — я сразу поняла, что это было чье-то письмо.

— «У нас забрали в армию двух артельщиков, — прочитала она, — из коих один подал жалобу на решение воинского присутствия, но оставлена без последствий. Так что в лавке я

теперь один и дела идут отлично. У нас теперь два кинематогра. Черная мука — две копейки фунт».

Я сидела, обхватив руками колени, и мне хотелось, чтобы она скорее прочитала то самое страшное, из-за чего она время от времени останавливалась и, стиснув зубы, смотрела на Настасью Васильевну.

— «Ты меня зовешь домой, — продолжала она, — но я знаю эту проклятую жизнь, и лучше мне пойти на поле брани, чем жить, как у Пушкина: «...старик со своей старухой тридцать лет и три года»... Старуха я для него! — незнакомым, грубым голосом крикнула мама.

Настасья Васильевна кивнула. Потухшая папироса торчала у нее в зубах, и она перекаtywала ее из одного угла рта в другой с задумчивым, озлобленным выражением.

— «Тридцать лет и три года!» — злобно повторила мама. — «Вот почему я решил остаться здесь навсегда. Суди меня, мне нет возврата, судьба решается моя, и если ждет меня расплата, пускай за все отвечу я. Или, по крайней мере, до 1921 года, когда кончится новый договор — пять лет без вычета процентов натурой»... Хорош?

Настасья Васильевна опять кивнула.

— А ты тут живи — подыхай!

Я больше не слушала ее. Неужели отец не вернется к нам никогда? Вот отчего мама не спит по ночам. Она не говорила со мною об этом письме, потому что стеснялась, что отец отказался от нас. Он бросил нас оттого, что с нами ему тяжело, а на Камчатке ему будут платить жалованье без вычета каких-то процентов натурой.

Я не плакала. Но если бы в эту минуту он явился ко мне в том прекрасном наряде, который я придумала для него и который он, наверно, никогда не носил, я бы сделала вид, что даже не знаю его. Я бы не сердилась, как мама. Я бы равнодушно спросила: «Кто вы такой?» И если бы он бросился передо мной на колени, я бы скорее умерла, чем простила его.

* * *

Прежде я не очень-то прислушивалась к маминым рассказам — все казалось, что мама рассказывает не о себе, а о ком-то другом. А теперь каждый вечер я просила ее рассказывать и слушала, слушала без конца.

— Отец решил отдать меня в город к портнихе учиться. И что же я увидела в этом ученье? Мы были две девочки, и хозяйка нас клала в прихожей вместе с собакой. Мы радовались этой собаке — она была мохнатая, теплая, а из-под двери ужасно, Танечка, дуло... Но пришел отец и взял меня от этой

портнихи. У нас была семья шесть человек, и он получал в день семьдесят пять копеек, как рабочий, но он был гордый человек и сказал, что не потерпит, чтобы его дочь спала рядом с собакой. В это время приезжает к матери двоюродный брат, портной, и помогает устроить меня в придворную мастерскую...

Много раз я слышала историю о том, как мама работала на Малой Конюшенной, в придворной мастерской, но никогда прежде мне не приходило в голову поставить себя на место маленькой девочки двенадцати лет, которая каждое утро выходила из каких-то загадочных Нарвских ворот и два с половиной часа шла на работу. Два с половиной часа! За это время наш Лопехин можно было обойти по меньшей мере три раза.

— Почему я не ездила? Потому что конка — это был расход; шесть копеек внизу, четыре наверху, а мой отец оставался на Путиловском молотобойце и все время стоял на семидесяти пяти копейках. Вот я и шла с Чугунного к Нарвской заставе, потом по Старо-Петергофскому, Екатерингофскому, мимо Мариинского театра, а там уже было недалеко совсем — по Казанской. Зато ночью, когда возвращалась домой, — это было, Танечка, жутко! Подходишь к Нарвским — кабак, потом мостик, река Таракановка. Потом поле, развалины и снова кабак — положительно на каждом шагу. Я по тротуару не шла — он был гнилой, дощатый, — а по мостовой, и то приходилось все время перебегать с одной стороны на другую. Пьяные, страшно, темно, того и гляди — отвалтуют... И вот работаю я года три, научилась не хуже других, сижу на сарафанах — это была такая парадная форма, из бархата лилового, голубого и желтого цвета. Сижу я на сарафанах, а нужно так шить, чтобы примерка была без булавок — как надела платье, так и сняла. А жалованья мне платят восемь с половиной. Я прошу: «Мадам Бризак, — наша начальница была мадам Бризак, — я работаю третий год и на княгиню Юсупову шью полгода». А она мне говорит: «Девочка, ты прибавки от меня не дождешься. Не годится быть такой гордой, ты очень бедная и очень серая». Я прихожу к мастерицам, а они спрашивают: «Ты ей руку поцеловала?» — «За что? За мою работу?» А старшая услышала и говорит: «Ты молоденькая, живешь на заводе, у вас волнения, и я тебе советую держать язык за зубами»...

До сих пор мама рассказывала громким голосом, очевидно с целью показать всему дому, что она не такой человек, чтобы целовать у какой-то мадам Бризак руку. Но после слова «волнения» она начинала говорить шопотом, и я догадывалась, что сейчас речь пойдет о Василии Алексеевиче Быстрове. Василий Алексеевич был тоже рабочий, как мамин отец, но его

часто сажали в тюрьму, так что в конце концов он стал «нелегальный». Однако в тюрьме он нисколько не исправлялся и, едва его выпускали, опять начинал работать в какой-то «организации» — это слово мама произносила так тихо, что его можно было угадать только по движению губ. Он был «большевиком», как старший Рубин, которого в прошлом году забрали.

Почему у мамы становилось нежное лицо, когда она рассказывала об этом человеке? Почему она задумывалась и вдруг со смехом вспоминала, как Василий Алексеевич однажды пригласил ее в Екатерингоф на гулянье и вздумал пройти по вертящемуся столбу и свалился? Почему от Василия Алексеевича она неизменно переходила к истории о том, как однажды она ехала на конке и какой-то приличный господин с пушистыми усами подсел к ней и спросил, что она читает.

— А я читала «Воскресение» Толстого и только поняла, что ради Катюши Масловой Нехлюдов бросил свое богатство. Господин говорит: «Вы правы. Позвольте вас проводить». А я отвечаю: «Нет. Я из рабочей семьи и вам не пара»...

Этот господин с усами был мой отец — и тут кончился мамин рассказ, начинались слезы...

* * *

Несколько раз я проходила мимо «депо» — толстая крыша из снега висела над вывеской, все так же весело задирали вверх свои хвостики большие белые буквы. Что случилось в этом доме, после того как я ушла из него? Вернулась ли Агния Петровна? Женился ли Митя на Глашеньке? Едва ли, потому что весть о подобном событии донеслась бы и до посада. Вывел ли Андрей заключение из своей «таблицы вранья»? Разумеется, я могла просто зайти к нему — ведь теперь мы были прекрасно знакомы. Но это было нелегко — зайти, когда тебя никто не зовет. Кроме того, Львовы могли подумать, что я пришла, чтобы напомнить Агнии Петровне ее обещание отдать меня в гимназию Кржевской.

Но вот наступил день, когда я пришла в этот дом и подняла в нем целую бурю.

День этот начался прекрасно. С утра запел кенар — это было, оказывается, хорошим предзнаменованием. Ситный теперь редко удавалось достать, а я достала свежий, да еще с изюмом. Веселые, мы сели завтракать, и мама, как всегда, когда у нее становилось легче на душе, рассказала о екатерингофском гулянье и об особой «копорской дорожке», по которой всегда гуляли девушки из Старорусского уезда, приезжавшие к лету на огороды. Эта дорожка виднелась издали, потому что девушки были в розовых, желтых, зеленых платьях, юбки до

земли, с воланами... И мама принялась подробно описывать «копорские» платья.

На зимнее пальто для меня и ботинки для мамы давно были отложены пятнадцать рублей, и после завтрака мы пошли на базар. Правда, все время получалось, что если купить пальто получше — не останется на ботинки, а если ботинки получше — не останется на пальто, так что мы бродили целый день и до того измучились, что пришлось посидеть у менялы и съесть расстегай с луком. Но в конце концов мы все-таки купили отличное пальто с бобриковым воротником и ботинки на шнурках, совершенно целые и почти до колена.

Было уже темно, когда мы вернулись домой. Мама стала разогревать обед, а я забралась на постель с ногами — замерзла. И вдруг я услышала, что мама свистит. Она чудно умела свистеть и, когда я была еще совсем маленькая, всегда не пела, а насвистывала мне колыбельные песни. Но это было давно, а за последние годы я и думать забыла, что мама умеет свистеть. Должно быть, что-нибудь старое и очень хорошее вспомнилось ей. Я вскочила и крепко поцеловала ее.

Потом мы пообедали, мама ушла, а я отправилась к Настасье Васильевне — переписывать «Новый полный чародей-оракул». Можно было бы заниматься этим делом и дома, но Настасья Васильевна показывала, какие места переписывать, а какие — не надо.

Глаза слипались после утомительного морозного дня на базаре, но я крепко зажмуривала их, чтобы прогнать сон, и продолжала писать. В нашем доме редко случалась тишина, а тут вдруг настала, только из «Чайной лавки» доносился как бы сдержанный гул голосов, да где-то далеко позвякивала упряжь, скрипели полозья, ямщик окликал лошадей...

Далеко, далеко! А вот и поближе. Еще поближе. Еще — и все оборвалось, но не у «Чайной лавки», где обычно оставались тройки, а подле нашего крыльца. Что за чудо?

Кто-то быстро взбежал по лестнице и распахнул дверь не стучась. Это был Синица.

— Настась Васильевна, дома ты? — спросил он нетерпеливо. — Баришню привез, гадать хочет. В Петров едем... Ну? Быстро надо.

Он говорил, как цыган, — «баришня».

Почему я подумала в эту минуту, что Синица привез Глашеньку и что они с Митей едут в Петров венчаться, — не знаю! Это мелькнуло мгновенно и даже как будто еще прежде, чем тройка остановилась у нашего дома. Еще прежде, чем Синица сбежал вниз и другие, легкие шаги послышались на лестнице, я знала, я была твердо убеждена, что это Глашенька. И не ошиблась.

Она была в том же беленьком полушубке, в котором я впервые увидела ее у Львовых, но шапочку держала в руке, и волосы, небрежно заколотые, вот-вот готовы были рассыпаться по плечам. Она была совсем другая, чем тогда, хотя такая же хрупкая и с таким же нежным румянцем на тонком лице. Но в этой хрупкости теперь было что-то отчаянное — как будто она решилась или была готова решиться на опасный, рискованный шаг.

Настасья Васильевна сделала движение, чтобы встретить ее, и Глашенька вдруг бросилась к ней. Это было так, как будто Настасья Васильевна, которую она видела впервые в жизни, могла еще спасти ее — от кого?

— Что, барышня, милая, голубчик мой?

Глашенька так же порывисто отшатнулась.

Она сидела, опершись локтями о стол, обхватив голову руками. Распутившиеся волосы упали на руки, но она не поправляла их. Настасья Васильевна переставила лампу со стола на комод, чтобы было просторней гадать, свет падал Глашеньке прямо в лицо, и она не отстранялась, не заслонялась — как будто нарочно для того, чтобы я запомнила ее навсегда.

— ...И будут тебе от этого короля хлопоты, — медленно говорила Настасья Васильевна. — И через хлопоты получишь богатство. А еще предстоит тебе дорога дальняя. Поздняя, — прибавила она, и хотя уже давно стемнело и было ясно, что Глашеньке предстоит поздняя дорога — как будто не эта, а другая, страшная дорога открылась в картах на гадальном столе, — но этот король фальшивый и ждет тебя с ним одна пустая мечта.

Тысячу раз я слышала, как гадает Настасья Васильевна, и всегда так знакомо звучали для меня эти привычные слова, которые она складывала то так, то эдак, стараясь угадать «судьбу». И еще привычнее было взволнованное выражение доверия, надежды, которые я видела на лицах приходивших к ней женщин, перед которыми она испытывала — так мне казалось — полусознательный стыд. Но в этот вечер я слушала Настасью Васильевну, как будто она была какая-то чародейка, которая действительно знала то, что, кроме нее, не знал ни один человек на земле.

Червоная дама легла между семеркой и восьмеркой бу-бен — это означало измену; потом пошли пики и пики: восьмерка — слезы, десятка — разлука. И Настасья Васильевна все назвала — и разлуку и слезы.

Понимала ли она то, чего не понимала я, сколько ни глядела на эти тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми гла-

зами? Разумеется, понимала. Недаром же, оторвавшись от карт, она вдруг грустно сказала, не «гадальным», а своим, обыкновенным голосом:

— Эх, барышня! Себя обманываешь, кого винить будешь?

И Глашенька вздрогнула и взглянула ей прямо в лицо.

Это была минута, когда я вдруг испугалась, что вовсе не с Митей едет Глашенька венчаться в Петров. Почему он остался внизу? Что он делает у крыльца, на морозе? Я слышала, как Сеница что-то спросил у него — он не ответил.

Наконец, разговаривая, они стали подниматься по лестнице, и первым вошел и остановился у порога ямщик, а Митя остался в коридоре, точно скрывался от нас. Почему?

— Пора, барышня, пора, — сказал Сеница.

От него пахло холодом, он похлопывал по валенкам кнутом, а за ним в глубине стоял и молчал Митя. Молчал и все не заходил. Почему?

Я тихонько вышла в коридор. Это был не Митя. Это был Раевский. Я сразу поняла, что это он, хотя видела его только одно мгновение на облучке саней, за которыми гнался Митя. Он был в штатском — в огромной шубе с поднятым воротником — и стоял в стороне, точно прячась. Под бобровой шапкой было видно его полное, взволнованное лицо. Я негромко ахнула и побежала назад.

* * *

Мне были известны такие истории. В кино «Модерн» я видела драму, в которой барышня была влюблена в своего жениха, а убежала с другим, но для этого у нее были серьезные причины! Ее жених был старик, и ему не нравилось, что она играет на сцене. Тут не было подобного вопроса. Как живая, стояла передо мной Глашенька — не эта, мрачная, с распущенными волосами, а веселая, обрадовавшаяся, когда Митя выбежал к ней из дома, застенчивая, когда он предложил ей руку, гордая, когда она приняла ее свободно, как королева. Она любила его! Почему же вдруг разлюбила? Как она могла променять Митю на этого полного, неприятного человека с короткими ногами, который, как медведь, ворочался в коридоре, а потом зашел и, не здороваясь, положил на стол кучу смятых трехрублевых бумажек?

Какое-то странное оцепенение нашло на меня. Кажется, я видела, а может быть, и нет, как Настасья Васильевна, кончая гаданье, наудачу вытащила последнюю карту, и этой картой оказалась десятка пик — удар или больная постель, как Глашенька каким-то несмелым движением смахнула карты со стола, встала, качнулась и упала бы, если бы Сеница не подхватил ее. Он понес ее по лестнице на руках, но чуть не выро-

нил, и Глашенька спустилась сама. Я выбежала вслед за Настасьей Васильевной.

Путаясь в шубе, Раевский сел подле Глашеньки и стал застегивать полу. У него пальцы не слушались. Синица крикнул:

— Эй вы, распрекрасные, дети любимые!

И снова забренчала упряжь, закрипели полозья — только что близко, а вот уже дальше и дальше. Мы вернулись домой, и все время, пока Настасья Васильевна, вздыхая, жалела Глашеньку, ругала Раевского, мне казалось, что я слышу далекий скрип и бренчанье убегающей тройки. И потом, вернувшись к себе, я еще долго прислушивалась к этим звукам, точно это было невозможно допустить, что Глашенька уехала, а мы ничего не сделали, чтобы помочь ей, остановить ее...

* * *

Ах, какое у нее было лицо, когда она встала и смахнула карты со стола! Мне было жаль ее. Но еще больше я жалела Митю. Быть может, я должна была сразу же бежать к нему? И мне представилось, как я бегу по набережной; глухо, грустно звенят тополя, Ольгинский мост открывается под ясной луной. Вот и «депо». Митя не спит, а играет на скрипке. Запаянная трубка с ядом кураре лежит у него на столе. Дрожа, я говорю ему, что Глашенька убежала с Раевским. Он отвечает: «Я признаю ее».

И снова берется за скрипку, как будто ничего не случилось.

А может быть, действительно ничего не случилось? Может быть, он поссорился с Глашенькой? Может быть, у него уже прошла любовь? Ведь недаром же Андрей говорил, что «для людей типа Мити прошлое вообще не имеет значения». Может быть, компания в конце концов повлияла на него и он раздумал жениться?

Я все лежала, и думала, и прислушивалась — и все чудилось далеко-далеко позвякивание упряжи, скрипенье полозьев, глухой стук копыт по наезженной, крепкой дороге.

* * *

Еще когда я уезжала от Львовых, Андрей дал мне книгу, так что у меня был прекрасный повод, чтобы отправиться к нему и спросить, знает ли Митя, что Глашенька убежала с Раевским. Прежде мне казалось неудобным возвратить книгу, пока я ее не прочла. А теперь я решилась, тем более что это была довольно скучная книга.

Оказалось, что это трудновато: подойти к «депо» и позво-

нить не с кухни, а в парадную дверь. Но я все-таки позвонила и, когда Агаша открыла, сказала ей вежливо:

— Доброе утро.

Она стала ахать, что у меня хорошенькое пальто и что я сама стала хорошенькая. Я поблагодарила:

— Спасибо. Андрюша дома?

В эту минуту он сам вылез из своей комнаты, какой-то бледный, с завязанным горлом и сказал:

— Здравствуй. Ты молодец, что пришла. Иди-ка сюда, я тебе покажу одну штуку.

У него ничего не переменилось в комнате, только сильно пахло валериановыми каплями и на полу стояла большая стеклянная банка. Я сразу заметила, что в ней лежат тараканы, но не обыкновенные рыжие, а черные, которых, говорят, нарочно разводят, чтобы они приносили счастье.

Андрей внимательно посмотрел на меня. Кажется, ему понравилось, что я не удивилась.

— Я их усыпляю, — сказал он. — Понимаешь? А потом буду вскрывать. Хочешь мне помочь? Нужно сесть на банку.

На банку, оказывается, нужно было сесть потому, что если просто закрыть ее картонкой или фанерой, тараканы не уснут или уснут в ужасных мучениях. Когда я пришла, Андрей как раз ломал себе голову над этим вопросом. Он уже влил в банку эфирно-валериановых капель, и эфир испарится, если кто-нибудь не сядет на банку. Он бы сам сел, но ему нужно готовить какие-то препараты.

Я сказала:

— Ну, пожалуйста.

И хотела снять пальто. Но Андрей сказал, что так даже лучше. И вот в новом зимнем пальто я уселась на банку.

Это было довольно глупое положение, в котором я не могла, разумеется, завести разговор о Мите, раздумал ли он жениться на Глашеньке и знает ли, что она убежала. Я только спросила:

— А они будут долго?

— Что — долго?

— Засыпать.

Андрей сказал, что черных тараканов ему не приходилось усыплять, но что они похожи на жуков, а жуки от эфира в конце концов засыпают.

— Тебе неудобно сидеть? — заботливо спросил он. — Хочешь, я принесу тебе что-нибудь почитать?

Я поблагодарила и отказалась.

Сидя на этой банке, неудобно было разговаривать не только о Мите. Я спросила:

— Ну, что нового?

И даже этот вежливый, обыкновенный вопрос показался мне каким-то неловким. Но Андрей, кажется, не заметил, что я смущена. Озабоченный, он сидел на корточках и долго смотрел на тараканов. Потом вышел, вернулся с доской, на которой Агаша рубила мясо, и начал вкалывать в нее булавки.

Я спросила беззаботно:

— А зачем это тебе их вскрывать?

Он посмотрел на меня, не видя и думая о чем-то своем, — я знала это выражение с поднятыми от внимания бровями.

— Видишь ли, я хочу выяснить, есть ли у них сердце. Я мог бы просто спросить у дяди, он знает наверняка, потому что даже сказал, как называется черный таракан по-латыни. Но мне хочется самому. Я поспорил с Валькой, что есть, а он говорит, что поверит только в том случае, если увидит собственными глазами. Это его девиз: «Верю тому, что вижу». В бога он не верит тоже потому, что не видит.

Валька — это был Коржич. Значит, Андрей с ним помирился.

— Но это вообще интересно, верно?

Я согласилась, что интересно. Тараканы налезали друг на друга и издалека трогали стенки усами. Смотреть на них можно было только сбоку — и то, если поднять пальто. По-моему, они и не думали засыпать, хотя я сидела очень плотно и могла поручиться, что ни одна частица эфирно-валерианового газа не пропала напрасно. Но Андрей сказал, что они засыпают.

— Это у них возбуждение, — объяснил он. — Кошки бесятся от валерианки, а тараканы, вероятно, сперва возбуждаются, а потом засыпают.

Мы помолчали. Потом я спросила:

— Ну, как Агния Петровна? Вернулась из Петрограда?

— Вернулась.

— Отменили волчий билет?

— Отменили. Митя едет в Ивановск.

Я твердо решила спросить насчет Глашеньки, когда тараканы заснут. Но не выдержала:

— Что же он? Как видно, раздумал жениться?

— Нет, не раздумал.

Не раздумал! Я чуть не вскочила, но во-время опомнилась и только немного повертелась на банке:

— Интересно. А помнишь, ты говорил, что они, возможно, убегут венчаться в Петров?

— Помню. И что же?

— Ничего.

Я помолчала. Тараканы все шевелили усами, и я опять не выдержала:

— А вот и не убегут.

Наверно, у меня в голосе было что-то трагическое, потому что Андрей бросил свою доску и с удивлением обернулся ко мне:

— Почему ты думаешь?

— Потому, что Глашенька уже убежала.

Прежде я не замечала, чтобы у него так быстро менялось выражение лица. Только что было видно, что он глубоко занят тараканами, как будто на лице было написано: «Тараканы». А теперь кто-то мгновенно написал: «Глашенька убежала».

— Этого не может быть, — медленно сказал он. — Как — убежала?

— Вчера вечером она заезжала к Настасье Васильевне погладить, и с нею был этот Раевский. Настасья Васильевна сказала, чтобы я не говорила, что они были, но раз Митя не знает, я считаю, что было бы подло скрывать.

Я подобрала пальто и посмотрела на тараканов с такой ненавистью, что если у них было сердце, как предполагал Андрей, оно бы сжалось от одного этого взгляда.

— Она не хотела.

— Кто?

— Глашенька. Не то что не хотела, а расстраивалась. Она была в отчаянии, — сказала я торжественно, — потому что любит Митю, а убежала с другим!

Тут надо было бы рассказать, как Глашенька, войдя, бросилась к Настасье Васильевне, как, сжимая виски, смотрела на карты, точно ждала спасенья от этих растрепанных карт. Но, сидя на тараканах, я не могла рассказывать об этом.

— Вот что, — сказал Андрей: — ты останься, а я сейчас же пойду.

— Куда?

— К нему.

Теперь у него стало решительное лицо. Он сжал губы и вышел.

Вероятно, это было подло с моей стороны, но, подождав немного, я осторожно встала и на цыпочках пошла за Андреем. Это было выше моих сил — в такую минуту усыплять тараканов! Кроме того, я надеялась, что они прекрасно подохнут и под доской, которую я положила на банку.

Митя был в столовой, зубрил, обложившись книгами, — наверно, твердо решил получить в Ивановске золотую медаль. Дверь в коридор была открыта. Когда я на цыпочках подошла к ней, Андрей стоял у буфета — очевидно, только что начал говорить, потому что я еще видела, как Митя поднял к нему недовольное лицо. Он сердился, что ему помешали.

У меня сильно билось сердце, и я была убеждена, что Андрей сейчас прямо скажет ему: «Убежала с Раевским», как он

однажды прямо спросил у меня: «Тебе хочется знать, отчего у меня распух нос?»

Ничего подобного. Он мялся, и я видела, что ему очень трудно.

— Ты не беспокойся, — наконец мягко сказал он, — тем более что это может оказаться неправдой. Но, видишь ли, дело в том... ко мне пришла Таня, и она говорит, что вчера Глашенька была у гадалки.

— У гадалки?

— Да. И Таня говорит, что она была не одна. — Андрей говорил совершенно как взрослый. — Она была с Раевским.

Он замолчал. Он не смотрел на Митю.

— В общем, они уехали. Таня говорит, что в Петров.

Митя встал. Я никогда не думала, что можно так побледнеть. Он коротко крикнул — не знаю что, просто так — и взялся руками за стол. Мне показалось, что он взялся, чтобы не упасть, а он вдруг двинул стол и с грохотом повалил его, так что тетради и книги посыпались на пол и, между прочим, разбилась прекрасная белая лампа.

Потом все произошло очень быстро. Митя выскочил в переднюю, сорвал с вешалки шинель. Стук палок раздался в коридоре — это старый доктор, услышав крик, вышел из своей комнаты и спросил тревожно:

— Что случилось?

Андрей сказал ему странным голосом:

— Дядя, идите сюда, скорее, скорее!

И я увидела, что Митя, полузакрыв глаза, стоит у стены и, шатаясь, трогает стену руками. Но вот он шагнул, распахнул двери, и когда мы с Андреем выбежали за ним, только шинель, которую он перекинул через плечо, мелькнула в калитке.

ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ

С этого дня я стала снова бывать у Львовых — во-первых, потому, что я понравилась старому доктору, а во-вторых, потому, что все-таки интересно было узнать, есть ли у тараканов сердце.

Но сперва я расскажу о Мите.

Агнии Петровны не было дома, когда мы сказали ему, что Глашенька убежала с Раевским, и Андрей решил, что нужно «немедленно найти маму, потому что Митя может покончить с собой». Он привел меня в Митину комнату и взял со стола трубку с ядом кураре.

— Возможно, что это и не кураре, — сказал он. — Но на всякий случай нужно убрать его подальше. Дай-ка платок.

Он завернул трубку и сказал, чтобы я держала ее в левой руке.

— Ты можешь упасть, — объяснил он. — А падая, человек инстинктивно опирается на правую руку. А теперь отправляйся домой, а я пойду искать маму.

Это было глупо, что я согласилась — пока я дойду до дому и вернусь обратно, у Львовых могли произойти важные события. Я подумала об этом, но поздно — уже когда шла через Ольгинский мост. Теперь оставалось только снести яд и поскорее вернуться.

В кухне у Львовых — на этот раз я позвонила с кухни — было большое общество и сидели даже какие-то важные люди — например, горбатый чиновник, о котором гимназисты говорили, что он страшный силач, и другие. Агаша стояла у плиты и рассказывала о Мите. Оказывается, она служила у Львовых с 1904 года, и с Митей еще тогда было мученье: как увидит даже на той стороне мальчика или девочку, сразу перебежит и побьет. Потом она рассказала, что Митю ищут по всему городу и нигде не могут найти, хотя прошло уже пять часов с тех пор, как он, выйдя от Рыбаковых, бросился вниз по Сергиевской, к Тесьме — и пропал.

В этом месте она собралась зареветь, но удержалась, потому что горбатый чиновник придвинулся к ней и спросил:

— А яд-то?

И Агаша ответила загадочно:

— Так и не можем найти.

Я еще слушала, не понимая.

— Очевидно, отравился — и в прорубь, — заметил чиновник.

Агаша заревела. Все задумчиво смотрели на нее. Я — тоже. И вдруг я поняла: яд! Они думают, что Митя отравился ядом кураре! До сих пор я тихонько стояла в углу и даже немного боялась, как бы меня не прогнали, а теперь вышла и встала подле Агаши.

— Агашенька, Агния Петровна думает, что Митя отравился тем ядом, который лежал у него на столе?

Она сказала, что да и что Агния Петровна чуть не упала в обморок, а теперь ходит с жандармом и ищет Митин труп. И что Андрей тоже как ушел с утра, так и нету.

— Хорошо. Тогда я пойду к дяде, — сказала я твердо. — Мне нужно сказать ему несколько слов.

Без сомнения, старый доктор тоже беспокоился насчет Мити. Он привстал с кресла, как только я появилась в дверях, и спросил тревожно:

— Нашли?

Я сказала:

— Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Дело в том, что Агния Петровна напрасно беспокоится: яд у меня. Это трубка с чем-то красным. Андрей дал ее мне. Она в комоде. Если хотите, я принесу.

Он внимательно посмотрел на меня и улыбнулся, хотя, кажется, я не сказала ничего смешного.

— Да, да, — сказал он. — Мы взволновались, хотя я говорил Ане (так он называл Агнию Петровну), что это не может быть кураре и вообще, вероятно, не яд. Но все-таки где же Митя?

— Видите ли, дядя Павел, — сказала я оживленно, — интересно еще, где Андрей? Понимаете, Андрей ведь тоже пропал. Это меня утешает.

Доктор был без очков, когда я пришла, а теперь надел и снова посмотрел на меня, как будто увидел впервые.

— Так, так, — серьезно сказал он. — Почему же это тебя утешает?

— Потому что он тоже беспокоится и пришел бы домой. А он не пришел. Значит, у него есть причина.

— Почему ты думаешь?

Я сказала, как Андрей:

— Потому что сделала заключение. В самом деле, дядя Павел. Куда Андрей мог пропасть на весь день? Он не вернулся домой из-за Мити. Вы читали «Злой рок шахт Виктория»? Он следит за Митей, как Нат Пинкертон.

Я была в таком вдохновении, что прослушала звонок и в первую минуту не поняла, почему Агаша сказала: «Ай, батюшки!» Она выбежала в коридор, я за ней, но сразу вернулась, потому что старый доктор потянулся к палке, лежавшей на полу, и чуть не упал. Я подала ему палку.

Агашины гости высунулись из кухни, чтобы посмотреть, кто пришел. Это был Митя. Он снял шинель в передней. Проходя мимо Агашиных гостей, он двинулся на них и сказал грозно, совершенно как Агния Петровна:

— Это еще что такое?

Потом прошел к себе и закрыл дверь на ключ.

А через несколько минут снова раздался звонок, и пришел Андрей. Он пришел страшно замерзший и долго отмалчивался, шмыгая носом и мрачно глядя на свои посиневшие пальцы. Я сказала, чтобы он приложил их к животу — верное средство. Он приложил.

Оказалось, что он все время сидел во дворе у Рубиных и ждал Митю. Он не хотел показываться, чтобы Митя его не прогнал. Но, в общем, сказал он, это была ерунда, потому что он играл с ребятами в снежки и стал замерзать, только когда этих ребят позвали обедать.

Агния Петровна тоже пришла — откуда-то она уже знала, что Митя нашелся. Она сняла пальто и, сердито протирая запотевшее пенсне, долго стояла в передней. Все от нее удрали. Она постучалась к Мите, и я слышала, как он сказал:

— Мамочка, если можно, потом.

Я ушла. Старый доктор почему-то поцеловал меня, когда я заглянула к нему, чтобы проститься.

* * *

Павел Петрович предложил заниматься со мной по всем предметам прогимназии Кржевской, и я стала ходить в «депо», как в прогимназию, с тетрадками и книжками, которые дал мне Андрей. Это были книжки по арифметике и географии, а по природоведению и по русскому доктор сказал, что не нужно, потому что он и без книг знает эти предметы. Я приходила и сидела у его ног на скамеечке. Он спрашивал — между прочим, строго, а я отвечала. Теперь я нисколько не боялась, а, напротив, привыкла к старому доктору и полюбила его. Входя к нему, я всегда чувствовала, что для того, чтобы заговорить со мной, ему нужно вернуться из чего-то очень далекого, не имеющего ни малейшего отношения к тому, что происходило в «депо». Я чувствовала, что он одинок. Например, он любил читать газету и поговорить о политике, а кроме меня, никто не хотел его слушать. Я расстраивалась, когда его обижали. Он очень обрадовался, когда Митя решил пойти на медицинский факультет, и хотел по этому поводу прочитать ему свою статью, которая называлась «Защитные силы», но Митя сказал: «Ох, дядюшка, ради бога!», и это было так невежливо, что Агния Петровна сделала ему замечание.

Старому доктору было скучно постоянно сидеть в своей комнате; иногда он выходил посидеть на крыльце, и Агния Петровна сразу же начинала ворчать, как будто это было трудно — подать ему шубу и шапку и немного поддержать под локоть в дверях.

Словом, непонятно почему, но в «депо» были как бы две партии, причем одну составляли Агния Петровна и Митя, а другую — этот старый человек, очень вежливый, который ничего не требовал, ни на что не жаловался и только сидел в своей комнате и писал. Мне казалось, что очень трудно быть вежливым, когда приходится ходить, опираясь на две палки и тряся головой, висящей как-то отдельно от тела.

Мне давно хотелось поговорить с Андреем об этих странных отношениях, тем более что он жалел Павла Петровича и часто заходил к нему. Я долго не решалась, но в конце концов все-таки спросила, и Андрей ответил, что мог бы объяснить, но не стоит, потому что я все равно ничего не пойму.

— Ты знаешь, что такое принцип? — спросил он.

— Нет.

— А что такое микроб?

— Тоже.

— Вот видишь.

Но я стала приставать, и тогда он объяснил, что Агния Петровна рассердилась на доктора за то, что он из принципа бросил практику, то-есть отказался лечить за деньги. К другим врачам бедняки не ходят, а к нему ходят, потому что он с них ничего не берет или самое большее — двадцать копеек. Между тем он мог бы зарабатывать десять рублей в день — Андрей сам слышал, как Агния Петровна сказала об этом Агаше.

Но немного он все-таки зарабатывает, главным образом на медицинские журналы, которые ежегодно выписывает из Петрограда и Москвы. В общем, он занимается микробами, но из этого тоже ничего не выходит, потому что тут главное — опыты, а для опытов нужны аппараты.

Когда-то он жил в Петербурге, но потом его выслали, потому что он поддержал студенческую забастовку и выступил против царя на каком-то съезде. В Лопахин он попал не сразу, а сперва три года провел где-то в Сибири.

— Между прочим, я его без палки уже не застал, — добавил Андрей, — то-есть ко времени моего рождения он уже ходил с палкой. А потом, когда мне стало года четыре, — с двумя.

Я спросила, чем болен Павел Петрович, и Андрей объяснил, что это тяжелый ревматизм, который он подхватил, когда его отправляли в Сибирь по этапу. Но он не лечился, потому что большинство лекарств, по его мнению, — сплошное жульничество, за исключением двух-трех, которые были известны еще Гиппократу.

— Знаешь, кто такой Гиппократ?

Мне хотелось учтиво промолчать, чтобы вышло, как будто я знаю, но Андрей понял и сказал:

— Эх, ты, Гиппократа не знаешь!

И он объяснил, что в древности был такой врач, который мог даже не осматривать больного, а только посмотрит ему в глаза — и готово! Уже известно, выздоровеет больной или нет.

Стало быть, Агния Петровна сердилась на брата из-за какого-то принципа.

Я долго думала над этим вопросом и решила, что Андрей ошибается. Принцип и Гиппократ — это было давно. А теперь доктор был стар и болен, а на старых и больных всегда сердятся. Это я заметила еще, когда у меня была бабушка, которая умерла в 1913 году. Особенно когда нечего надеяться, что они когда-нибудь смогут заплатить за еду и квартиру.

На другой день после истории с Митей я принесла в «депо» трубку с ядом кураре, и старый доктор приветливо закивал, увидев меня:

— А, злой рок шахт Виктория! Как дела?

Это было у крыльца, он сидел закутанный, только длинные брови торчали из-под нахлобученной шапки.

— Ну, сделала заключение?

Я сказала:

— Здравствуйте, дядя Павел. Как ваше здоровье? Насчет чего заключение?

— Насчет яда кураре, — сказал доктор и засмеялся.

Разумеется, он шутил, потому что я и не собиралась делать заключение насчет яда кураре.

Я сказала:

— Между прочим, Андрей думает, что это не яд. Вот посмотрите, дядя Павел. Хотя он красный, но прозрачный. А яд — например, жидкость для клопов, — он мутный.

Доктор взял у меня трубку и положил ее на перила. Потом растегнул шубу и достал из кармана перочинный нож. Он вывернул карман и вытряхнул из него какие-то комочки ваты и крошки. Он нисколько не торопился, так что мне и в голову не могло прийти, что он собирается делать. Я только ахнула, когда он взял в правую руку нож и сильно ударил им по стеклянной трубке.

— Дядя Павел!

Кончик отлетел, и дядя Павел налил немного яду кураре на ладонь. Он понюхал его, потом тронул языком и энергично сплюнул.

Я заорала:

— А-а-а!

Он сказал сердито:

— Молчи, болван!

Потом засмеялся, бросил трубку в снег и сказал, что это вода, подкрашенная кармином.

Андрей потом говорил, что здесь сыграла роль быстрота плевания и что он берется таким образом попробовать даже какую-то царскую водку. Но водка, даже и царская, было одно, а яд — совершенно другое. Кто еще в Лопяхине решился бы попробовать яд? Нет, оказывается, доктор действительно был совершенно другой, чем все, кого я знала и видела со дня моего рождения.

Митя уехал в конце января, и в «депо» стало как-то пусто без него — так много говорили о нем и столько он всем доставлял беспокойства. Перед отъездом он зашел к Глашенькиным родителям и просидел у них страшно долго; Андрей потом рассказывал, что Агния Петровна уже принялась было искать в

его комнате записку: «Прошу в моей смерти никого не винить». Когда он надолго пропал, она прежде всего искала эту записку.

Я спросила у Андрея, как он думает, почему все-таки Глашенька любила Митю, а убежала с Раевским, и Андрей объяснил, что это сложный вопрос, в котором может разобраться только наука. Но в литературе ему известны подобные факты. Например, в пьесе Островского «Бесприданница» одна девушка чуть не убежала с богатым купцом, и когда жених стал упрекать ее, она отвечала: «Поздно! Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты». Возможно, что то же самое произошло и с Глашенькой, тем более что отец Раевского — директор банка и в Лопахинском уезде ему принадлежит большое имение «Павы». Но они убежали не в имение, а в Петроград, потому что Раевский все равно собирался перевестись в Петроград. Он хочет кончить Училище правоведения и стать дипломатом.

* * *

Мне запомнился вечер, когда уехал Митя. Компания устроила ему проводы, и Агния Петровна стояла у ворот и смотрела, нет ли поблизости городских, потому что гимназисты пели запрещенные песни.

Мы с Андреем вышли во двор, и она нас тоже заставила сторожить, хотя пение едва доносилось из-за двойных рам, был десятый час и городские спали. Потом извозчики подали к крыльцу, и оказалось, что товарищи едут провожать Митю за пятнадцать верст на вокзал, хотя и непонятно было, как они поместятся в двух маленьких санках. Они вышли, обнявшись, в расстегнутых шинелях, с фуражками на затылках, и Агния Петровна снова стала бояться — уже не полиции, а гимназического начальства. Наконец все расселись, уехали, и наступила та пустота, о которой я уже рассказывала.

Теперь я бывала в «депо» почти каждый день и оставалась, даже когда Андрея не было дома. Случалось, что Агаша просила меня помочь: я убирала комнаты или топила печи. Но чаще я сидела у старого доктора и читала что-нибудь или смотрела, как он пишет. Мы подружились. Я рассказала ему про маму, как ей трудно работать, потом про Настасью Васильевну, что она — чахоточная и скоро умрет и что я переписала для нее «Новый полный чародей-оракул». Доктор попросил меня объяснить значение карт, и я объяснила, что бывают разные способы гаданья — цыганский и французский «Ленорман-Етейла». Потом доктор наудачу вытащил семерку, десятку, короля и вала бубен и спросил:

— Ну-ка, что это значит?

И я не задумываясь ответила:

— Это значит, что после прогулки вы свидитесь дома с вашим предметом и вступите в брак, к досаде и огорчению старого родственника.

Доктор слушал с интересом.

— Значит, «Ленорман-Етейла», — сказал он задумчиво. — Так... А сколько семью девять, ты знаешь?

В другой раз я рассказала ему, как к Настасье Васильевне приходил жандарм с женой, и Павел Петрович сказал загадочно:

— Крысы бегут с тонущего корабля.

Я видела, что ему хочется поговорить о политике, и нарочно спросила:

— Дядя Павел, а при чем же здесь крысы?

И он объяснил, что в данном случае монархия, то-есть самодержавие, — это корабль, а крысы — это те, кто догадывается, что он непременно потонет. Но догадываются далеко не все, тем более что самодержавие устраивает заговор, чтобы победить народ, который стремится к свободе.

— Дядя Павел, а вы стремитесь к свободе?

Он засмеялся и сказал:

— О да!

В свою очередь, помещики и буржуазия тоже устраивают заговор, чтобы устранить царя, потому что они боятся, что у царя не хватит сил справиться с народом. Но из всех этих заговоров все равно ничего не выйдет, потому что народ просыпается или уже проснулся, и низвержение самодержавия, безусловно, произойдет — возможно, даже, что через три или четыре года. Это было очень трудно выговорить — «низвержение самодержавия». Но потом получилось, и заодно я рассказала Павлу Петровичу все, что знала о политике, то-есть что есть разные партии и что Синица, по-моему, «правый», потому что хочет отправить всех студентов на фронт.

Доктор выслушал и, к моему изумлению, сказал, что все эти партии почти ничем не отличаются друг от друга.

— Два мира борются между собой, — сказал он, — мир богачей и мир тружеников, которые всю жизнь работают на этих богачей и тем не менее остаются бедняками.

Мне захотелось спросить, кто же я — богатая или бедная, тем более что в посаде мы с мамой считались не особенно бедными. Но он задумался, уставившись в одну точку, широко открыв свои грустные, потускневшие глаза. И я не спросила.

В другой раз он заговорил о болезнях. Он думал, оказывается, что мы заболеваем не потому, что у нас что-нибудь болит, а потому, что нас точат микробы.

Я не поняла, но кивнула. И вдруг старый доктор рассказал

мне сказку о ночном стороже, который любил смотреть через увеличительные стекла. Это было давно, лет двести тому назад, и не у нас в России. Сторож был чужак, и ему было интересно, что, например, делается в голове у мухи или как устроен глаз у быка. Увеличительные стекла, которые мальчишки покупали, чтобы выжигать разные слова на заборах, он делал сам, причем такие сильные, что обыкновенные волосы выглядели под этими стеклами, как толстые, мохнатые бревна.

И вот однажды он набрал в стеклянную трубочку немного воды и посмотрел на нее через стекла, хотя всем было ясно, что как бы воду ни увеличивать, она все равно остается водой. Но оказалось, что в воде плавают какие-то маленькие животные — такие маленькие, что он просто не поверил глазам, причем это были не рыбы.

Я сказала:

— Дядя Павел, ну какие маленькие? Как соринка?

— Меньше.

— Как пылинка?

— Еще меньше.

Меньше пылинки был, по-моему, только глаз у какой-нибудь букашки вроде комара. Но мне показалось неудобным сравнивать маленьких животных, о которых так серьезно рассказывал старый доктор, с глазами каких-то комаров.

И вот ночной сторож стал повсюду искать маленьких животных — он почему-то решил, что они должны водиться не только в воде. И действительно, оказалось, что их сколько угодно, например, в перце, если его размочить. Сторож стал даже разводить их — кажется, в соусе или в компоте. По вечерам он зажигал фонари, по ночам ходил с ружьем и кричал: «Спите спокойно!», а днем сидел над своими маленькими животными и рассматривал их через увеличительные стекла.

В общем, это была довольно интересная история, хотя я так и не поняла, каким образом нас точат микробы.

Мне понравилось, что сторож ходил по улицам и кричал: «Спите спокойно!» Вот если бы у нас был такой ночной сторож в посаде! Насчет маленьких животных я хотела сказать, что зачем же их разводить, если от них нет и не может быть ни малейшей пользы. Но у доктора было такое печальное, доброе лицо, когда он рассказывал эту историю, что я только подумала — и не сказала.

* * *

Зимним вечером снег падает на затерянный в глуши городок, толстая белая крыша над вывеской «депо» становится все толще и наконец обрушивается с бесшумным вздохом. Время идет — минута за минутой...

Всё медленнее летят тяжелые, крупные хлопья — воздух полон ими от земли до небес. Они сходятся и расходятся, точно пляшут какой-то неторопливый старомодный танец. Поднимается ветер — и они поднимаются вверх. Ветер падает — и они покорно ложатся на землю.

Держа на коленях раскрытую книгу, девочка сидит у ног старого человека. Снизу она видит его бороду и очки, которые едва держатся на кончике толстого носа. Она читает, он слушает. Иногда он строго поправляет ее.

Такими ушли от меня детские годы.





Глава вторая

**СТАРЫЙ
ДОКТОР**





ДЛЯ КОГО?

...Это было вечером, в десятом часу. Маме, засидевшейся за шитьем, захотелось чаю, и она послала меня на постоялый двор. Размахивая пустым чайником, я перебежала дорогу — и остановилась: навстречу мне шел Рубин, изменившийся, постаревший, в измятом, изорванном пальто, с черными руками. Он взглянул на меня и сказал тихим голосом:

— Не найдется ли водички, девица?

Это было невероятно, чтобы Рубин, который, встречаясь со мной, всегда закрывал один глаз и делал серьезное, смешное лицо, ни с того ни с сего назвал меня «девицей» и притворился, что мы незнакомы.

Я ответила растерянно:

— Сейчас принесу, — и со всех ног побежала в «Чайную лавку».

Уж не помню, когда меня осенила догадка, что это вовсе не Рубин, которого я превосходно знала, а его брат, большевик, сидевший в тюрьме за свои убеждения. Помню только, что все время, пока старший Рубин пил, мне хотелось спросить, не попал ли он под лошадь, как это некогда случилось со мной.

— У вас пальто разорвалось. Зайдите к нам, мама зашьет, она портниха.

— Некогда, девица.

Он хотел погладить меня по голове, но взглянул на свою черную, запачканную руку и передумал.

— Тебе сколько лет?

— Одиннадцать.

— Ну и счастливая же ты, девица! Хорошая у тебя будет жизнь.

Я спросила:

— Почему вы так думаете?

— Я не думаю. Я знаю.

Пошатываясь от усталости, он двинулся дальше, а я стояла и долго смотрела вслед — до тех пор, пока он не скрылся за поворотом.

На другой день мы с мамой узнали, откуда он шел и почему у него были черные руки. Сибирский казачий полк, вызванный Временным правительством в Петроград, должен был проехать через станцию Лопахин, и рабочие кожевенного завода под руководством Рубина разобрали пути и уговорили казаков вернуться.

Ни годы войны, ни февральская революция почти ничего не изменили в Лопахине. Зато теперь, когда под разными предложениями я каждый день бегала из посада в город, можно было подумать, что от одного до другого раза проходили не часы, а годы.

Перемены были огромные, необыкновенные и касались они решительно всех — это в особенности меня поражало.

В садике перед домом уездной управы, где помещался Совдеп, появились солдаты, которые раздавали листовки, и я сама видела, как директор мужской гимназии взял такую листовку и сейчас же с негодованием швырнул на землю. На заборах, на стенах домов появилось воззвание, подписанное «Военно-Революционный комитет», и трудно передать, какую бурю произвел в Лопахине этот маленький листок бумаги! Я была у Львовых, когда к Андрею пришел его одноклассник фон дер Боль, сын уездного предводителя дворянства. Сперва они говорили о гимназических делах — правда ли, что в Петрограде латынь уже отменили? А потом фон дер Боль стал ругать Военно-Революционный комитет. Андрей возражал спокойно, только один раз спросил сквозь зубы:

— Ты этого не понимаешь? Значит, у тебя иначе устроен головной мозг.

Но фон дер Боль не унимался, и тогда Андрей подошел к нему так близко, что они едва не стукнулись лбами, и сказал ровным голосом:

— Еще одно слово — и я тебя арестую.

Вчера это показалось бы просто смешным — то, что один ученик пятого класса собирается арестовать другого. А сегодня... сегодня фон дер Боль побелел и торопливо вышел.

Мне едва исполнилось одиннадцать лет, когда произошла Великая Октябрьская революция, и я не могла, разумеется, оценить глубокий смысл того, что вместе с нею вошло в мою жизнь. Но отчетливое ощущение чего-то необычайного и вместе с тем совершающегося ежедневно запомнилось мне навсегда: как будто само время быстро двинулось вперед, сметая привычные, устоявшиеся представления.

* * *

Для кого же произошли эти поразительные события? Для кого на тряпичной фабрике Валуева был устроен митинг и представитель Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов обещал, что посадские получают квартиры в городе, а буржуи — в посаде? Для кого прогимназию Кржевской слили с городским училищем, мальчики и девочки стали учиться вместе, и у подъезда, на котором с замирающим сердцем я видела однажды саму мадам Кржевскую, полную, величественную, в хвостатой накидке из соболей, появилась надпись: «Первая единая трудовая школа»?

В горячем споре с каким-то дальним родственником Львовых, внезапно появившимся в «депо» зимой восемнадцатого года, Павел Петрович, энергично стукнув обеими палками об пол, ответил на этот вопрос:

— Вы спрашиваете, для кого это делается, уважаемый Александр Христофорыч?

И показал на меня.

Для меня и для таких, как я, — вот для кого произошли эти поразительные перемены. Для меня — чтобы я больше не ходила к Валуеву сортировать грязные тряпки, чтобы я могла учить уроки, получать отметки.

Чувство гордости наполняет меня, и нет ничего удивительного в том, что я начинаю ходить по улице с высоко поднятой головой, как и полагается девочке, ради которой в мире произошли такие волшебные перемены.

День проходит за днем, за месяцем месяц. Зимним вечером извозчицы санки останавливаются перед бывшим «депо».

На санях — я и мама. Агния Петровна упростила маму съездить в деревню, чтобы обменять на муку и крупу какие-то вещи. Мы сидим под узлами и молчим — замерзли. Извозчик, с которого снег падает большими кусками, слезает с козел и кричит:

— Ай живы?

Андрей, веселый и довольный, выходит на крыльцо и говорит нам:

— Здравствуйте. Как ваше здоровье?

И вот дом, в котором все происходило неожиданно и ничего нельзя было предсказать, в котором я узнала так много нового, становится самым обыкновенным домом. С незнакомым ощущением полного равенства между мамой, Агашей и Агнией Петровной, между Андреем и мной я брожу по «депо». Впрочем, скоро это чувство проходит, и начинает казаться, что так было всегда.

Проходит зима, и мы получаем прекрасную комнату на Малой Михайловской, в квартире бывшего прокурора судебной палаты, убежавшего за границу во время гражданской войны. Больше не надо говорить шопотом — за стеной уже не живут такие же несчастные, говорящие шопотом люди, как мы. Теперь за стеной направо живет маленькая, тоненькая женщина — Мария Петровна, а за стеной налево — высокая, полная — Надежда Петровна. Вместе с мамой они работают в швейной мастерской Церабкоопа.

Новая комната — просторная, светлая, и, просыпаясь, я думаю о том, что прежде мы с мамой как будто прятались, а теперь вышли на волю и после темноты стало даже больно глазам — так сияет по утрам во всех трех окнах солнечный свет. Мебель у нас теперь тоже новая — два мягких кресла, белый шкаф и ковровый диван. Из посада мы перевезли только комод, мамину кровать и афишу, объявлявшую о спектакле «Бедность — не порок» с участием П. Н. Власенкова, о котором, к стати сказать, мы с мамой уже шесть лет как ничего не слышали.

Между тем время идет, и за тающими очертаниями старого мира все отчетливее появляется то новое, еще незнакомое, что в наши дни естественно входит в жизнь каждого советского человека. В «Красном набате» появляется сообщение о наборе служащих для Дома культуры, и Агния Петровна поступает на работу в этот дом как знаток артистического и музыкального мира. Уполитпросвет организует издательство, и среди первых книг выходит брошюра Павла Петровича под названием: «Мировоззрение и медицина» — тоненькая, в розовой обложке, с обращением к читателям, в котором автор объясняет, почему он не ссылается на источники и не «угощает читателей мудростью энциклопедических

словарей». «Времени мало, — пишет он, — а хочется сказать так много!» Между строками упоминает он о большом труде, посвященном изучению целебных сил организма.

На обороте обложки, под ценой, он указывает свой адрес, и по этому адресу вдруг начинают приходить письма. Они приходят из Москвы и Петрограда, из Твери, Пензы и Нижнего Новгорода. Старому доктору пишут студенты и рабочие, профессора и врачи — те, кто согласен с ним, и те, кто не согласен.

Наконец — торжественный день! — почтальон приносит письмо от знаменитого Р., и старый доктор, которого я спрашиваю, чем прославился этот человек, придя в ужас от моего невежества, целую неделю рассказывает мне о заслугах Р. перед русской и мировой наукой.

Что же написал Павлу Петровичу великий ученый? Кто знает! Должно быть, нечто необычное, потому что после его письма «труд» откладывается и старый доктор, помолодев лет на двадцать, принимается за краткую статью, в которой, как он объясняет мне и Андрею, будет изложена лишь самая сущность теории.

* * *

Раннее апрельское утро 1920 года. Расходится туман над Тесьмой, бледнеют звезды, с каждой минутой разгорается красная полоска зари, и солнечные лучи, вдруг брызнув между облаками, мгновенно устраивают по-своему все, что ни окинешь взглядом: в маленьком тесном городке становится просторнее, и дома начинают казаться стройнее и выше.

С газетой в руках Андрей входит в красный уголок нашей школы, который ребята украшают к празднику Первого мая.

— Товарищи, внимание!

Это был номер «Правды», и Андрей принес его в школу, потому что в нем были напечатаны прощальные письма девяти комсомольцев, расстрелянных белыми в Одессе.

Бледный от волнения, часто останавливаясь, чтобы перевести дыхание, он читает эти письма:

— «Милые, родные, ухожу от жизни с сознанием исполненного перед Революцией долга... Ида Краснощекина».

«Дорогие товарищи, осталось жить несколько часов. Мы смело идем навстречу смерти, сознавая, что на воле остались товарищи, которые продолжают работать во славу великого дела. Яков Безбожный».

«Я не умру без борьбы, но если все же придется умереть, встречу смерть с высоко поднятой головой... Василий Петренко».

...Он хранится у меня до сих пор, этот номер «Правды» от 25 апреля 1920 года, еще полный отзвуков гражданской

войны, полузабытых, но вечно живых. Иногда я развертываю его — и за пожелтевшими страницами встает передо мной весеннее утро, трепещущая молодая листва берез за окном, радостное пересвистывание птиц в школьном саду, свисающая на пол кумачовая лента: «Да здравствует Первое мая!», которую мы не успели прикрепить во всю ширину стены, и полудетские лица мальчиков и девочек, взволнованно слушающих Андрея...

У ЛЬВОВЫХ ГОСТИ

В этот вечер я вспомнила, что давно не была у старого доктора, и, забежав после школы к маме на работу, решила пойти не домой, а к Львовым. Я шла по улице Карла Маркса и думала о себе в третьем лице, но не просто думала, а как бы писала: «Ей семнадцать лет, неужели уже семнадцать?» Это выходило смешно. «Кто знает, что ждет ее впереди? Еще два года — нет, полтора! — и, окончив школу, она поедет в Москву».

Радостный, поющий дом, летящий вперед и освещенный, как пароходы по вечерам на Тесьме, почему-то представился мне, когда я шопотом произнесла это слово: «Москва!» Я увижу Москву. Я стану врачом. Старый доктор говорит, что в Москве собрались самые лучшие медицинские силы.

Я пробежала Вечевую площадь, поднялась по Ивановской — и замерла: у Львовых все окна были освещены, тени мелькали за ними, и снег крутился в столбах света, падающих из окон во двор, совершенно так же, как перед домом, который только что представился мне.

Я вошла на мусорный ящик и, прижавшись к стеклу, увидела старого доктора, который, сгорбившись, сидел за столом. Агния Петровна стояла за его спиной, держа в руках чашку, в которой горел — что за чудо! — круглый синеватый огонь. Окно было все в крестиках и звездочках и преломляло свет, так что вдруг передо мной мелькнули и пропали не один, а два старых доктора. Но вот я нашла Андрея, сидевшего как-то по-своему, спокойно и прямо. Вот кто-то, очень высокий, встал и, смеясь, стал зачерпывать синеватый, колеблющийся огонь разливательной ложкой. Что все это значит?

Я подошла к черному ходу, постучала, и Агаша, которая попрежнему жила у Львовых, открыла мне как ни в чем не бывало.

Приехал Митя — вот что это значит! Он приехал из Ростова-на-Дону, где еще служил в Красной Армии, хотя

многие врачи были уже демобилизованы и разъехались по домам.

Агаша сделала загадочное лицо.

— Выпьем, а потом на станцию, — сказала она. — Решенный вопрос.

— Зачем?

— Гулять. Интересные такие приехали и вино привезли.

В том, что гости привезли вино, не могло быть сомнений хотя бы потому, что Агаша ежеминутно делала большие глаза без всякой причины. Я спросила, где Митя, и она сказала таинственным шопотом, как будто, кроме меня, никто на свете не должен был этого знать:

— Там.

Потом она взяла меня под руку, и мы пошли на кухню, в которой было полутемно, потому что горела слабая угольная лампочка. Я спросила — почему, и Агаша объяснила, что в столовой Мите показалось мало света и он вывернул лампочки у подъезда, в кладовой и на кухне.

— Дивный сон, — сказала она и ушла.

Я стояла и волновалась. Митя! Мне сразу захотелось пойти в столовую. Но я решила, что это неудобно и лучше зайти завтра, а сейчас вернуться домой.

В эту минуту высокий человек — тот самый, которого я видела через окно, — вбежал в кухню и энергично, сердито крикнул:

— Агаша!

Он недовольно поднял брови, как Митя, и шумно вздохнул. Это и был Митя, и еще прежде, чем он увидел меня, я успела огорчиться, что он стал такой большой, просто огромного роста.

— Здравствуйте, Митя.

Он шагнул ко мне и сказал с изумлением:

— Неужели Танечка? А почему на кухне?

Я сказала:

— Случай, который объяснить очень просто. Условились, что зайду к доктору, а он, без сомнения, занят в связи с вашим приездом. Пожелаю вам доброго вечера, вот и все.

Это вышло слишком гладко, но я, когда смущалась, всегда говорила гладко.

Митя засмеялся. От него немного пахло вином, и теперь это был уже почти прежний Митя.

— Э, нет! — сказал он. — Отпустить старую знакомую, которую я однажды чуть не убил? Которая так чудно говорит: «Пожелаю доброго вечера, вот и все»? Это не в моих интересах.

Он взял меня за руку, но я твердо сказала:

— Нет, к сожалению.

И отняла руку.

Я не ломалась, а просто раздумала, потому что на мне было старенькое ситцевое платье, а бежать домой переодеваться было неловко.

* * *

Все-таки он притащил меня в столовую и как раз, когда все говорили шопотом: «Тише, тише», потому что старый доктор поднялся и объявил, что хочет сказать несколько слов. Митя пробормотал: «Ох, дядюшка!», но на него зашикали, и тогда он знаками, комически представил меня своим друзьям — высокому человеку в военной форме, с большим лениво-добродушным лицом и маленькому черному штатскому, который при виде меня широко открыл один глаз, а другой закрыл без единой морщинки. Первый был незнакомый, а второй — наш, лопахинский, я сразу вспомнила — Рубин.

В столовой было натоплено, накурено. Голубоватый огонь горел в чашке посреди стола, согнувшийся старый доктор говорил что-то сильным, помолодевшим голосом. Его голова, выдававшаяся далеко вперед, даже тряслась от чувства, с которым он произносил свою речь.

— Как во время сильного ветра вы неожиданно видите изнанку листы, — говорил он, — так революция, ломая фасады, обнаруживает внутреннюю жизнь зданий, и люди, привыкшие замечать лишь лицевую сторону, невольно начинают думать, что до сих пор они видели далеко не все...

Я только что успела немного привыкнуть к тому, что Агния Петровна, помолодевшая, в бальном платье, гордо распоряжается за столом, к тому, что Андрей, вдруг оказавшийся маленьким рядом с высоким братом, смотрит на него с обожанием, которое напрасно старается скрыть, — словом, ко всему, что в этот вечер прямо с неба свалилось в «депо», как Митя подсел ко мне и взволнованно спросил:

— Ты знаешь, что Глашенька Рыбакова вернулась в Лопахин?

Это было неожиданно, и я не сразу ответила, тем более что в кухне он называл меня на «вы» и мне это понравилось, а теперь вдруг на «ты». Кроме того, он спросил так, как будто Глашенька только вчера вернулась, в то время как она уже больше года жила в Лопахине. Она приехала совершенно другая, робкая, в некрасивом пальто, сшитом из клетчатой шали, и когда я ее встречала, мне всегда казалось, что она старается идти поближе к забору, чтобы занять поменьше места на улице и вообще на земле.

Я сказала:

— Давным-давно.

— Ты знаешь, где она живет?

— Знаю.

— Я хочу попросить тебя проводить меня к ней.

Я сказала вежливо:

— Пожалуйста.

Но мне почему-то ужасно не захотелось его провожать, и все время, пока Павел Петрович говорил свою речь, я думала о том, как это неприятно, что я согласилась.

В сущности говоря, какое мне было дело до того, что Глашененька обещала выйти за Митю, а потом убежала с другим?

В свое время мы с Андреем решили, что она совершила страшную подлость, тем более что Митя любил ее и был в отчаянии, когда она убежала. Андрей утверждал, что это клятвopепpеступление, за которое во времена Петра Первого отрубили бы правую руку. Но, с другой стороны, мало ли какие причины могли заставить ее отказаться от Мити?

Теперь мне было не одиннадцать лет, я понимала, что любовь — это сложное чувство. Но все-таки мне было досадно, что у него не хватает чувства достоинства и он бежит к Глашененьке в первый же день приезда.

Доктор кончил свою речь. Оказалось, что в лице Мити и Курочкина — так звали высокого военного — он приветствует молодое поколение врачей, которому был бы счастлив передать свой многолетний опыт.

— Итак, открыт путь к подъему научных знаний, путь, о котором мы не могли и мечтать в прежние годы. Что же я могу отдать теперь на служение общему делу? Свой труд старика. Однако этот труд пытается осветить целую область неведомого, и в эту область неизбежно должны прийти новые, молодые силы.

Все стали аплодировать, а Митя с Курочкиным подхватили Павла Петровича и хотели качать. Но Агния Петровна не позволила и сказала, что ему «вообще на сегодня хватит!»

Все говорили о гимназии, когда, проводив Павла Петровича, я вернулась в столовую, и Рубин, который снял куртку (оказалось, что у него на ремне висит маленькая плотная кобура с револьвером), утверждал, что гимназия была хороша своей дисциплиной.

— А «Премудрость» еще висит в рекреационном зале? — спросил он. — «В войнах и тишине храня премудры средства, копьем врагов разит, своих хранит от бедства».

И он объявил, что «Премудрость» — это была картина, изображавшая богиню Минерву, поражающую копьем дракона. А под картиной были стихи, которые он прочитал. Я все смотрела на Рубина и думала, что он удивительно изменился.

Впрочем, это только мелькнуло среди других мыслей, из которых самая главная была: «Не хочу я провожать Митю к Глашеньке. Что я за провожатая! Попросил бы Андрея. Не пойду, вот и все!»

Но это было уже невозможно.

Ничего не объясняя, Митя посмотрел на меня и вышел. Он посмотрел повелительно и вместе с тем умоляюще, как будто это было важнее всего на свете — бежать со всех ног к Глашеньке, которая, может быть, давным-давно и думать забыла о нем. Я шепнула Агаше, что скоро вернусь, и тоже вышла. Андрей с удивлением взглянул на меня.

ВСТРЕЧА

Ветер упал, чистая луна высоко стояла в морозном небе. Митя говорил без умолку. Я молчала, сердилась. Но иногда мне становилось смешно, потому что он то начинал неловко шутить со мной, как с маленькой (и тогда становилось видно, что он вообще не умеет обращаться с детьми), то переходил на неопределенно-взрослый тон — особенно когда я холодно ему отвечала.

Он шел быстро — шинель развевалась, большие уши шлема откидывались — и нисколько не замечал, что я едва поспеваю за ним.

— Где она служит? — вдруг спросил он. — Ах да, ты сказала, в школе для взрослых. А старики?

— То-есть родители? Они убежали.

— Как — убежали? Уехали?

— Да, уехали.

— Куда же?

— Не знаю... кажется, на Дальний Восток.

В Лопахине говорили, что Глашенькины родители уехали к белым, но я не стала передавать Мите подобные сплетни, тем более что это, возможно, была неправда.

Вообще это было странно, что я так хорошо знала все, что касалось Глашеньки Рыбаковой — можно было подумать, что ее судьба интересует меня. Но я сделала вид, что нисколько не интересуется, и нарочно сказала что-то насчет провинциальных сплетен.

Глашенька жила в последнем доме на Развяжской, а дальше начиналось Поле жертв революции, бывшее Стрелецкое, на котором стоял памятник лопахинцам, погибшим во время гражданской войны. Поле было снежное, голубое. Какой-то закутанный дяденька медленно-медленно шел через поле — должно быть, по целине. Тропинки были занесены давешней вьюгой.

— Танечка, лучше, если зайдете первая вы. Я подожду, да?

Было так светло, что я видела у Мити на щеке дрожащую жилку, как у Агнии Петровны, когда она волновалась. Я сама волновалась.

— Митя, очевидно, вы думаете, что мы хорошо знакомы? Между тем я не уверена даже, узнаем ли мы друг друга.

Я хотела сказать, что Глашенька едва ли узнает меня, но это показалось мне обидным, и я повернула таким образом, что я тоже могу ее не узнать.

— Тонечка!

— Простите, Митя, но мне пора домой.

— Подождите же хоть пять минут! Окна темные, наверно ее нет дома.

Как будто в моих руках было счастье его жизни — так горячо он стал убеждать меня, чтобы я подождала! Зачем я была ему нужна? Не понимаю. Если бы уж так была нужна, он мог бы, кажется, запомнить, как меня зовут, а не называть «Тонечка». Наконец я согласилась подождать пять минут — ровно! — и он мигом повернулся и, как буря, ворвался во двор.

В Лопяхине всегда ложились рано, а уж в те годы — особенно рано, и Глашенькины хозяева видели, должно быть, второй сон, когда Митя взбежал по заскрипевшим ступеням, оглушительно загредел чем-то в сенях, наверно ведрами, а потом чуть слышно постучал в двери.

Очевидно, его спросили: «Кто там?», потому что он ответил:

— Извините. Могу я видеть Глафиру Сергеевну?

Тогда спросили: «Вы кто?» или что-нибудь в этом роде, и он ответил:

— Старый знакомый Глафиры Сергеевны.

Желтый огонек вспыхнул и погас за мутным, замерзшим стеклом. Снова вспыхнул — зажгли свечу. Я волновалась. Дома ли Глашенька? Да мне-то что за дело?

Глашеньки не было дома, и Мите наконец сообщили об этом, так и не открыв дверей, хотя свеча ходила туда и сюда — должно быть, хозяева колебались, открыть или нет. Митя с громом скатился с крыльца, хлопнул калиткой и мрачно сказал мне:

— Пошли.

Еще прежде я заметила, что дяденька, который давеча шел через поле, вовсе не дяденька, а женщина, и эта женщина направляется прямо ко мне или к дому, подле которого я тогда стояла одна. Потом я забыла о ней, а теперь снова вспомнила, потому что Митя, вылетев из калитки, вдруг остановился и стал смотреть на эту женщину, которая была еще довольно далеко. Не знаю, кто прежде догадался, что это Глашень-

ка, — кажется я, потому что сразу же взглянула на Митю, а у него еще было мрачное лицо с недовольно поднятыми бровями. Но вот узнал и он! Боже мой! Он сделал шаг и замер. Мне показалось, что я слышу, как бьется его сердце. Он стоял в распахнутой шинели, стремительный, бледный, вдруг растерявшийся, вдруг похудевший.

А Глашенька-то! Она и думать не думала, кто ждет ее с таким волнением. Она шла медленно и думала, без сомнения, о чем-нибудь самом обыкновенном. Заметив нас, она пошла еще медленнее — должно быть, незнакомые люди подле дома испугали ее.

Это было так долго — она шла, а мы стояли и ждали, — что мне стало казаться, как будто не только мы, а весь город, притаившийся под снегом, в котором бесшумно пропадали шаги, ждет ее и волнуется: как они встретятся, что сейчас будет?

— Глашенька!

Она остановилась, вздрогнула, и первое движение, первое чувство было — бежать! Но она еще не верила и, кажется, только поэтому не трогалась с места.

— Глашенька, ты не узнала меня?

Таким полным, сильным голосом она крикнула: «Митя!», так рванулась к нему, с такой тоской, с таким трепетом протянула руки, что я сама, чтобы не заплакать, поскорее крепко закрыла глаза... Почудилось ли мне, что она хочет стать перед ним на колени? Не знаю. Митя подхватил ее.

Ух, как я пустилась бежать! Со всех ног, даже сердце зашло и закололо в боку, и пришлось немного постоять на углу Карла Либкнехта и Развяжской. Пусто было в городе, пусто и светло от луны; низенькие дома стояли под крышами из толстого снега, и все было так, как будто ничего не случилось. Люди спали в домах, не зная, как загадочно, необыкновенно любовь! Никогда, никогда я не буду любить! Я пролетела улицу Карла Либкнехта, потом Вечевую площадь и свернула на Ольгинский мост. Часовой в огромной бараньей шубе с удивлением посмотрел на меня. Слушайте, все люди, мужчины и женщины, те, которые узнали, что на свете бывает любовь, и те, кто поверил этому и кто не поверил, и те, кто в эту ночь, в этот час не знают, что делать со своею душой: никогда, никого я не буду любить! Слушайте, те, которые в семнадцать лет идут по городу ночью и видят свет луны, волшебный изменяющий мир: никогда, никогда я не буду любить!

Я шла очень быстро и разговаривала с собой, горько каялась, что вчера кокетничала с Володей Лукашевичем из выпускного класса, и клялась, что этого больше не будет, и, лишь перейдя Ольгинский мост, вспомнила, что уже скоро два года,

как мы переехали из посада в город. Мне стало эмешно — так забыться из-за какой-то любви!

Очень медленно, чтобы успокоиться, я сказала вслух:

— Любовь есть ничтожный эпизод в истории органической жизни Земли.

И побежала домой.

ДРУЗЬЯ

Что-то изменилось с приходом Мити, как изменялось всегда — и в прежние, далекие времена. Но теперь это была другая перемена — без сомнения, потому, что он сам стал совершенно другим. Теперь это был взрослый человек, военный врач, вернувшийся на родину, в прекрасном кожаном костюме, который подарил ему командующий дивизией за мужественную посадку раненых под жестоким обстрелом. Теперь это было так, как будто вихрь, о котором говорил старый доктор, вновь ворвался в Лопяхин и стал носиться по тихим улицам в длинной кавалерийской шинели.

Митя приехал не один, а с Рубиным, который служил в Реввоенсовете Первой Конной, а теперь был назначен директором лопяхинского кожевенного завода, с Курочкиным, о котором Андрей сказал, что этот доктор командовал полком и участвовал в штурме Перекопа. Узкая горная дорога почему-то представлялась мне, когда я слышала эти слова — «Реввоенсовет», «Перекоп». Чуть позвякивая шпорами, оружием, молчаливые конники едут по этой дороге — едут, переговариваются не спеша — и ни слова о том, что поперек дороги легли, скрешиваясь, черные, грозящие гибелью тени...

Разумеется, это можно объяснить простым совпадением, но никогда еще в нашей школе не было так много принципиальных объяснений, разговоров, неожиданных ссор — словом, всего, что нарушает равномерное течение жизни, как в эти дни, после приезда Мити. Мы уговорили его выступить в «Клубе старой и молодой гвардии» с докладом о нэпе, и он прекрасно объяснил, что такое нэп и почему он необходим на данном этапе. Правда, иногда Митя немного хвастал, без всякого повода упоминая о своем участии в гражданской войне, но все-таки его рассказами можно было заслушаться, и все заслушивались, особенно я.

После его лекции мы долго спорили о том, как должен себя вести новый активист в условиях нэпа. Мы считали себя новыми активистами, поскольку наш центральный журнал «Юный пролетарий» утверждал, что старый активист становится исторической личностью, принадлежащей к временам гражданской войны.

Мы — это были Андрей, Гурий Попов, Володя Лукашевич, Нина Башмакова и я.

Случалось ли вам видеть групповые портреты, которые пишутся, когда художник стремится изобразить несколько человек, объединенных общей профессией или общим стремлением к цели? Вот такой портрет нашей компании я вижу удивительно ясно, и не только фигуры и лица, с их разнообразным выражением молодой мысли и молодых, искренних чувств, но и фон — высокий берег Пустыньки, с которого далеко открывалась наша Тесьма, освещенная первыми лучами солнца, только что скользнувшими где-то высоко, а теперь опустившимися прямо на нас. Та почная прогулка и раннее утро на Пустыньке навсегда запомнились мне. Но я забегаю вперед...

Андрей — вот кто был главным в нашей компании, в особенности если вспомнить, что больше всего мы интересовались в те годы «познанием природы вещей». Он первый объявил, что в основе всех вопросов должно лежать революционное мировоззрение, основанное на результатах, добытых наукой, и первым из нашей компании вступил в комсомол. Мы знали политграмоту наизусть, особенно Нина, но он говорил, что это только начало, что нужно знать «Государство и революцию» Ленина, и я помню, как, составляя длинные списки незнакомых слов, мы целый год читали эту книгу. Он выступил в школе с докладом «Происхождение жизни на Земле» и объяснил, почему в данном вопросе правы материалисты.

Но изменился ли он в глубине души? Да, может быть. Он стал живее, подвижнее. Но попрежнему он не смотрел, а всматривался, как будто видел совсем другое, чем мы, своими серыми серьезными глазами. Попрежнему он много говорил о Мите, занимавшем его несколько не меньше, чем прежде, и попрежнему за его беспристрастием чувствовалось, что он не просто любит, но обожает брата. Словом, это был прежний Андрей, даром что он стал теперь плотным, крепкого сложения молодым человеком, неповоротливым, но сильным, и к этой силе забавно примешивалась доброта, которую он как бы скрывал и сердился, когда она открывалась.

Итак, революционное мировоззрение в теории и на практике — вот что волновало нас больше всего. Соответствует ли мировоззрению то, что я живу с мамой, которая заведует пошивочной мастерской Церабкоопа, а не зарабатываю сама, хотя и могла бы, поскольку мне уже шел восемнадцатый год? На практике, то-есть в жизни, я обходила этот вопрос. Но в глубине души он все-таки беспокоил меня, между прочим еще и потому, что отчасти перекликался с вопросом о том, как должен вести себя активист в условиях нэпа.

Наоборот, Нину Башмакову — это была моя лучшая по-

друга — нисколько не волновал подобный вопрос. Она считала, что нэп даже полезен для мировоззрения, поскольку он является испытанием — и, возможно, самым легким из тех, которые нам еще предстоят. Вообще Нина была принципиальнее, чем я. Меня она ругала за гордость, за сдержанность, за скрытое кокетство — она считала, что я скрываю кокетство, — и главным образом за «розовые очки», то-есть необоснованный оптимизм. Таким образом, у меня было много поводов для угрызений совести, а у нее только один: ее мучило, что она никак не могла понять, есть ли уже у нее мировоззрение или еще нет, и когда наступает минута, после которой человек может определенно сказать, что у него «сложились самостоятельные взгляды на мир».

Андрей велел ей прочитать книгу «Мировые загадки», но только я одна знала, что это чтение остановилось на словах: «Итак, приступая к предмету...»

Гурий Попов — вот о ком можно было без всякой иронии сказать, что у него сложились самостоятельные взгляды на мир.

Это был черный, вспыльчивый, похожий на негра юноша, без которого в Лопяхине не обходилось ни одно общественное дело. Он был в ЧОНе (часть особого назначения), когда белые подходили к Лопяхину, несмотря на то что ему тогда едва исполнилось четырнадцать лет.

Вместе с Андреем он постоянно твердил, что мы не должны заниматься одной только культмассовой работой, а принимать участие в воскресниках, в практических кампаниях, например по ликвидации неграмотности, по улучшению быта подростков и так далее. В Доме культуры он организовал комсомольский клуб, в котором мы часто встречались с комсомольцами кожзавода. На кожзаводе была большая организация, не чета нашей, и один из комсомольцев — Шура Власов — даже был членом заводоуправления.

Среди моих дневников и писем тех лет сохранился листок из записной книжки Гурия. Может быть, этот листок нарисует его лучше, чем я:

«В понедельник собрание юнкоров, вопрос о «живой газете».

Мы знаем только то, что ничего не знаем. Выяснить — не идеализм ли это?

Три рубля взял у Бодрягина до 17/VIII.

Подготовиться к МЮДу.

В стихах избегать глаголов.

Наблюдение. Девочки не переносят, когда мы: а) играем в шахматы, б) спорим на философские темы.

Помни массовую прогулку за город 23/VIII.

«Велика сила упорного извращения истины, но история

науки показывает, что, к счастью, действие этой силы непродолжительно» — Дарвин.

Заготовка дров 14/IX...»

Интересно, что энергичная деятельность Гурия не мешала ему по крайней мере раз в месяц безнадежно влюбляться, и тогда мы начинали хлопотать, чтобы он поскорее сказал где-нибудь речь. Нина первая заметила, что после речей ему становилось легче.

* * *

Замечали ли вы, что в каждом групповом портрете кто-нибудь стоит в стороне, как бы прислушиваясь к тому, чем глубоко заняты другие? Его смутную фигуру лишь с трудом можно отличить от фона, на котором написан портрет. Таков был Володя Лукашевич, о котором Гурий как-то с досадой сказал, что если Володю посадить в землю, то через неделю пробьются зеленые веточки, а еще через две — на веточках появятся почки. Но это вовсе не значило, что Володя был деревянный, как бывают люди с какой-то деревянной душой. Он действительно был близок к природе — быть может, тем, что в нем никогда не чувствовалось ни малейшего напряжения, и он почему-то был нужен всем, а сам неизменно оставался в тени. Володя был русский, высокий, с ровным румянцем, вечно гудевший басовые партии. Он играл в школьном оркестре на геликоне — так называется очень большая труба.

В журнале «Юный пролетарий» он больше всего любил читать отдел: «Комсомол — шеф Красного флота». С детских лет Володя решил стать моряком.

И вот эта чудная компания, эти друзья, которые то и дело строили планы, каким образом мне перешагнуть через класс, чтобы вместе с ними поступить в институт, объявили, что они больше не желают знать меня и встречаться со мной.

ГОЛОСУЮ ПРОТИВ

Эта история началась с того, что в нашей школе освободилось место преподавателя географии и Глашенька Рыбакова подала заявление о том, что из школы для взрослых она хочет перейти в нашу школу.

Это было еще до приезда Мити, и тогда ее желание не встретило ни малейших возражений, тем более что педагоги получали сравнительно небольшой паек. Вот почему мы были поражены, когда Нина Башмакова, которая жила в одной квартире с француженкой, очень взволнованная, прибежала ко мне и объявила, что на школьном совете Глашеньку ре-

шено провалить. Никто до сих пор не интересовался Глашенькой в нашей компании. Но провалить ее — это было несправедливо! И Гурий предложил выступить в ее защиту на школьном совете.

Нужно отдать ему справедливость — в его плане действий был виден «самостоятельный взгляд на мир». Прежде всего он предложил «изготовить мандаты». Володя Лукашевич, Гурий и я были представителями учкома в школьном совете — и до тех пор никому не приходило в голову проверять наши мандаты. Но Гурий сказал — и Ниночка помчалась и достала четыре листа великолепной бумаги, три для нас, а четвертый — для председателя домового комитета.

Это была вторая задача: привести на школьный совет председателя домового комитета. По какому-то закону, о котором мы впервые узнали от Гурия, право решающего голоса имел еще председатель домового комитета. Наша школа помещалась в бывшей прогимназии Кржевской, но во время революции Отнаобраз несколько классов почему-то отдал под квартиры, и в школьном здании образовался домовый комитет.

Председателем его был тот самый горбатый чиновник, который некогда приходил в гости к Агаше. Теперь он служил в продовольственном отделе. С моей точки зрения, его не следовало приглашать, потому что он был неприятный тип, ко всему на свете относившийся с необъяснимым злорадством. Но Гурий возразил, что вопрос — принципиальный и что математик Шахунянц, например, тоже является неприятной личностью, однако это обстоятельство, к сожалению, не лишает его права подать свой голос против Глашеньки на школьном совете. И Гурий быстро сбегал к бывшему чиновнику и, вернувшись, сказал, что тот согласился прийти.

Это очень трудно — хотя бы в самых общих чертах нарисовать заседание совета Лопахинской единой трудовой школы II ступени в 1922 году. Еще труднее поверить, например, тому, что школьные занятия казались нам каким-то придатком ко всякого рода кампаниям, заседаниям, вечерам, к работе комсомольской ячейки — словом, ко всему, что составляло главное содержание нашей жизни.

Заседание совета, на котором решалась судьба Глашеньки Рыбаковой, происходило в швейцарской — самое теплое место в школе, — и, помнится, перед Глашенькиным вопросом был другой: «дрова».

Дрова — это был важный вопрос. У Лопахина с осени стояли баржи с дровами, и Гортоп предлагал за выгрузку одной сажени четыре фунта хлеба, фунт рыбы и сто миллионов дензнаками 1921 года. Француженка взяла слово и объявила, что она с ее больным сердцем не в силах выгрузить даже один

грамм. В ответ выступил Гурий и разъяснил, что выгрузка дров является общепролетарским делом и, следовательно, единая трудовая школа не имеет права от него уклоняться.

У нас был почтенный, седовласый «зав» с большой бородой, умевший все объяснить и всех примирить. Он сказал, что Гурий и француженка одинаково правы. Но школа затребует деньги и рыбу вперед, и тогда на полученное вознаграждение можно будет нанять людей, которые исполняют работу.

Бывший чиновник пришел, когда прения по поводу Глашеньки были в полном разгаре. Он приоделся и выглядел очень прилично в высокой котиковой шапке и пальто с бобриковым воротником.

«Зав» посмотрел на него вопросительно, очевидно подумав, что чиновник пришел по ошибке. Но тот сел как ни в чем не бывало, злорадно откашлялся и зачем-то положил на стол свой мандат.

Это была неприятная минута; педагоги взяли мандат и стали его рассматривать, передавая из рук в руки. Француженка иронически-злобно засмеялась. Нужно было спасти положение, и Гурий опять сказал речь — на этот раз неудачную, но не по содержанию, а потому что почувствовалось, что он стремится исправить неловкость этого неприятного типа, которого — я была права — безусловно незачем было приглашать на совет.

— Я считаю, что подобное заявление, поступившее от Глафиры Сергеевны Рыбаковой, знающей два языка, — сказал Гурий, — является честью для нашей школы.

Я видела, что француженка просто кипит, — мне даже казалось, что от нее идет пар и слышно бульканье и шипенье. Гурий кончил. Француженка взяла слово. Она поблагодарила Глашеньку за «неслыханную честь». Относительно двух языков она сказала, что от души рада за товарища Рыбакову, хотя и не видит прямой связи между знанием иностранных языков и географией родной страны. Тут она сделала подлый намек на Глашеньку, назвав ее «особой», и хотя вообще в этом слове не было ничего особенного, но в данном случае оно прозвучало подло.

Мне кажется, именно в эту минуту у меня наступило то странное состояние духа, которое я даже не знаю, как объяснить, и которое еще и теперь иногда бывает у меня, но с каждым годом все реже: как будто время останавливается и все вокруг себя я начинаю видеть в новом, неожиданном свете. Барышня в беленьком полушубке явилась предо мной, как наяву, румяная, нежно-хрупкая, с большими глазами. Она стояла на дворе у Львовых и вытряхивала из рукавички записку. Митя выбежал к ней, взволнованный, без шинели. Он гордо вел

ее, она шла, улыбаясь, и они были полны той любви, перед которой у меня занялось дыхание.

И другая Глашенька вспомнилась мне — та, которая зимним вечером явилась в наш дом вместе с холодом и звонким побрякиванием упряжи на разлетевшейся тройке. Забившись в угол, я смотрела, смотрела на тонкие руки, сжимавшие голову, на волосы, рассыпавшиеся по рукам, на мрачное лицо с широко открытыми глазами. «Поздно, — вот что говорило это лицо. — Теперь у меня перед глазами заблестело золото, засверкали бриллианты»...

— Удовлетворим ли мы просьбу Глафиры Сергеевны Рыбаковой? — услышала я как во сне. — Кто «за» — поднимите руки.

«За» был Гурий, один из учителей, бывший чиновник и Володя. У француженки стало торжествующее выражение лица, и все уставились на меня, потому что я не подняла руку. Это было ужасно. Рука висела и была очень тяжелая, и, наверно, я сошла с ума, потому что мне одновременно и хотелось поднять ее и не хотелось.

Володя вскочил, хотел подойти ко мне, но Гурий удержал его и только посмотрел на меня долгим презрительно-укоряющим взглядом. И через минуту все кончилось: Глашенька провалилась.

«Зав», который, между прочим, воздержался, объявил об этом с сожалением.

— Сомневаясь, приходим к истине, — сказал он. — Ходатайство отклонено.

Когда мы выходили из школы, Гурий догнал меня:

— Одну минуту.

Я обернулась. От волнения у меня задрожало лицо, но я сразу же справилась и даже гордо откинула голову, как будто мне было глубоко безразлично то, что я услышу сейчас. Если бы безразлично!

— Вот что, — холодным от бешенства голосом сказал Гурий: — ты поступила подло, и я больше не желаю знаться с тобой.

ДУМАЮ

Это было очень странно, но ничто не переменялось в нашей комнате, несмотря на то что я совершила подлость, причем общественную, а не личную, поскольку я была обязана предупредить ребят, что голосую против.

Кошка сладко спала в кресле — ей было все равно, что Гурий не желает больше знаться со мной. Часы за стеной у Марии Петровны захрипели, долго собирались пробить и не

пробили, успокоились — так было вчера и третьего дня. Уходя, мама оставила на столе картошку и нож, чтобы я не ленилась, почистила — она не любила картошку в мундире. Все, как было! Что же случилось со мной? Я шагала по комнате и думала, думала...

Допустим, что мне не нравится Глашенька — недаром же, встречая ее, я каждый раз перехожу на другую сторону, хотя она все равно не узнает меня. Но если даже я ее ненавижу, разве в данном случае я имела право действовать согласно личному чувству? И если уж действовать, разве не обязана была я рассказать о своем чувстве ребятам, то-есть вынести его на общественный суд?

Да, я подлец, и Гурий правильно поступил по отношению ко мне. Но в том, что я сделала, была еще одна сторона, и, вдумываясь в нее, я поразилась тому, насколько я не знаю себя. Значит, что же? Я способна принять решение и отказаться от него через час? У меня слабый характер? Мимолетное чувство может заставить меня направиться по одному пути, в то время как логика ведет по другому? Что же будет, в таком случае, с другими моими решениями, бесконечно более важными? Например, я решила, что буду врачом, а пройдет месяц или два, и мне придет в голову, что лучше поступить в какой-нибудь другой институт?

...День прошел, а я ничего не решила. День прошел, и даже Андрей не заглянул ко мне, а он-то, без сомнения, давно уже знает все от Гурия или от Нинки! День прошел — вот и мама ложится. Сейчас она погасит свет и уснет, и я снова останусь одна и снова буду думать — о чем? Я уткнулась в подушку и немного поплакала — тихонько, чтобы не слышала мама.

Где я читала, что усилием воли можно заставить себя уснуть? Я постаралась в душе сделать это усилие воли. Не знаю, помогло ли оно, но я стала засыпать — уже смутно слышала скрежет ключа в замочной скважине и грузные шаги Надежды Петровны по коридору. «Как хорошо, что кончился этот день!» — подумала я, а почему хорошо, уже не могла вспомнить, забыла.

И вдруг сон пропал. Поджав ноги, я села на постели и прислушалась. Но все было тихо вокруг, я снова легла, и тогда кто-то, не знаю сама, точно взял меня за руку и привел к домику, где жила Глашенька, на Развяжской. Темные окна отсвечивали под луной. По снежному голубому Полю жертв революции медленно шла Глашенька, и мы с Митей ждали и ждали ее. Как это было страшно, как стыдно, что она хотела стать перед ним на колени! Как томительно отозвался во мне этот крик, полный тоски и счастья и еще какого-то непо-

нятного чувства, от которого мне захотелось убежать куда глаза глядят, чтобы ни один человек на свете в ту минуту не увидел меня...

* * *

Всю ночь я ворочалась, читала, старалась уснуть, ела холодную картошку, долго стояла в одной рубашке у окна, за которым была ночь, и ночной снег, и ночное зимнее небо. Потом пришел день, очень грустный, потому что заболела мама.

С утра она еще храбрилась, даже задумала перетопить прогорклое масло и чуть не устроила пожар, пытаясь, вопреки законам физики, смешать масло с соленой водой. Но часам к двенадцати села на кровать, очень бледная, и сказала, чтобы я сбегала в швейную мастерскую предупредить, что сегодня она не придет. Я побежала, но сперва к доктору Беленькому, который всегда лечил маму, а потом в мастерскую.

Был прекрасный воскресный полдень, солнце сияло так, что на снег было больно смотреть, и уже весна чувствовалась в этом теплом сиянии, а я шла несчастная-пренесчастная и думала о том, что у меня странная душа, в которой не помещаются огорчения. Из моей души они всегда почему-то торчат, и все видят их хвостики и видят, как мне хочется, чтобы огорчения кончились поскорее. И я мысленно спрятала хвостики и сделала непроницаемое лицо — очень кстати, потому что в эту минуту из-за угла выскочила и вприпрыжку побежала ко мне навстречу Леночка Бутакова.

Я училась тогда во втором классе второй ступени, а вся наша компания — в третьем. Леночка тоже училась в третьем, но она была еще такая маленькая, что играла в куклы и читала «Голубую цаплю», о которой сказала мне однажды, что это самая хорошая книга на земле и она не понимает, как можно написать еще лучше. И вот эта Леночка, на которую мы смотрели, как на ребенка, подойдя ко мне, закинула голову и, не здороваясь, прошла мимо как ни в чем не бывало.

Правда, я успела равнодушно взглянуть на нее и даже как бы мимо нее — иногда это у меня получалось. Но боже мой! Что случилось с моим сердцем в это мгновение! Как мячик, оно прыгнуло вверх, и мне пришлось долго глубоко втягивать воздух, пока оно не вернулось на место.

Все ясно! Не только Гурий — весь третий класс презирает меня. Скоро я не смогу показаться не только в школе, но просто на улице, если от меня осмелилась публично отвернуться даже эта маленькая Леночка Бутакова.

От волнения я пролетела мимо Власьевской, на которой жил доктор Беленький, и вернулась, стараясь издали рассмотреть — не идет ли еще кто-нибудь из третьего или нашего

класса. У доктора был маленький сын, и когда он открыл мне дверь, несколько мгновений я стояла молча, как дура, точно этот мальчик лет десяти, весь в чернилах, тоже мог показать, что он презирает меня. Но мальчик только втянул носом воздух и сказал, что папы нет дома.

Одним духом пролетела я Власьевскую — на этой улице была городская библиотека. Не глядя ни на кого, пробралась я через толпу мальчишек и девчонок, стоявших в очереди у кино. Расстроенная, взволнованная, забежала я в швейную мастерскую и сказала, что мама больна, и вышла черным ходом, чтобы попасть не на улицу Карла Либкнехта, а на Овражки.

Солнце зашло, деревья на Овражках стояли некрасивые, черно-голые, снег потускнел и лежал не блестя. Вот такая же потускневшая, скучная я вернулась домой и на лестнице дождала Андрея.

Он принес новый номер «Юного пролетария», в котором была интересная статья об эксплуатации рабочей молодежи частным капиталом, и не менее получаса мы говорили об этой статье — как будто ничего не случилось. Потом Андрей осторожно сказал, что вчера Гурий просидел у него целый день. Они спорили. Я спросила: «О чем?» — он ответил:

— Об антропоцентризме.

Я тогда не знала, что это идеалистическая теория, согласно которой человек считает себя центром вселенной, и не поняла, какое отношение имеет антропоцентризм ко мне. Но на всякий случай я сказала иронически:

— Вот как!

Мама охала и кряхтела за ширмой, и Андрей сказал, что он попросит Митю зайти, чтобы посмотреть ее. Я поблагодарила.

— Итак, что ты думаешь об этой истории?

— Я думаю, — серьезно сказал Андрей, — что Гурий принципиально неправ. Другое дело, если бы учком согласовал свою точку зрения с ячейкой. Послушай, а ведь я понял, почему ты голосовала против.

Мама закряхтела как раз в ту минуту, когда я собиралась сказать Андрею, что он понял то, чего я не понимаю сама.

— Из-за Америго Веспуччи, — сказал Андрей. — И я считаю, что с этой точки зрения ты была совершенно права.

Америго Веспуччи? Я едва успела принять значительное выражение лица.

— Да, ты права, — повторил Андрей: — преподавательница географии обязана знать подобные вещи.

Я сказала:

— Вот именно.

— Но останется неясным, почему ты не предупредила ребят. Я объяснил это так: ты забыла об этом, а на заседании вспомнила. Спыхватилась, но поздно, а пойти против совести не могла.

В конце концов мне удалось выудить у него историю с Америго Веспуччи. Оказалось, что в школе для взрослых один из слушателей спросил Глашеньку, кто открыл Америку, и она сказала, что Америго Веспуччи, а то, что это была именно Америка, а не Индия, доказал Колумб. Конечно, это было просто смешно, что с подобными знаниями Глашенька хотела преподавать географию в семилетке, которая дает право на поступление в вуз. Если бы я раньше знала об этом факте — кто же может сомневаться, что я голосовала бы против? Все прекрасно возвращалось на свое место, и когда мы с Андреем прощались, мне уже казалось, что нет на свете девушки честнее и благороднее, чем я.

РАЗГОВОР С ГЛАШЕНЬКОЙ

Мы вышли вместе, потому что мама просила меня зайти в аптеку, и в очереди, а потом возвращаясь домой, я все думала о том, насколько серьезнее Андрей относится к жизни — безусловно искреннее и серьезнее, чем я! Он правдивый и внутренне отвечает перед собой, а я, очевидно, не отвечаю, иначе не схватилась бы за этого Америго, в то время как в глубине души...

Но я не успела на этот раз заглянуть в глубину души, потому что, войдя в переднюю, услышала голоса и мигом поняла, что у нас Глашенька и Митя.

Это было странно, что он пришел с Глашенькой, и я только потом догадалась, что просто он повсюду ходил с нею — вот так же явился и к нам. Они только что сняли пальто и здоровались с мамой — оба молодые, красивые, румяные, точно умывшиеся снегом, — кажется, в целом мире невозможно было подобрать лучшую пару.

Я не помню, чтобы прежде Митя был так весел, так разговорчив, так любезен — можно было подумать, что ему немедленно нужно завоевать уважение и даже восхищение мамы.

Он сделал вид — это было особенно мило, — что пришел не для того, чтобы посмотреть маму, а просто в гости. Каждую минуту он называл ее по имени-отчеству, а меня — Танечка, причем не ошибся ни разу. Мама спросила его — надолго ли он в Лопахин, и он отвечал, что пробудет еще недели две, а потом поедет в Москву, потому что на фронте сделал одну работу по сыпному тифу и его пригласили в научно-ис-

следовательский институт. На этот раз он несколько не хвастался. Очень весело он рассказал, как на какой-то станции попал в плен и ему удалось не только самому убежать — это было нетрудно, — но и перегнать на нашу сторону белый санпоезд.

— Правда, пришлось по-дружески поговорить с начальником поезда, — сказал он и живо обернулся ко мне. — Та-нечка, вы не играете в шахматы? Так вот — он оказался в цейтноте. Я показал ему револьвер, он немного подумал и согласился, что проиграл...

Но не для нас с мамой была эта вежливость, и стремление очаровать, и веселая энергия, с которой он рассказывал о своих приключениях, а для той, которая молча сидела за столом и, как кукла, поворачивала большие глаза то к маме, то к Мите. Точно что-то хрупкое, построенное, похожее на карточный домик было у нее в душе, и она старалась не очень шевелиться, боясь, как бы не упал этот домик. Я смотрела на Глашеньку и сердилась, но не на нее, а на себя за то, что мне было не все равно, какая она и почему не смеется, а лишь едва улыбается в ответ на Митины шутки.

Между тем Митя очень ловко перевел разговор на медицину, рассказал о том, как, занимаясь сыпным тифом, он сам захворал и чуть не умер, и, когда мама стала жаловаться на свои болезни, вдруг сказал весело:

— Да, кажется, у меня стетоскоп с собой!

И вытащил из кармана пальто стетоскоп.

Вот когда я пожалела, что Андрей не предупредил меня, что Митя зайдет, чтобы послушать маму! У нее действительно часто болело сердце, но я была уверена, что это нервная болезнь, связанная с ее увлечениями, о которых я, разумеется, не могла рассказать Мите при маме. Например, в 20-м году, когда мы только что переехали на Михайловскую и в доме не было ничего, кроме сушеных овощей (так что мне приходилось каждый день класть в кастрюлю одинаковое количество палочек моркови, свеклы и репы), мама вдруг увлеклась кино.

Сперва все было хорошо, может быть потому, что шли картины из иностранной жизни и мама оставалась равнодушной к страданиям чуждых ей «королев полусвета». Но потом содержатель кино нашел где-то в самом Лопакхине много русских картин с участием Мозжухина и Веры Холодной — и мама так увлеклась, что ни о чем больше не могла ни думать, ни говорить. Каждый вечер, возвращаясь из кино, она приглашала Марию Петровну и Надежду Петровну и, помолодевшая, повеселевшая, с воодушевлением рассказывала очередную фильму — тогда говорили не фильм, а фильма. Особенно

сильные сцены она изображала в лицах и однажды чуть не выбросилась через окно, играя Лисенко в «Не подходите к ней с расспросами...» — это была знаменитая фильма.

Но вот кончилось это увлечение, и в несколько дней мама так изменилась, что ее стало трудно узнать...

Это повторилось совсем недавно, когда мама вдруг затосковала по Петрограду, по Нарвской заставе, вообще по тем годам, когда она работала у мадам Бризак за восемь с половиной в месяц. Я стала доказывать, что это политическая незрелость, но она ответила: «Ах, Танечка, ты не понимаешь, я была тогда молода!»

Скучная, усталая, она бродила по комнате и жаловалась на сердце. Какой-то врач велел ей прикладывать к сердцу блин из белой глины, и каждый день она прикладывала этот блин, но сердце не проходило.

Вот о чем мне непременно нужно было рассказать Мите! Но было уже поздно, потому что он сказал весело:

— А теперь я послушаю Наталью Тихоновну, а этих девушек мы попросим исчезнуть, как дым.

Он ласково взглянул на Глашеньку и прибавил извиняющимся голосом:

— На десять минут.

* * *

Десять минут! Еще из передней, услышав Глашенькин голос, я решила, что даже если мне придется умереть, все равно я попрошу у нее прощенья и расскажу обо всем. Но я не знала, что у меня каждую минуту будет останавливаться от волнения сердце — от волнения и непонятного чувства, казавшегося мне ненавистью к Глашеньке — к Глашеньке, которая была невиновна ни в чем!

Словом, в ту минуту, когда мы вышли в переднюю и Глашенька, небрежно оглянувшись, уселась на сундук, еще недавно принадлежавший прокурору судебной палаты, я почувствовала, что мне гораздо легче проглотить язык, чем произнести хоть слово.

— Глафира Сергеевна, — помолчав, пробормотала я сдавленным голосом, — я хотела сказать, что это я провалила вас на школьном совете. Я голосовала против вас, и как раз одного голоса не хватило.

Мне было бы легче, если бы она удивилась. Если бы хоть спросила меня — почему? Но она молчала, и только в глазах мелькнуло и скрылось осторожное мрачное чувство.

— Возможно, что это было подлостью, — продолжала я с отчаянием, — но мне сказали, что в школе для взрослых вас

спросили, кто открыл Америку, и вы ответили — Америго Веспуччи.

Глашенька засмеялась.

— И правда, я что-то напутала, — сказала она, — но это было давно, в прошлом году. А что? Разве мое заявление обсуждалось на школьном совете?

Боже мой! Она ничего не знала! Перед собственной совестью я призналась, что лучшие друзья были правы, считая меня подлецом. Я не могла понять, что со мной, и наконец решила, что большего несчастья у меня не было в жизни. А та, из-за которой началась эта мука, поднялась эта буря, даже не знала, что ее заявление обсуждалось на школьном совете! Это было просто смешно, и я бы от души рассмеялась, если бы мне не захотелось заплакать.

— Вот хорошо, — сказала я очень спокойно. — А мы-то волнуемся! Значит, для вас это все не имеет никакого значения?

Глашенька закинула руки, зажмурилась, потянулась.

— На той неделе уезжаем в Москву, — сказала она. — Ох, как я рада, передать не могу! Надоел этот Лопахин противный, повернуться нельзя — сплетни на каждом шагу...

Я немного проводила Глашеньку и Митю и по дороге рассказала им о маминых увлечениях. Митя сказал, что это не беда, пускай увлекается, но сердце все-таки очень болезненное. Неясно, отчего эти припадки, вроде сегодняшнего, — может быть, от повышенного кровяного давления? Нужно пойти в больницу и прежде всего измерить кровяное давление.

Я вернулась и стала пугать маму. Но она возразила, что у нее вообще нет и не было кровяного давления и что когда придет Мария Петровна, она попросит ее поставить банки.

ДЕБЮТ

В «Юном пролетарии» появилась статья «Член РКСМ не имеет права съесть кусок хлеба, если часть его не отдал голодающим». Мы обсудили ее, и Гурий предложил поставить спектакль в пользу Помгола. До сих пор мы устраивали только сборы, которые давали не много.

В Лопахине не было театра, и приезжие актеры выступали в бывшем клубе Дворянского собрания, где теперь помещался Дом культуры. Но в двадцатом году к нам пришел пароход-театр «Красный волгарь». Тесьма была мелка для него, приходилось далеко идти по мосткам над водой, и мне запомнились эти дрожащие, прогибающиеся мостки, которые

вели — трудно поверить! — в самый настоящий московский театр.

Спектакль «Коварство и любовь» был поставлен странно: занавеса не было, на полу лежало хорошее, почти новое сукно, и мне было жалко, что по нему ходили... Но все равно! В каком-то оцепенении смотрела я на сцену. Нина толкала меня, Гурий шопотом восторгался, уверяя, что такой постановки не увидишь даже в Москве, а я сидела неподвижная, похолодевшая. Несколько раз я встретила взглядом с Володи Лукашевичем, и мне показалось, что он волнуется так же, как я.

Грузчики — большинство зрителей были грузчики — заволновались, стали шуметь и стучать ногами, когда президент приказал арестовать Луизу. Лишь тогда я очнулась от этого заколдованного сна.

Разумеется, мы не могли рассчитывать на подобную постановку — со сложной бутафорией и тонкой психологической игрой. Театральный кружок, который мы с Ниной организовали в школе, никак не налаживался по разным причинам, причем самой важной из них была, по-моему, та, что все хотели играть главные роли. Но на этот раз мы дали слово бесприкословно слушаться Гурия как режиссера — это был выход из положения если не для нас, то для него, потому что он предложил нам поставить свою пьесу.

В пьесе главную роль должна была играть я, и, мне кажется, именно это незаметное на первый взгляд обстоятельство повлияло на суровую оценку моего поведения на школьном совете. Впрочем, когда в городе узнали, что Глашенька едет с Митей в Москву, наша ссора стала какой-то бесцветной, хотя оказалось, что вообще это даже интересно — выяснять отношения и объявлять друг другу бойкот.

Я сказала, что Гурий предложил поставить пьесу. Но фактически это была не пьеса, а киносценарий — вот в чем заключалась главная оригинальность его предложения!

Мы должны были играть молча, как в настоящем кино, то есть под музыку, а ведущий тем временем объяснял бы зрителям, что происходит на сцене. Ведущего играл, разумеется, Гурий. Это была самая большая роль, потому что объяснять приходилось много: на сцене происходили важные политические и военные события, которые очень трудно было изобразить при помощи одних только движений.

Но и у меня была интересная роль — женщины-героини Анны, которая остается в городе, занятом белыми, и выведывает их тайные планы, появляясь то в главном штабе, то у секретного телеграфа.

Конечно, мы не могли достать фанфар и другого реквизита; кроме того, многое в сценарии происходило при помощи каких-то театральных машин, о которых сам автор не имел никакого понятия. Но это не имело большого значения, поскольку Гурий доказал, что даже сам Шекспир, когда у него не было денег на декорации, выходил на сцену и говорил: «Лес» — если нужно было, чтобы зрители увидели лес, или: «Буря» — если по ходу пьесы происходила буря.

Весь апрель я разучивала свою чудную роль. Тогда у меня еще не было книги «Великие актеры и актрисы», и мне приходилось самой догадываться, какими движениями выражаются гордость, готовность к борьбе, надежда, угроза и так далее. Каждое утро, не произнося ни слова, я перед зеркалом «репетировала лицо», то-есть принимала разные выражения, соответствующие тем или другим местам моей роли. По мнению Гурия, это был лучший способ придать лицу артистическую «эластичность». Не знаю, удавалась ли мне эластичность, но мама всякий раз с ужасом смотрела на меня и говорила: «Свят, свят!»

Накануне премьеры Гурий объявил, что нужно «бросить все и уйти в себя с целью сосредоточиться на внутренней проверке своей готовности к роли». Для некоторых актеров, например для Нины, это оказалось нелегко, потому что она никак не могла определить, ушла ли она уже в себя или нет.

А для меня — легко. Бледная, похудевшая, я бродила по городу, и мне становилось то холодно, то жарко, то как-то торжественно — особенно когда я представляла себе почти бездыханную Анну, лежащую на холме среди дыма курящейся земли, в то время как в глубине сцены проходят радостные войска в парадных мундирах. Она погибает, свершая свой долг. Перед смертью она обращается к врагам со следующей речью: «Злодеи! Напрасно вы поднимаете руки к небу, которое отказалось от вас. Вы первые бросили нам вызов! Но знайте же, что когда вы расстреливали невинных, я была среди них».

Увы! Лишь в моем воображении Анна произносила эту пылкую речь. По ходу действия она должна была молча лежать на холме, в то время как ведущий объяснял зрителям (в самых общих чертах), о чем она думает умирая.

В общем, это был интересный опыт, который безусловно удался, поскольку в публике он имел шумный успех. Правда, это был несколько другой успех, чем мы ожидали, потому что спектакль был задуман как трагический, а зрители почти все время смеялись. Но их нельзя за это винить, потому что автор сознательно пошел на искажение жизненной правды. Напри-

мер, ведущий не должен был говорить: «Появляется верхом на лошади молодая женщина, черты лица которой нам знакомы», в то время как молодая женщина (это была я) появлялась пешком. Понятно, что публика начинала кричать: «Где лошадь?», и так далее. Потом Гурий упрекал ребят в бедности воображения. Но, по-мосму, он был неправ. Мы живем не во времена Шекспира, и слова ведущего должны были хотя бы до некоторой степени совпадать с тем, что происходило на сцене.

Еще хуже вышло с занавесом. У нас не было занавеса, и Гурий утверждал, что это очень хорошо, потому что занавес давно устарел и на сцене его должна заменить абсолютная темнота. Но абсолютной темноты не получилось, и всякий раз, когда гасили свет, становились видны ребята из младших классов, сидевшие между кулисами на полу и кричавшие то громко, то тихо, чтобы получилось впечатление, что они то наступают, то отступают.

Но все это были мелочи, а главное — то, что мы играли, первые в жизни играли на сцене!

Я выходила, и таинственный, темный зал начинал следить за каждым моим движением. Я была уже не я в этом новом, страшном мире освещенной сцены. Все дрожало во мне, и ни до чего нельзя было дотронуться, потому что все вокруг было такое же горячее и дрожащее, как я.

Наконец кончилось это счастье, это мученье! В зале захлопали, взволнованный, потный Гурий нашел меня за матами и вытащил на сцену. Я поклонилась. Нинка говорила, что кланяться нужно, не выходя из роли; я вспомнила об этом и поклонилась снова, но уже в духе моей героини. В зале засмеялись, и когда я вышла второй раз, это был уже наш привычный школьный зал, в котором я стала даже различать отдельные лица.

НОЧЬ НА ПУСТЫНЬКЕ

Как всегда после волнения, у меня немного болела голова и хотелось, чтобы вокруг было тихо. Что-то осталось в душе после нашего спектакля, и я чувствовала, что разговариваю и смеюсь, а сама невольно берегу это чудесное «что-то». Короче говоря, когда Гурий предложил вместо танцев отправиться на Пустыньку — так назывался заброшенный монастырь на берегу Тесьмы, — я охотно согласилась и уговорила Нину. Одна девочка, жившая рядом со мной, обещала зайти к маме и сказать, что я вернусь очень поздно.

Почему с такой удивительной силой запомнилась мне эта ночь, о которой я даже не знаю, что и как рассказать? Так

хороши, как никогда еще, были Овражки с первой сквозящей зеленью вязов, с лежащими на земле тенями маленьких листиков и тоненьких веток, с этими неясными купами на берегу Тесьмы под обрывом, в которых трудно было узнать давно знакомые старые ивы, слившиеся со своими тенями!

Мальчики спорили о спектакле, причем Гурий все время говорил: «теамастерство» или «теастихия» — и защищал «новые формы, властно зовущие театр из душных коробочек на вольные просторы площадей». Потом перешли на статью Луначарского, который писал, что в консерваторию нужно принимать не по социальному признаку, а по таланту. Андрей вдруг сказал:

— А вы знаете, что Ленин был в Лопакхине?

Все закричали: «Как был, когда?» — и Андрей рассказал, что Ленин на лето приезжал из Симбирска, еще когда был гимназистом.

— Но возможно, что Митя напутал... Мне Митя сказал, а в биографии — я нарочно еще раз прочел — об этом ни слова.

Но я все-таки решила, что был, и мигом вообразила Ленина-гимназиста в мундире с блестящими пуговицами, в открытом крахмальном воротничке, с выпуклым лбом и зачесанными назад светлыми волосами. Вот в садике перед гимназией он узнает о казни старшего брата. «Мы пойдем не этим путем». Вот он выходит на Овражки, задумчивый, стараясь не наступать на тоненькие тени веток...

— Чьи это слова? — спросил Володя Лукашевич.

Служенье муз не терпит суеты,
Прекрасное должно быть величаво!

— Вот загадка! Пушкина, — ответил Андрей.

И мальчики заспорили о том, что такое «прекрасное» и знает ли гений о том, что он совершает прекрасное или не знает. Гурий утверждал, что не знает и что, по мнению Пушкина, прекрасное, то-есть великое, может совершить лишь тот, кто «психологически одинок», то-есть свободен от чувств — все равно: плохих или хороших.

Он прочел:

Ты сам свой высший суд.
Всех строже оценить умеешь ты свой труд.
Ты им доволен ли, взыскательный художник?

— Между тем человек никогда не бывает психологически одинок, — сказал он. — В самом деле: только что родился, как у него появляется мать.

— Ты хочешь сказать: он появляется у матери...

— Не вижу разницы. Он подрастает, поступает или не поступает в школу, кончает или не кончает вуз и совершает тому подобные поступки, свойственные человеческому индивиду. Так?

— Допустим.

— С первой минуты жизни он находится в условиях, включающих одиночество. И эти условия отнюдь не мешают ему участвовать в создании величайших творений. Ты согласен со мной?

— Согласен.

— Ага! — с торжеством закричал Гурий. — Следовательно, ты считаешь, что Пушкин неправ?

Мы расхохотались, и Ниночка объявила, что в такую ночь грёшно заниматься философией. Но Андрей даже не улыбнулся, и я почувствовала, что этот спор глубоко волнует его.

— Что значит «великое»? — возразил он. — Египетским фараонам казалось, что они совершают великое, воздвигая пирамиды, а мы убеждены, что великое — это то, что совершается во имя и для счастья народа. В основе одиночества лежит разочарование, ненависть, злоба. А для того чтобы совершить великое, надо любить.

Он сказал это, когда мы стояли на старом плывучем мосту и смотрели, как одна баржа стала отходить, чтобы пропустить расшиву — так у нас на Тесьме назывались парусные грузовые суда. Расшива была видна издалека, еще когда мы шли по Овражкам, а теперь приблизилась, и можно было различить, как под большим надувшимся парусом двигаются и что-то делают люди.

Мне почудилось, что руки Андрея, лежавшие на перилах рядом с моими, немного дрожат. Я взглянула на него — и поразились. У него были полузакрыты глаза, и лицо с крепко сжатыми губами было торжественным и сумрачно-важным. Трудно поверить, но я поняла в этот миг, что в его душе еще звучат слова: «Чтобы совершить великое, надо любить» — и что они сливаются с этой чудной картиной ночной реки, расшивы, которая под белым трепещущим парусом гордо прошла, точно разрезала мост пополам. Лоцман стоял на корме в полужубке и закуривал — выбивал искры из кремня, — и искры гасли...

Вот и Пустынька! Она была незнакомая ночью, ручьи шумели на дне оврага, лунный свет был не такой, как в городе, — таинственнее, мягче. Пустынька стояла на четырех оврагах, и прежде через них вели мосты. Но мосты давно прогнили, сломались, и теперь нужно было знать тропинку, чтобы подойти к монастырскому зданию.

Мы спустились этой тропинкой в овраг, и стало так темно и так шумно, что мальчики, которые спорили теперь о том, что такое любовь, должны были почти кричать, чтобы услышать друг друга.

Володя подхватил меня и перенес через ручей так бережно, как будто я была стеклянная и, если бы он уронил меня, разлетелась бы на кусочки.

На дне оврага был свой, шумный, пахнущий сыростью мир, и когда из этого мира мы поднялись наверх, я даже ахнула — таким необычайным показалось мне здание старого монастыря с его чистыми строгими стенами, глухими окнами и высокой башенкой, в которой виднелись колокола.

Мы зашли во двор — как все пустынно, печально! Каменная панель вела к разрушенному зданию ризницы. Толстая железная дуга была подвешена на цепи посреди двора. Гурий постучал по дуге палкой, и сдержанный суровый звон отозвался и замер.

До утра мы бродили по Пустыньке, ломали черемуху, пели.

Потом Андрей куда-то пропал; я нашла его на развалинах монастырской стены, над обрывом, с которого далеко виднелась Тесьма, и мы долго сидели и молчали...

— Да, совершить великое, но не вообще, а конкретно, — наконец сказал он. — Например, открыть тайну белка. Ведь это было бы подвигом в науке?

— О да!

Я чуть не спросила его, можно ли совершить подвиг, посвятив свою будущность театру, но подобный вопрос показался мне легкомысленным в сравнении с тайной белка.

— Как ты думаешь: чтобы решить такую задачу, нужно быть гениальным?

— Я думаю, да.

Андрей замолчал. Потом переспросил упавшим голосом:

— Да?

Очевидно, он не считал себя гениальным.

— Да, но мы можем стремиться к великому, — вдруг живо сказал он. — Представь себе, насколько все становится яснее, когда в жизни появляется главная цель. К ней можно прислушиваться и проверять себя. Ее можно хранить в тайне или доверить только близким друзьям. Ты знаешь, я убежден, что очень скоро в нашей стране великое будет совершаться почти ежедневно.

Я спросила:

— А несчастья?

Он не понял, и я объяснила, что борьба с эгоизмом — внутренняя, а есть еще внешняя — против несчастий, огорче-

ний и так далее, которые тоже очень часто встречаются в жизни. Андрей подумал и ответил, что в подобных случаях должна помочь воля, а воля и стремление к цели — это две стороны одного и того же явления.

Звезды стали бледнеть, первые лучи солнца скользнули по башенке, по куполам, потом спустились прямо на нас. Большой красный шар стал подниматься на той стороне Тесьмы, над полями. Похожая на флаг сосна стояла на обрыве шагах в двадцати от нас. До сих пор она была незаметная, ночная, а теперь, под утренним солнцем, стала красная, стройная — точно ее преобразило какое-то чудо.

Стрижи взвились с колокольни прямо к солнцу, крылышки блеснули, как будто кто-то рассыпал в воздухе осколки стекла.

Все вокруг — на небе и на земле — было теперь красным и золотым от солнца, и уже не прежние угрюмые купы стояли на берегу, а серебристые ивы с молодыми листиками, поворачивающимися под утренним ветром своей нижней, беленькой стороной.

Как все было прекрасно! Как великолепно было, что наступило утро, и что я вижу солнце и небо, и что никто не знает, как я счастлива, и только я знаю, что буду еще счастливее — счастливее всех людей на земле!

* * *

Почему-то много народу было у нас в передней — так рано? — когда я вернулась домой. Какие-то женщины громко говорили, ахали и вдруг замолчали, расступились, увидев меня. Мария Петровна в пальто, в туфлях на босу ногу, непричесанная вышла из нашей комнаты и, поджав губы, уставилась на меня.

— Что случилось?

— Ничего, ничего!

Кто-то белый был в нашей комнате; я вошла и увидела, что это Митя в халате. Разобранный шприц лежал перед ним на столе, он укладывал его в коробочку и, когда я вошла, зачем-то рассматривал одну иголку перед лампой. У него было усталое, напряженное лицо, энергично-хмурое, со сдвинутыми бровями.

— Что случилось?

Он поспешно бросил иголку, подошел ко мне и взял мои руки в свои. Я бросилась к маме. Она лежала ровно, неподвижно, с неподвижным лицом. Она была такая же, как всегда, только глаза закрыты и руки крест-накрест сложены на груди...

Митя ушел, еще раз крепко пожав мне руки, какие-то женщины заглядывали в нашу комнату и долго разговаривали в передней, я слушала и не слышала их и, помнится, удивилась, когда Мария Петровна рассказала, что мама очень ждала меня и, когда ей становилось полегче, все говорила: «У Тани будет успех, оттого что она по натуре артистка».

С маминой службы прислали фельдшера, он поставил ей банки, но маме не стало легче, и она попросила Марию Петровну сходить за Митей. Митя пришел и остался у нас на всю ночь. Бледный, нахмуренный, он сидел на постели и каждый час впрыскивал камфору. Под утро он послал Марию Петровну в аптеку за каким-то редким лекарством и, когда лекарства не оказалось, так набросился на нее, что мама даже стала смеяться. Она не знала, что умирает. А Митя уже снова колот ее и делал еще что-то. Потом закричал: «Чашку!» — и вскрыл маме вену, но кровь не пошла.

Вдруг он наклонился над мамой и громко назвал ее по имени: «Наталья Тихоновна!» И Мария Петровна ясно видела, как у нее в последний раз вздрогнули и закатились глаза...

Меня увели из нашей комнаты, потому что маму нужно было «готовить», и я долго сидела у Марии Петровны.

Андрей приходил несколько раз, но как-то незаметно, так, что я даже забывала о нем. Потом я вернулась к маме; она лежала причесанная, чистая, и рукава белого платья были наспех крупными стежками приметаны друг к другу, так что нитки порвались бы, если бы мама подняла руки. На глазах у нее лежали медяки. Эти медяки и сшитые рукава — это было то, что никогда не делают с живыми. Она умерла, ее нет, ветки цветущей черемухи лежат у нее в ногах, потому что она умерла! Умерла в тот час, в те минуты, когда мы сидели на Пустыньке, над обрывом, когда звезды стали бледнеть и первые лучи солнца скользнули по куполам и спустились прямо на нас. Умерла, когда мы ломали черемуху и пели и стрижи взвились с колокольни, — быть может, в то мгновение, когда я подумала, что счастливее меня нет никого на земле!..

В Лопакхине кладбище расположено на Павской горе, поросшей сосновым лесом, и мальчики с Ниной без меня выбрали высокое, чистое место. Не знаю, откуда они взяли цветы — садоводство было только в Петрове, — но когда мы уходили, между цветами был едва виден некрасивый песчаный холмик, под которым лежала мама.

Какой холодной, слишком просторной показалась мне наша комната, едва я переступила порог!

Без мысли, без чувств стояла я у окна, глядя на улицу

и слушая, как за стеной у Марии Петровны маятник ходит туда и назад, равнодушно отбивая секунды... И прежде мама часто жаловалась на сердце. Сколько раз я просила ее пойти к врачу! Ни за что! Ей становилось хуже, когда она начинала тосковать. Последние дни она тосковала! Давным-давно не вспоминала она о Василии Алексеевиче Быстрове, а тут вдруг села писать ему на Путиловский завод и рассердилась, когда я стала подшучивать, что этот загадочный Василий Алексеевич, наверно, был в нее когда-то влюблен. Две недели только и было разговору о том, что летом мама возьмет отпуск и поедет со мной в Петроград и найдет Василия Алексеевича, который теперь, после революции, по маминому мнению, должен был стать по меньшей мере председателем горсовета...

Мы почти не расставались — как же вышло, что она даже не простилась со мной? Часы захрипели, собрались бить, но раздумали, и маятник — тик-так — снова стал отбивать секунды. Почти не расставались, вот в чем дело! Все было обыкновенным, незаметным, привычным — вот почему я не замечала, не ценила, как нежно мама любила меня...

Андрей пришел, когда я колола дрова под лестницей (нужно было затопить «буржуйку», вымыть пол, постирать — прежде все это делала мама), и, не сказав ни слова, отнял у меня топор. Он наколот и натаскал так много маленьких аккуратных поленьев, что их некуда было девать и пришлось сложить под кроватью. Каждый раз, когда он приносил вязанку, мы недолго разговаривали — и он опять уходил. В первый раз он сказал:

— Неприятный шум из-за этой женитьбы. Ты знаешь, о ком я говорю?

— О Глафире Сергеевне и Мите.

— Да. Причем я совершенно согласен с тобой. Она только кажется сложной.

Он подумал и сказал, что был бы очень рад, если бы они уехали поскорее.

— В конце концов доказано, что любовь — это состояние, зависящее от прилива крови к продолговатому мозгу, — серьезно объяснил он. — И мне, например, неясно, почему из-за этого факта, имеющего место в организме моего старшего брата, весь дом должен переворачиваться вверх ногами.

Андрей нарочно рассказывал о «молодых» — наверно, хотел, чтобы я хоть ненадолго забыла о маме.

— Между прочим, это ерунда, что Глашенька не знала о заседании педсовета, на котором ее провалили, — продолжал он. — Прекрасно знала. Сама говорила Митьке, я слышал...

Он искоса посмотрел на меня — должно быть, думал, что я буду поражена. А мне стало горько и смешно, что еще так недавно эта глупая история волновала меня. «Да, она сложная и страшная, — подумалось мне о Глашеньке. — И я была жалкой девчонкой, когда, дрожа, разговаривала с нею в передней. Какое счастье, что они уезжают и я навеки забуду о них!»

Второй раз он спросил: думала ли я о нашем последнем разговоре?

— Я хочу сказать, — он немного покраснел, — что тебе стало бы легче, если бы ты иногда вспоминала, что согласилась со мной. Помнишь, я говорил о стремлении к великому, и ты спросила: «А несчастья?» Ведь ты согласилась, что в таких случаях помогает воля и что воля и стремление к цели очень тесно связаны между собой?

Я кивнула.

— Пожалуйста, непременно думай об этом, — серьезно сказал Андрей. — Я тоже буду, потому что, уверяю тебя, это чрезвычайно важный вопрос...

* * *

Несколько раз мне казалось той ночью, что я засыпаю, но как будто кто-то толкал меня: «Умерла!», и, вздрогнув, я открывала глаза. То чудилось мне, что мама бродит по темному, незнакомому дому и входит в комнату, где я одна сижу за столом. И с отчаянием, с ужасом я догадываюсь, что она не видит меня. То мне слышался ласковый голос: «Доченька, спишь?» Так она по утрам окликала меня. То мы мчались куда-то в пролетке — она молодая, как я, с золотыми кольцами-серьгами в ушах, в развевающейся шали, а у театра уже стоял актер Максимов, в которого она была влюблена, и, сияя, старомодно кланяясь, она представляла меня: «Подруга». То, сверкая черными глазами, мама страстно защищала кого-то... То стояла у окна, а на Михайловской происходило что-то из древней истории: всадники — половцы или скифы, — громко разговаривая, слезали с коней...

Я очнулась. Я спала с открытыми глазами, а этот шум, смятение, разговоры всё продолжались, как будто всадники, приснившиеся мне, ожили, раскинув лагерь подле нашего дома. Я встала и не поверила глазам: в слабом, предутреннем свете я увидела множество коней и телег, перепутавшихся и тесно надвинувшихся друг на друга. Какие-то тонкие, желтые люди в армяках, в полушубках сидели и лежали среди этой тесноты на мостовой, на телегах. Среди них ходили, распоряджаясь, наши лопахинские — старший Рубин и другие.

Митя в шинели и шлеме вышел из-за угла и громко сказал председателю горсовета:

— Прежде всего нужно мобилизовать людей на прожаривание тряпья — и в баню.

Мария Петровна зашла ко мне испуганная, в одной рубашке, и я впервые заметила, какие у нее острые, худенькие плечи.

— Таня, ты не спишь? — сказала она. — Привезли голодающих с Поволжья...

Каждый день я читала в «Красном набате» о голодающих Поволжья. У бывшей аптеки Принца висел плакат: растрепанная седая женщина с обезумевшими глазами держала на руках мертвого ребенка — и внизу было написано: «Помни о голодающих». «Юный пролетарий» обратился с воззванием к молодежи. В «Синем журнале» я читала о том, что известный путешественник Нансен «опровергает клевету буржуазных газет о том, что его снимки поддельные». Он сделал несколько тысяч снимков, и один из них был напечатан в «Синем журнале» — бесконечная белая равнина, по которой, держа друг за друга, шатаясь, бредут люди, а в стороне лежат две мертвые женщины, полузанесенные снегом... В Лопакхине открылся магазин Помгола. Весь сбор с нашего спектакля пошел в Помгол, и, помнится, мы выручили около ста миллионов — по тому времени это была довольно крупная сумма. Но все это — спектакль, магазин, плакат — было так бесконечно далеко от скрипа телег, ржанья коней, тесноты, смятения — всего, что вдруг появилось на Малой Михайловской под окнами нашего дома.

Я оделась и обошла весь город. Окрестные крестьяне привезли голодающих на телегах, и на всех улицах — на Овражках, вдоль набережной до самой Пустыньки, вокруг маленьких костров, над которыми висели закопченные чайники, — сидели тонкие, желтые, исхудалые люди. Многие были в высоких войлочных шляпах, в онучах и лаптях. Некоторые неподвижно сидели на мостовой, другие ходили, шатаясь, в распахнутых полушубках, и было очень много детей, разговаривающих между собой серьезно и тихо. У бани висело объявление: «Требуется рабочие за повышенную плату», и Гурий сидел за столом и скучал: записывалось мало — боялись сыпного тифа. Он сказал мне, что комсомольцы мобилизованы, и я хотела бежать в райком, чтобы узнать, куда меня направляют, но в эту минуту Гурий вскочил и закричал:

— Вот он!

Я обернулась: Митина кавалерийская шинель мелькнула и скрылась в переулке.

— Какой организатор, а?

— Кто?

— Доктор Львов! — сказал Гурий с восторгом, и я не сразу поняла, что он говорит о Мите.

Это были дни, запомнившиеся мне на всю жизнь, и не только потому, что я впервые встретила с настоящим бедствием, поразившим меня до глубины души, но и потому, что я впервые почувствовала себя участницей борьбы с несчастьем многих.

Детей распределили по квартирам, и мы с Марией Петровой тоже взяли ребеночка, еще совсем маленького и такого худенького, что невозможно было без подступающих слез смотреть на его тонкие темные ножки. Он лежал и косил глазами и в конце концов прекрасно поправился — порозовел, потолстел.

Горсовет постановил открыть десять банных пунктов, рабочие кожзавода взялись доставить на эти пункты дрова, и это дело — сложное, потому что в Лопахине не было транспорта, — организовал Митя. Он был везде — казалось, что за каждым углом мелькает его длинная шинель и шлем с развевающимися ушами.

Но прошло несколько дней — и он куда-то пропал в самое горячее время. Потом появился, накричал на Андрея за то, что комсомольцы — в частности наша ячейка — до сих пор активно не включились в работу, и снова пропал, на этот раз надолго. Андрей доложил в райкоме свой план помощи голодающим со стороны комсомольских организаций. План был принят без возражений, и это была минута, когда мы впервые взялись за большое общественное дело. Мы организовали горячее питание из походных кухонь, разливали суп, раздавали хлеб. Сбор вещей мы провели не только в городе, но и в районе. Мы устраивали по частным домам детей, нуждающихся в особом уходе. Райком назначил Гурия «главным дезинсектором», и комсомольцы, в частности мы с Ниной, круглые сутки «жарили» в бане над плитой армяки и рубашки.

В общем, такое острое положение, когда был мобилизован весь город, продолжалось только несколько дней.

Со странным чувством вернулась я в свою опустевшую комнату — вошла и с удивлением остановилась на пороге, точно попала в незнакомый дом. Знакомые вещи стояли на своих привычных местах. Но в другом свете я увидела эту комнату и себя, стоящую на пороге и внимательно всматривающуюся во что-то новое, — я сама еще не знала, во что. Как будто не в комнате, а в душе я ничего не нашла на старом месте. И горе, которое было прежде болезненно-резким

и настолько «моим», что я невольно отстранялась, когда в это «мое» заглядывали даже близкие люди, немного отошло, отодвинулось — так, что теперь я могла смотреть на него изда- лека.

„СИНЕМА — ЧУДО XX ВЕКА“

Когда я вошла, Павел Петрович спал в кресле так тихо, что, казалось, его большая, склонившаяся на грудь голова больше никогда не поднимется и старые глаза с ободком вокруг цветного колечка никогда не взглянут на меня с добро- душно-грустным выражением.

Я сидела подле него, думала, прислушивалась, и, как в дет- стве, когда я лежала у Львовых, звуки дома — из кухни, из столовой, из комнаты Агнии Петровны — стали собираться ко мне. Вот Агаша выбросила из кухни кота и с шумом захлопну- ла двери. Вот легкие шаги послышались в коридоре, Митя за- смеялся, и мне представилось, что Глашенька, крадучись, под- ходит, чтобы сзади закрыть его глаза руками, но он обернулся, она легко вскрикнула, убежала, и Митя с грохотом помчался за ней.

— Ну, Таня?

Доктор уже не спал.

— Дай твою руку.

Он взял меня за руку, и мы долго молчали.

— Митя сказал, что ничего нельзя было сделать.

— Я знаю, Павел Петрович. Он и так сделал все, что мог.

Мы помолчали.

— Я в этих случаях ставил горчичник на сердце. Не знаю... теперь лечат иначе.

Он погладил меня и задумался.

— Вот что, Таня. У меня есть вещи, лично мои. Золотой портсигар с монограммами и другие. Ты возьми и продай.

— Спасибо, Павел Петрович. Мне ничего не нужно.

Я уселась подле него на скамеечке, как бывало, и немного поплакала. Он не утешал, только крепко обнял меня за плечи.

До позднего вечера я просидела у Львовых. Митя уезжал — весь дом был полон его делами. Портной принес ему штатский костюм; Митя кричал, что в новых брюках у него ноги кривые, и я, между прочим, вспомнила, как Андрей однажды сказал мне: «Для Мити внешняя сторона играет огромную роль». Слесарь явился с «микротомом» — так называется прибор для гистологических срезов. Микротом тоже не вышел — срез, по мнению Мити, получался недостаточно тонкий. Агния Петров- на пришла из Дома культуры какая-то растерянная — не- смотря на свой гордый вид, — и долго рассказывала мне, как

после смерти мужа осталась одна с маленькими детьми, но не потеряла присутствия духа, и какой-то настройщик с абсолютным слухом устроил ее к Юлию Генриху Циммерману. Вдруг она забыла обо мне и стала жаловаться, что еще не слышала от Глашеньки ни одного умного слова.

— То сидит, как дикарка, а то «мамочка, мамочка»! Что я для нее за «мамочка»?

Уже двигали стулья в столовой, готовились к ужину. Ни с кем не прощаясь, я тихонько убежала домой.

* * *

Когда мама умерла, я поступила на службу: библиотекарем-хранителем книжного склада Уполитпросвета. Это была легкая служба: на моей обязанности было снабжать городские библиотеки литературой. Но, во-первых, в городе была только одна библиотека; во-вторых, хотя склад был завален книгами, привезенными из помещичьих усадеб, на эти книги — в огромном большинстве иностранные — в лопахинской библиотеке почти не было спроса.

Я бы не стала рассказывать об этом «полусне-полуслужбе», как называл мое сиденье на складе Андрей, если бы среди множества книг, сваленных в беспорядке на пол, мне не попала серия «Синема — чудо XX века». Это были биографии знаменитых киноактрис, о которых, между прочим, в афишах всегда писали «красавица»; например, «с участием красавицы Франчески Бертини».

Одна биография показалась мне особенно интересной: оказывается, киноактриса Жанна Николь в детстве была так неуклюжа, что учитель танцев не в силах был разучить с нею самое незамысловатое па. Но она дала себе слово, что придет время и она станет «великой». И вот она начала работать над своим голосом, движениями, выражением лица. Если ей было грустно, она старалась принять беззаботный и даже радостный вид. Она нарочно причиняла себе боль — и одновременно заставляла свое лицо изображать безмятежность. Она научилась управлять своим взглядом. Так она приобрела полную власть над собой. Дальше было неинтересно, потому что все биографии великих киноактрис в общем были похожи.

Итак, она чувствовала одно, а заставляла себя изображать совершенно другое! Значит, актеру совсем не нужно «перевоплощаться», как утверждал, например, Гурий, когда мы репетировали его пьесу-сценарий. Наоборот! Чем глубже спрятаны личные чувства, тем с большей свободой актер может изобразить другого, абсолютно не похожего на него человека. Эта мысль поразилась меня.

Закутавшись в мамину шаль — склад помещался в подвале, и даже летом в нем было прохладно, — я читала, читала. Я сидела на книгах, и везде — надо мной и вокруг меня — были книги; чтобы прочесть их, наверно, не хватило бы человеческой жизни. Читая, я время от времени поглядывала на светлый квадрат солнца, падавший на лестницу и казавшийся мне ослепительным из глубины темноватого склада, и у меня было странное чувство, что все в мире остановилось и ждет, пока я переверну страницу. Я переворачивала ее, и что-то переставлялось в мире, как, постепенно уходя, менял свое место в течение дня солнечный квадрат у входа.

Теперь, через много лет, мне кажется странным, что эта дешевая серия «Синема — чудо XX века» так увлекла меня, что я сперва незаметно, а потом все более сознательно начала думать о театре. Но, может быть, эта мысль забрела в мою голову значительно раньше — в тот день, когда, играя героиню Анну, я выходила на сцену и таинственный темный зал начинал следить за каждым моим движением? Так или иначе, но она явилась, эта чудесная мысль, и что ни день, то все с большей уверенностью принялась распоряжаться моею душой. Сперва она как будто не коснулась моего давнишнего решения пойти на медицинский факультет — решения, о котором мы часто говорили с Павлом Петровичем и которое давным-давно стало для меня таким же привычным, как сам Павел Петрович. Потом я подумала, что можно учиться одновременно в двух вузах: в медицинском и в театральном, — это был выход! Правда, подозрительный по своей легкости, но все-таки выход!

...Кино «Модерн» представлялось мне: очень холодно, девушки снимают туфли и сидят то на правой, то на левой ноге, лектор в валенках появляется перед экраном. «В главной роли, — говорит он, — выступает молодая артистка, пожелавшая остаться неизвестной».

И вот гаснет свет, аппарат начинает трещать за спиной, пар от дыхания становится виден в расширяющейся полосе света, падающего из окошечка будки... Она!

А молодая артистка, одетая очень скромно, сидит в последнем ряду и плачет и смеется от счастья...

В конце июня, получив выпускные свидетельства, Нина и мальчики пришли «снимать меня с работы», как сказал Андрей. Не знаю, что переменялось в них, но между нами уже как будто легла та новая, студенческая жизнь, о которой они так весело говорили, в то время как я с грустью думала, что пройдет еще месяц, и я останусь одна.

Нина собиралась в консерваторию. Вопрос о мировоззрении теперь меньше беспокоил ее, поскольку из статьи Луна-

чарского она сделала неожиданный вывод, что для таланта не только социальный признак, но и мировоззрение не играет существенной роли. В феврале был объявлен добровольный набор двух тысяч комсомольцев в школы учебных отрядов флота. Володя Лукашевич послал бумаги и вскоре должен был ехать в Кронштадт. Гурий решил поступить на петроградские курсы техники речи. По его словам, это были единственные в мире курсы, на которых существовало специальное ораторское отделение. Люди, не умеющие связать двух слов, поступали на это отделение и через каких-нибудь два-три года превращались в первоклассных ораторов.

Андрей собирался в Москву, на медицинский факультет университета. Я спросила: «К Мите?», но он ответил, что у Мити и без него довольно хлопот. Это было сказано как-то неопределенно, небрежно, хотя я прекрасно знала — от Андрея же, — что именно Митя горячо убеждал его подать на медицинский. Но для Андрея было почему-то важно, чтобы никто не сомневался в его полной самостоятельности в этом вопросе.

— Кстати, ты знаешь мою идею? — сказал он. — Я уговорил дядю прочесть им курс.

СЛУШАЮ КУРС

На дворе у Львовых уже не стояли ящики от роялей и пианино: ящики сожгли во время гражданской войны. Двор зарос и стал похож на сад. В Лопахине каштаны — редкость, а тут откуда-то взялся и вырос большой каштан. Накинув на плечи старую шаль, Павел Петрович сидел под каштаном в своем кресле; вот почему, когда я впоследствии вспоминала лекции старого доктора, в моем воображении прежде всего появлялся каштан в полном цвету, с прямыми, нарядными свечками, розовыми от заходящего солнца.

Очевидно, слова «прочесть курс» произвели на меня глубокое впечатление, иначе, собираясь на первую лекцию, я не надела бы свое единственное нарядное платье — маркизетовое с воланами. Кажется, это было ошибкой. Маркизетовое платье я всегда надевала на танцы, и теперь у меня тоже сразу стало скорее танцевальное, чем научное настроение. Должно быть, поэтому я больше смотрела на мальчиков, чем слушала Павла Петровича. Потом я стала смотреть на них «психологически» — иногда это получалось забавно. «Вот Гурий, — думалось мне, — какой он? Почему все девочки влюбились в него, и даже мне — хотя я не влюбилась — хочется, чтобы он ухаживал за мной, а, например, не за Ниной?»

Но я все-таки подумала: «Нет», как будто Гурий объяснился мне в любви и с волнением ждал ответа. Мне не нравилось, что он с равной легкостью рассуждал обо всем и слишком любил выступать — он чувствовал себя хорошо, только находясь в центре внимания.

Вот и сейчас, сидя на траве, как турок, он быстро записал что-то в тетрадку и с недоумением пожал плечами, как будто был не согласен с Павлом Петровичем. «Нет, нет», — снова подумалось мне. И я стала «психологически» смотреть на Андрея.

У него был рассеянный взгляд, но в глубине скрывалась какая-то неподвижность, и по этой неподвижности было видно, что он слушает с напряженным вниманием. Он слушал и думал — хотелось бы мне догадаться, о чем.

Да, он был совсем не похож ни на Гурия, ни на Володю, и неизвестно, что я ответила бы ему, если бы он вдруг взял да и объяснился мне в любви. Впрочем, это было невозможно. Он сам однажды сказал, что никогда не влюбится, потому что «любовь — это власть одного человека над другим, причем обычно женщины над мужчиной».

Между тем доктор все читал, и, должно быть, лекция была интересная, потому что я заметила, что Нина загибает пальцы, чтобы потом по счету вспомнить самое главное и дома повторить — у нее был такой мнемонический способ. Я посмотрела на ее сосредоточенное хорошенькое лицо, подумала, что она правильно делает, что идет в консерваторию, для которой нужен только талант, вздохнула и стала слушать.

В этот день Павел Петрович рассказывал о вирусах, то есть о невидимых микробах, но начал он с истории ночного сторожа, любившего рассматривать «маленьких животных» через увеличительные стекла. Разумеется, давным-давно я знала, что это вовсе не сказка, что имя ночного сторожа — Антоний Левенгук и что он был первым человеком, заглянувшим в мир мельчайших живых существ, мириады которых живут в воде, в воздухе, на земле, под землей, в телах людей, животных, насекомых и птиц. Но все-таки это был видимый мир, и заслуга Антония Левенгука заключалась именно в том, что он его увидел.

— Представьте же себе, — говорил Павел Петрович, — что, кроме этого мира видимых микробов, жизнь которого открывается нам под стеклами микроскопа, есть еще и другой, абсолютно невидимый мир. То мир настолько неизмеримо малых микробов, что нет ни малейшей возможности увидеть его даже через самые сильные микроскопы. Как бы вы ни напрягали зрение, сколько бы ни смотрели на два тончайших стеклышка,

между которыми заключена частица этого мира, вы не увидите ничего.

И старый доктор объяснил, что этот невидимый мир был открыт еще в 1892 году русским ботаником Ивановским, который работал над мозаичной болезнью табака и обнаружил, что возбудители этой болезни свободно проходят через фильтры, задерживающие все другие микробы. Ивановский был тогда еще совсем молодым человеком, лаборантом Академии наук, и Павел Петрович, очевидно, прекрасно знал его, иначе не рассказал бы с такими подробностями о том, как учитель Ивановского, академик Фаминцын, хлопотал для своего ученика стипендию и как Ивановский отказался от нее на том основании, что у него «может быть, и не окажется научных талантов».

— Скромность необыкновенная, — сказал Павел Петрович с таким выражением, как будто он одновременно и гордился этой скромностью и был ею от души недоволен. — Вот черта, которая в конце концов оказала вредное влияние на судьбу его открытия.

В чем же выразилась эта скромность? Во-первых, в том, что Ивановский почти ничего не сделал, чтобы утвердить свой приоритет, то-есть первенство, хотя лишь через шесть лет после него другие ученые столкнулись с подобным явлением. Во-вторых, обнаружив целый неведомый мир, он не дал ему никакого названия.

— А название — это важная вещь, — сказал Павел Петрович. — Неназванное бродит в науке без присмотра, и всякий, кому не лень, заводит его в свой дом и крестит по-своему.

Это было сказано с особенной силой, и мы с Андреем поняли, что свою судьбу ученого старый доктор сравнивает с судьбой Ивановского и говорит в данном случае не только о нем, но и о себе. Другие ребята не догадались об этом, потому что они не знали о работе Павла Петровича над обыкновенной зеленой плесенью, в которой он находил целебные свойства.

Доктор читал нам весь июль, и ребята не пропустили ни одной лекции — даже Нина, которая откровенно признавалась, что когда Павел Петрович рассказывал о вражде микробов, она с удивительным постоянством вспоминала сказку «Война мышей и лягушек», которую в детстве читал ей отец. А когда Павел Петрович доказывал, что лекарства нужны лишь для того, чтобы «пробудить природу от сна», ей неизменно представлялась старая дама в пенсне, вроде Агнии Петровны, которая клует носом на скамейке в саду и которую нужно поскорее разбудить, а то она упадет со скамейки

В этот день с утра шел дождь, и мы собрались не на дворе, а в комнате старого доктора.

Те же старинные фото в перламутровых рамках стояли на фисгармонии; вот дама в длинном платье идет по аллее, подбирая волоочащийся шлейф. Вот высокий, широкоплечий господин в свободном летнем костюме стоит на мосту, легко опершись на перила, а внизу под мостом — незнакомая иностранная река в плавных, как будто шелковых складках волн. Неужели это доктор — с такими ясными, веселыми глазами навывате, с такой странной, немного раздвоенной верхней губой, которая теперь была не видна под усами? Да, это он — в 1871 году. Как давно!

И я вспомнила рассказ Андрея о том, что Павел Петрович жил в Париже во время Коммуны.

Он обещал нам рассказать на этот раз о своей работе над зеленой плесенью, но начал издали — с вопроса об опыте и наблюдении.

— Увлечшись опытом, — сказал он, — медицина со времен Пастера почти оставила наблюдение, которое некогда лежало в основе науки о природе вообще и о человеке в частности. Именно это обстоятельство повлекло за собой пренебрежение к защитным силам, которые организм выработал внутри себя в течение тысячелетий.

Это была главная мысль Павла Петровича, и он несколько раз возвращался к ней, как будто боясь, что вот замолчит — и эта мысль, которая так дорога ему, смешается с другими и станет просто шумом, таким же, как шум дождя за окном.

Согнувшись, положив на колени маленькие, энергично сжатые кулаки, доктор говорил и все всматривался, переводя глаза с одного лица на другое. Мне стало даже немного страшно, когда его умные глаза, смотревшие из глубины темных впадин, остановились на мне. Он как будто ждал чего-то от нас, надеялся, верил. И я стала думать, что теория старого доктора давно превратилась в чувство, вроде чувства безнадёжной любви.

Агаша вошла, когда Павел Петрович, вернувшись к своей зеленой плесени, рассказывал о том, как этот пример заставил его задуматься над процессами, происходящими в организмах микробов. У Агаши был торжественно-загадочный вид. Она постояла на пороге, подумала и впервые в жизни назвала меня на «вы»:

— Танечка, к вам!

Последнее время я часто думала об отце — между прочим, задолго до маминой смерти. Однажды, тайком от мамы, я написала ему на Камчатку и получила ответ, что такой-то уже не работает в Петропавловске, а переехал на станцию Алексеевск, Амурской железной дороги. Это было странно — по карте от Петропавловска до Алексеевска было три тысячи верст. Я подумала — и не стала больше писать. Но когда мама умерла, я снова послала отцу письмо и с тех пор стала думать о нем очень часто. Прежний, давно забытый образ сильного, влиятельного человека, которым за эти годы должен был стать мой отец, вернулся ко мне, хотя теперь, разумеется, я не представляла его в виде Робинзона Крузо, одетого с ног до головы в шкуры из соболей и чернобурых лисиц. Почему-то мне казалось, что я получу от него телеграмму: «Глубоко скорблю выезжаю встречай» — и зимним утром поеду на станцию рано-рано, когда две длинные, поблескивающие, бегущие за санями полосы будут смутно видны в темноте. Вот на пустой, заиндевевшей платформе я стою и волнуясь — мне страшно, что он не сразу узнает меня. Вот, гремя и выпуская из-под колес облако пара, приближается поезд, и высокий, полный военный в небрежно распахнутой шинели выходит из вагона. У отца свободные, уверенные движения; он говорит, и я слышу сильный, повелительный голос. Остановившись, он обводит глазами платформу и находит меня:

«Таня!»

И, плача от радости, я бросаюсь к нему...

Выйдя на кухню, я с недоумением уставилась на какого-то маленького гражданина, который сидел у стола, держа на коленях картуз, а теперь встал и неопределенно улыбнулся, увидев меня.

Я спросила:

— Вы ко мне?

— Да-с.

На нем была русская рубашка, некрасиво торчавшая из-под измятого пиджака. Я ничего не чувствовала, только смотрела на его редкие пушистые волосики, на белокурые седеющие усы, слишком большие для такого маленького лица, и старалась вспомнить: «Где я видела этого человека?»

— Не узнаете?

— Знакомое лицо... — сказала я неуверенно.

Он засмеялся.

— Вот так инцидент, — сказал он добродушно: — родная дочь — и не узнает. Получается драма.

Он сказал: «родная дочь», и Агаша, например, поняла это

выражение в буквальном смысле, то-есть что я — родная дочь этого человека. Она стала толкать меня к нему, сердиться. Я отстранила ее. Я не поняла: «Почему родная дочь? Что это значит: «Получается драма»?»

В эту минуту маленькое усатое лицо дрогнуло, глаза запрыгали, носик покраснел... Странное чувство, что мы вдруг перестали быть далекими, чужими, передалось от него ко мне, мгновенно смешавшись с разочарованием, жалостью, изумлением. Я спросила дрожащим голосом:

— Отец?

Он всхлипнул и обнял меня...

Помнится, я зачем-то вернулась в комнату старого доктора и сказала Андрею шопотом:

— Вернулся отец.

И Андрей с изумлением посмотрел на меня.

Потом мы пошли домой, и я заметила, что отец очень лихо попрощался с Агашей — закрутил усы и щелкнул каблуками. Он еще не спросил меня о маме. Я ждала с нетерпением — сейчас! Но он все толковал, что купил для меня у китайских купцов бархат на платье, но они обманули его.

— Ведь у нас как? — сказал он с гордостью: — Попадши в Петропавловск — продажа, баня, покупка вещей: рубашка шелковая, шаровары плисовые, сапоги лакированные, часы серебряные с двухаршинной цепочкой.

На улице Карла Либкнехта он остановился и стал двумя пальцами похлопывать себя по губам; потом я узнала, что он всегда делал это движение, когда что-нибудь затрудняло или смущало его.

— Значит, теперь такая картина... — сказал он. — Адская вещь, а? Я ведь с женой приехал.

Должно быть, я растерялась, потому что тетрадки, в которых были записаны лекции, вдруг посыпались из моих рук на панель.

Отец бросился подбирать тетрадки.

— Воображение работало, нет ли, чорт знает, — сказал он, — но я фактически не в состоянии был без жены обойтись. Вообще отчебучил штуку, а? Сам не рад. Гражданский брак — будем так называть.

Я молча повернула назад. Куда я шла — не знаю. Отец стоял немного и пошел за мной. Он бил себя пальцем по губам и все говорил: «Тут всесторонне надо». На Овражках он стал совать мне тетрадки, я взяла и сказала ему:

— Не ходите за мной.

Он остался на набережной, а я спустилась к Тесьме и все шла и думала, пока ноги не подкосились и я не села на зашумевшую гальку у самой воды.

Когда я вернулась домой, отец и его жена обедали. Стол был накрыт, стояли консервы, большими кусками нарезан был хлеб, и отец разливал по стаканам водку.

Интересно, что они встретили меня как ни в чем не бывало. Жена отца, худенькая, небольшая, с белыми ресницами и закрученным на затылке маленьким пучком волос, сказала мне: «Милости просим», как будто я была гостя, а она — хозяйка.

Отец засуетился, захлопотал, но скоро сел и стал рассказывать об амурских спиртоносах — в стаканах был, оказывается, спирт.

— Золото и спирт, — загадочно сказал он. — Это наши боги.

Он говорил «ето».

В общем, у них было хорошее настроение, и они не очень расстраивались, что я сижу за столом и не говорю ни слова.

Мария Петровна заглянула в комнату — должно быть, беспокоилась, что я долго не возвращаюсь домой, и Авдотья Никоновна — так звали мою мачеху — сейчас же пригласила ее к столу. Мария Петровна сперва стеснялась, не пила, я чувствовала, что ей неудобно передо мной, а потом все-таки выпила и развеселилась. Потом пришла торговка, с которой Авдотья Никоновна познакомилась на базаре, и ее тоже пригласили к столу.

С безнадежным чувством прислушивалась я к неумолчной трескотне Авдотьи Никоновны, которая ела, пила, резала хлеб, открывала консервы, мыла посуду — и все это быстро, ловко.

С тем же чувством присматривалась к дрожащим рукам отца, когда он подносил стакан к губам и, опрокинув, сейчас же запивал спирт холодной водой. С отвращением следила за торговкой, которая стала приставать к Марии Петровне и вдруг захохотала неестественно тонким голосом, очень странным для такой грузной женщины, с толстыми, как у борца, плечами.

Было уже поздно, гости ушли, а новые хозяева все не ложились. Авдотья Никоновна убрала лишнюю посуду, но два стакана и бутылка остались. Я поняла: на утро. Они были пьяны, но обращались со мной очень любезно. Авдотья Никоновна даже назвала меня сироткой и хотела погладить — я так посмотрела на нее, что она пролепетала что-то и отвернулась.

Мне трудно было лечь, но я все-таки легла, закрывшись с головой одеялом. И вдруг я услышала, что они поют. Обло-

котясь на стол, пригорюнившись, оба бледные, грустные, но довольные, они сидели друг против друга и пели:

Славное море — священный Байкал,
Славный корабль — омулевая бочка.
Эй, баргузин, пошевеливай вал...

* * *

Первые дни я боялась, что Авдотья Никоновна станет все переделывать на свой лад, — у меня заранее кружилась голова от чувства ревности и обиды за маму. Ничуть не бывало! Все осталось на месте. Авдотья Никоновна даже не прибирала в комнате, а только мыла посуду, а все остальное попрежнему делала я. Она была занята — в первую же неделю после присзда познакомилась со всем Лопахиным и теперь постоянно ходила куда-нибудь в гости.

Базар отнимал у нее полдня и еще полдня — подробнейший рассказ о том, что она видела на базаре.

У отца тоже не было ни одной свободной минуты. Он заявил, что не станет служить, поскольку «настало время заря возрождения российского пролетариата мирового труда» и такие люди, как он, «должны на покое подождать назначения».

В ожидании назначения отец писал рассказы. Однажды он с самодовольной улыбкой сказал мне, что в литературе он «доброволец-фанатик». Каждый день он писал штук по пяти рассказов, даже больше; таким образом, за год, что мы прожили вместе, накопилось в общей сложности несколько сотен. Для примера приведу только один — в подлиннике, потому что невозможно передать его своими словами:

«Бабкин эпизод материной матери из крепостного права.

Материна мать осталась вдовой. Ее стали выселять из деревни на край, она с сестрой взяли котомки и отправились к великой княгине. Приходят, дежурный генерал вынимает ассигнацию, кладет на стол, берет их за косы и лбами как щелканет! Вот тебе и у парадного подъезда!»

Другие рассказы были в таком же роде.

Ему очень нравилось, что в моей комнате до сих пор висела афиша «Бедность — не порок», и он рассказал мне, что это был его бенефис и что в роли Любима Торцова он имел шумный успех. Цветов было столько, что он стоял по горло в цветах и потом утром продал их одному купцу за двести двадцать четыре рубля пятьдесят копеек. На афише значилось, что П. Н. Влащенко исполнял роль слуги, но отец сказал, что это было в другой раз, а на бенефисе он играл Любима Торцова.

Но больше всего он любил рассказывать о спиртоносах.

На Амуре были какие-то спиртоносы — русские и китайцы, и отец гордился тем, что те и другие в равной мере доверяли ему, потому что он никогда не выдавал китайцам русских секретов, а русским — китайских.

Это были довольно страшные истории: то спиртоносы охотились на «косачей» — так они называли китайцев-золотоискателей. То спиртоносы убивали кладовщиков; причем один неизменно хватал лошадь под уздцы, а другой говорил: «Ну, друг любезный, выходи. Ты нас обвешивал, обманивал, а теперь рассчитаемся». Другие истории были политические — в них отец всегда играл главную роль. На станции «Михайло Чесноков» он разоружал жандармов, и сам вахмистр подарил ему свои золотые медали. 15 августа 1918 года он устроил первый субботник Дорпрофсожа. Он обманул японского офицера, сказав ему: «Ваша солдата стреляй, стреляй, а ты пиши, пиши», — и офицер выдал ему пропуск на склад, в котором под мешками с мукой лежали берданки, и отец вывез берданки и передал их партизанам, и так далее.

Я просыпалась раньше всех и долго смотрела на него: он спал на спине, упершись головой в подушку, точно боялся, что ночью может взлететь. Авдотья Никоновна лежала подле него, но до нее мне было мало дела. Отец! Мне было легче думать о нем, когда он спал, — быть может, потому, что во сне у него печально повисали усы, носик бледнел, и становилось ясно, что он сам не знает, что ему делать со всей чепухой, которой была набита его голова. Отец! Мама всю жизнь не могла примириться с тем, что он бросил ее, а он, вернувшись через восемь лет, не спросил даже, отчего она умерла. Что же делать с этим отцом, у которого даже во сне вдруг становилось жалко-хвастливое выражение лица? Который проснется, выпьет, не умываясь, слабо взмахнет ручкой и начнет рассказывать — о чем? Не все ли равно? И я начинала думать о том, как все изменилось с той ночи на Пустыньке, точно несчастья, о которых мы говорили с Андреем, подстерегали меня.

«Но разве не решилась ты совершить великое? — спрашивала я себя. — Да, мама умерла, и это страшное горе. Отец вернулся после многолетней разлуки и оказался жалким, опустившимся человеком. Нужно учиться, а тебе пришлось поступить на склад — теперь, когда в «Юном пролетарии» появилась статья «Взять штурмом науку» и ты сама, еще до этой статьи, решила заново пройти по главным предметам всю вторую ступень? Но разве ты не согласилась с Андреем, что воля и стремление к цели — это две стороны одной и той же задачи. Нет, он настанет, этот день, когда то, что ты сделаешь, проникнет в тысячи и миллионы сердец, осветив твою жизнь ослепительным сиянием счастья!»

Володя Лукашевич перед отъездом зашел ко мне и просидел ровно два с половиной часа, так что я стала бояться, что он снова — как это было в прошлом году — скажет что-нибудь неожиданное и мне снова придется провести довольно сложную разъяснительную работу. В прошлом году он вдруг прибежал ко мне в семь часов утра и объяснился в любви, так что мне пришлось долго объяснять ему, что он не имеет права говорить подобные вещи и вообще не имеет понятия о том, что такое любовь.

Потом уехала Ниночка в консерваторию — нужно было держать испытания. А Гурий и Андрей могли явиться незадолго до начала занятий, потому что для университета и курсов техники речи достаточно было лишь свидетельства об окончании школы. Теперь мы вдвоем слушали курс — с каждой лекцией он становился все интересней. Потом Гурий, одновременно с курсами техники речи, решил поступить в Стумазит — это была какая-то «Студия массовых зрелищ и торжеств», в которой должны были учиться около десяти тысяч человек. Он уехал, и мы остались вдвоем. Но лекции продолжались.

Павел Петрович начинал ровным, негромким голосом, очень монотонно. Потом слабый румянец появлялся на впалых щеках и переходил на виски, которые были у него какие-то особенно старые, так что при взгляде на них невольно приходила в голову мысль о смерти. Он выпрямлялся, насколько возможно, большая, некрасивая, выдающаяся вперед голова поднималась, и голос начинал звучать торжественно-строгим — как будто перед ним были не школьники, а люди науки.

Давно была кончена и отправлена Р. небольшая статья, в которой Павел Петрович изложил сущность своей теории, но ответа не было, и у старого доктора становилось сумрачное лицо, когда я вспоминала об этой статье.

Мне запомнился день, когда уезжал Андрей, день, еще совсем летний, хотя в конце августа у нас бывает уже довольно холодно и идут дожди. Накануне мы условились в семь часов утра встретиться на Овражках. Почему именно в семь? Не знаю. Должно быть, потому, что никто не назначал свиданий так рано.

На Тесьме стояли плоты — очень много, так что можно было, не замочив ног, перейти с одного берега на другой. Плотовщики переговаривались, и голоса их были отчетливо слышны, как будто нарочно, чтобы участвовать в этой картине свежего, ясного утра, сложившейся из крупных, ровных бревен, за которыми кое-где поднималось белое облачко пара, из солнечных лучей, проходящих через это облачко и вдруг вспыхи-

вающих разными цветами, из полета чаек над Тесьмой, из чувства бодрости и еще из какого-то деятельно живого чувства, без которого вся эта жизнь вдруг застыла бы и остановилась, как в заколдованном сне.

Андрей ждал меня. Он был в серой курточке с блестящими пуговицами — бывшей Митиной, в глаженных брюках и туго перстятут ремнем. У него был парадный вид, и я с огорчением подумала, что он уже за тридевять земель от меня, от всего лопахинского... Я не подозревала, что он больше чем когда-либо был полон всем лопахинским в эти минуты.

— Ты сегодня придешь? Дядя будет читать, — сказал он для того, как мне показалось, чтобы сказать что-нибудь.

Я ответила, что непременно приду.

— Ну, как у тебя?

— Точно так же.

— Каждый день?

Это значило, что отец и мачеха пьют каждый день. Я кивнула.

— От этого можно вылечиться, — сказал Андрей, — но они, разумеется, не захотят, потому что им нравится напиваться. Между прочим, это интересный вопрос — роль водки в жизни. Физиологически — это вопрос о поглощении кровью кислорода и влиянии на этот процесс паров алкоголя. А социально — это вопрос... Ты не можешь переехать от них?

— Куда?

— К нам... Хотя, да! — Он поморщился. — Мама стала какая-то странная последнее время.

После Митино отъезда Агния Петровна немного помешалась на том, что у нее выходит слишком много продуктов. Прежде мы с Андреем не говорили об этом.

— Ладно, ничего, — сказала я, — последний год. А там...

— В Москву?

— Нет, в Петроград.

— У тебя есть кто-нибудь в Петрограде?

Я сказала: «Нет», потому что нельзя же было рассчитывать на неведомого Василия Алексеевича, которому мама написала большое письмо и не получила ответа.

Зато в Петрограде находился Институт экранного искусства. Но Андрей еще не знал, что я решила стать киноартисткой.

Он помолчал.

— В декабре я приеду на каникулы, — возразил он серьезно, — и уговорю тебя послать бумаги в Москву. Ты выбираешь Петроград под влиянием литературы. А на деле медицинская жизнь гораздо богаче в Москве.

Мы дошли до пристани и, не сговариваясь, повернули назад. Как обычно в дни сплава, базар с Торговой площади переехал к Тесьме, и на пристани было грязно и шумно.

— Андрей, — начала я с трудом, — мне давно хотелось сказать тебе... Конечно, это покажется тебе неожиданным, хотя на самом деле я решила давно и просто скрывала, потому что боялась, что ребята станут смеяться. И действительно... Возможно, что у меня нет таланта... То-есть я имею в виду театральный талант. Но ты понимаешь...

Андрей слушал спокойно, но когда я сказала о театральном таланте, у него удивленно дрогнуло лицо. Он расстроился, я заметила это сразу.

— Я знаю, ты будешь упрекать меня за то, что я не боролась с этим увлечением. Но мне было стыдно, потому что я столько лет говорила, что пойду на медицинский, а тут вдруг задумала стать артисткой, да еще артисткой кино.

У Андрея снова дрогнуло лицо — и на этот раз с еще большей тревогой.

— Постой-ка, — медленно сказал он. — Но ведь для этого... Ну что получилось бы, если бы я вдруг задумал учиться петь — ты знаешь, что у меня за голос! Нина поступает в консерваторию — так ведь нет сомнений в том, что у нее есть дарование. И то неизвестно, артистическое ли это дарование, потому что есть превосходные певцы, которые совершенно не умеют играть.

— Разумеется! Но ведь если все-таки человек обладает хоть маленьким, хоть самым ничтожным талантом, можно развить его, если упорно работать. Я читала, например, как одна артистка научилась, чувствуя одно, изображать совершенно другое. И ты знаешь, когда я думаю, что нужно стремиться к великому во имя и для счастья народа, — помнишь, мы на Пустыньке говорили об этом? — разве нельзя достигнуть подобной цели, посвятив свою жизнь кино?

Андрей с огорчением пожал плечами.

— Мне кажется, что это происходит как-то иначе, — мягко сказал он. — В этих случаях решение приходит не только логически, а является как бы естественным выводом из наличия таланта. Кажется, Лев Толстой сказал, что писатель — это тот, кто не может не писать... В общем, мне кажется, что ты еще передумашь, Таня.

Я сказала:

— Может быть.

И подумала: «Ни за что!»

Мы снова дошли до пристани и повернули назад.

— Да, это трудно решить, — продолжал Андрей, несколько не сомневаясь, что мы думаем об одном, то-есть о роли

склонности в выборе профессии. — Например, Гурий утверждает, что я хочу заниматься медициной потому, что у меня пантеистическое отношение к природе. Это ерунда, поскольку пантеизм — обожествление природы, а я намерен ее изучать.

Мы были теперь на «утюге» — так называлось самое высокое место набережной, здесь Тесьма огибала ее под углом. С «утюга» была видна Пустынька, и я засмотрелась на купол монастырской церкви, то сверкавший, то темневший, когда облака останавливались между ним и солнцем. Непонятно, почему мне вдруг захотелось плакать. Но я подумала, что, напротив, понятно: уезжает мой лучший друг, с которым я всегда советовалась в сомнительных случаях жизни, который любил повторять: «Только простое может бросить свет на сложное», и был совершенно прав. И вот теперь это «простое», бросавшее свет на все мое «сложное», покидает меня, а сомнений с каждым днем становится все больше и больше...

— Что с тобой? Ты плачешь? — Он осторожно взял мои руки в свои. — Тебе грустно, что я уезжаю?

Я не смотрела на него, но у него стал такой голос, что я посмотрела. Андрей был какой-то другой, не такой, как всегда, — побледневший, с сияющим взглядом. Он был какой-то летящий, точно ему ничего не стоило подняться в воздух и полететь над Тесьмой.

— Таня... Ты не знаешь...

И он быстро приложил мои руки к щекам. Это было так странно, что на мгновение я перестала реветь, хотя слезы время от времени продолжали капать. Я отняла руки, и Андрей мгновенно стал прежним Андреем, как будто кто-то сильно дунул и погасил свет в его широко открытых глазах.

Это и было самое главное, что произошло во время нашей встречи. Мы гуляли еще довольно долго, и, между прочим, когда возвращались домой, я сама взяла Андрея под руку, но ничего не случилось, кроме того, что он стал смотреть перед собой совершенно прямо, а я шла некоторое время, чувствуя, что моя рука лежит на чем-то деревянном, согнутом под прямым углом.

К десяти часам я была на складе, и дальше день прошел, как всегда: я читала, составляла библиотечку для рабфака, готовилась к зачету по тригонометрии, который был отложен по моей просьбе на осень. Но ко всему, что я ни делала, кстати и некстати присоединялась мысль об этой странной минуте — как под музыку, когда слушаешь, а сама думаешь о чем-то своем. Сама не знаю, почему я вспомнила свое прошлогоднее объяснение с Володей.

Это было чудное, благородное объяснение, и я держалась

прекрасно, потому что все было ясно: что говорить Володе, а что — мне. А тут ничего не было ясно! Ведь Андрей не сказал, что любит меня.

Из рабфака пришли за библиотечкой, я выдала и продолжала думать... Да, не сказал! Так почему же, вспоминая об этой минуте, я чувствовала себя странно, неловко? Почему, когда я представляю себе объяснение с Андреем, меня немного трясет, и я ничего не могу придумать, кроме того, что ведь он же сам говорил, что любовь — это власть женщины над мужчиной?

Я думала об этом весь день и, замучившись, решила, в конце концов, что было бы гораздо лучше, если бы Андрей остался тем самым Андреем, с которым мы знакомы с детских лет и который некогда с моей помощью усыплял тараканов...

Кажется, я не очень внимательно слушала старого доктора, хотя лекция была интересная. Андрей, по-моему, тоже не слушал. Мы простились в передней. Он сказал, что напишет мне, как только приедет в Москву. Я вышла и подумала: «Вот и все».

Было уже поздно, стемнело, я шла домой, и ласточки, которые скоро тоже должны были улететь из Лопехина, вились низко над старой часовней. Вот и все! Отец и мачеха, должно быть, уже сидят и пьют. Можно подумать, что как они в день приезда уселись за стол, на котором стояла бутылка, консервы, тарелка с крупно нарезанным хлебом, так и не вставали. Я прошла прямо к Марии Петровне — последнее время мне часто приходилось ночевать у нее — и легла на диван, не зажигая огня. Вот и все! Транзитный поезд Архангельск—Москва пройдет через станцию Лопехин в два часа ночи, а сейчас у «депо» стоит извозчик, и Агния Петровна, которая сердится, когда чужие видят, как ей трудно расставаться с детьми, гордо закинув голову, стоит у подъезда. Андрей неловко целует ее. Он садится, извозчик дергает вожжами, и вот медленно начинают двигаться по правую и левую руку старые-престарые, знакомые-презнакомые дома, сады и заборы. Развьяжская, Большая Михайловская, Спуск проходят и исчезают. Кто знает — может быть, навсегда?

У меня глаза были полны слез, и я не обратила внимания на стук, доносившийся с лестницы, точно кто-то тяжело застучал сапогами. Входная дверь у нас не запиралась, и хотя этот тяжелый стук не был похож на шаги Марии Петровны, я все-таки решила, что это вернулась она. Но это была не она. Кто-то постучал в дверь моей комнаты, и отец сказал громко: «Тани нет дома». Я вскочила и распахнула двери. Это был Андрей. Он стоял на верхней ступеньке лестницы в пальто, в высоких

сапогах, без фуражки, и у него был нерешительный, растерянный вид.

Не помню, что я сказала, — кажется, просто «Андрей!», а он: «Таня!» Потом он бросился ко мне и обнял — так крепко, что даже немного приподнял над полом. Мы поцеловались и стали что-то быстро, бессвязно говорить друг другу. Вдруг он сказал прерывающимся голосом: «Не забывай!»

И побежал по лестнице. Я бросилась к себе, хотела подать ему что-нибудь на память, не нашла, торопливо спустилась вниз. Пролетка уже заворачивала на Спуск, и извозчик высоко поднимал вожжи, готовясь придержать коня.

ЗАБОТЫ

Почему мне кажется, что странное чувство полета, не оставлявшее меня всю зиму двадцать второго — двадцать третьего года, появилось в душе еще до отъезда Андрея? Но оно было туманное до той минуты, когда я выбежала вслед за ним и увидела пролетку с откинутым верхом, поворачивающую на Спуск. Как будто, выбежав, я рванулась вперед — и вдруг поднялась в воздух, чтобы увидеть будущее, открывшееся там, где-то далеко за Спуском.

Это была трудная зима. Вокруг Лопехина в лесах появились банды, остатки «зеленых», и против них приходилось вести настоящую войну, с облавами и засадами. Комсомольцы не были мобилизованы, но многие пошли добровольно, потому что воинская часть, стоявшая в Петрове, к тому времени была переброшена и милиции не хватало. Я тоже хотела записаться, но девушек не принимали. В общем, банды были ликвидированы в несколько дней, и наши ребята вернулись благополучно, а из заводских погиб Шура Власов, тот самый петроградский комсомолец, который был членом заводского управления.

* * *

Практическая комсомольская работа, о которой постоянно твердили мальчики, началась сразу после их отъезда. Осенью представители РКСМ вошли в уездный отдел народного образования и пришлось серьезно заняться работой в школе, тем более что привлечению учащихся в комсомол придавалось большое значение. К ликвидации неграмотности присоединилась ликвидация политической неграмотности, и в связи с этим мне поручили прочитать доклад о «Генуе», то-есть о происходящей в Генуе конференции капиталистических стран.

На мой доклад в комсомольском клубе пришли рабочие кож-завода, и хотя я немного тряслась — в глубине души таилось, то падая, то поднимаясь, счастливое чувство полета.

В середине года был назначен новый директор, поразивший нас, между прочим, тем, что с первого слова предложил комсомольской ячейке, прежде чем решать международные вопросы, навести порядок в собственном доме, а именно: вымыть полы и стены, починить и покрасить парты. Потом он объявил, что главная задача школьника заключается в том, что он должен учиться, и хотя на собрании всего коллектива раздались голоса, что таким образом можно скатиться к старой, дореволюционной школе, в которую тоже ходили, чтобы учиться, точка зрения нового директора победила, и начались регулярные занятия в две смены, согласно расписанию, вывешенному в раздевалке.

Разумеется, школьные занятия, которые в конце концов стали отнимать почти все мое время, очень заботили меня в ту памятную зиму. Но были и другие волнения, другие заботы.

Была, например, забота, просыпавшаяся прежде меня. Отец! На ощупь, с закрытыми глазами начинал он шарить на столе приготовленную с ночи бутылку. Весь день он бродил по комнате, по дому, по городу, а вечером, помолодев, повеселев, с лихо закрученными усами, с красным, сияющим носиком садился за стол. Он приходил ко мне на склад и долго, с туманным выражением гордости следил, как я читаю, составляю конспекты, решаю задачи. Вдруг он начинал хвастать мною перед своими гостями, среди которых самым почтенным был нэпман-кондитер, открывший в Лопяхине булочную «Симон».

Первое время мне казалось, что отец очень доволен своей судьбой — почему-то это больше всего раздражало меня. В самом деле, ему нравилось все, что он делал: от своих рассказов он был, например, в восторге. Он гордился своим политическим прошлым и был, кажется, искренне уверен, что если бы не он, партизанское движение на Амуре было бы подорвано в самом начале и Дальний Восток навсегда остался бы в руках интервентов и белых. Все, что ни происходило в мире, имело прямое отношение к нему — будь то переезд патриарха Тихона в Донской монастырь или бегство из Константинополя султанской фамилии. В особенности волновался он по поводу «живой церкви»; однажды даже проснулся ночью и сказал торжественно:

— Ну, теперь царству князей церкви конец!

Два-три раза в неделю, принарядившись, побрившись, лихо закрутив усы, под руку с Авдотьей Никоновной, он отправлялся в городской суд. Это было главное развлечение. Из суда

они возвращались оживленные, довольные и весь вечер, перебывая друг друга, горячо обсуждали приговор; причем Авдотья Никоновна, особенно если судили женщину, неизменно требовала более сурового наказания.

Словом, это были счастливые люди. Деньги, которые они привезли с Амура, подходили к концу, но и это мало беспокоило их. Авдотья Никоновна была суеверна и первое время боялась, что мама может явиться ночью и сделать с ней что-нибудь — задушить или выгнать. Но потом она, очевидно, справилась со своими опасениями, потому что из комнаты стали постепенно исчезать мамины вещи. Я сказала об этом Марии Петровне, и она взяла к себе на хранение кашемировую шаль, серьги и книги. Между прочим, это произошло в присутствии отца, и он ничуть не смутился, а только зажмурил один глаз и спросил:

— Во избежание цапе?

Но вот однажды, ложась спать, я нашла под подушкой следующее письмо:

«Ненаглядная дочь! На свою жизнь гляжу с отвращением. Хоть пулю в лоб, не боюсь, да, видно, смерть боится меня. Одиноко с женщиной, которая всю жизнь была крупной кухаркой — и только. Я просто высох, как скелет, страдая очень тяжело, мне стыдно, что я, твой отец, гублю тебя, бедняжка.

Твой отец».

Я не ответила на это письмо и через несколько дней получила второе, потом третье. Конечно, это были смешные письма — хотя бы потому, что почти в каждом письме он сообщал, что ему «живется все хуже и хуже», как будто мы были за тридевять земель друг от друга. Но было в них и что-то очень грустное, так что теперь, глядя на отца, я начинала смутно догадываться, что он не так уж счастлив, как могло показаться с первого взгляда.

Однажды мы остались одни: Авдотья Никоновна отправилась в гости. У меня немного болело горло, весь день я занималась дома, а к ночи прилегла с книгой и задремала, прислушиваясь к монотонному шуму дождя. Ветер то утихал, то с силой бросал дождь на крышу, и, открывая в полусне глаза, я видела отца, который, опустив голову, ходил из угла в угол, время от времени оглядываясь на меня с робким и беспокойным выражением. Наконец, похлопывая себя двумя пальцами по губам, он остановился подле моей постели. Казалось, он хотел заговорить со мной, но в это мгновение, сама не зная почему, я крепко зажмурила глаза и притворилась спящей. Ветер снова налетел, дождь пронесся по крыше, затих, и когда

я открыла глаза, отец на коленях стоял подле меня и плакал. Я сказала дрожащим голосом:

— Встань, папа.

Не помню, что он стал говорить, наверно что-нибудь глупое или смешное. Все равно это была минута, когда я поняла: пьет он или не пьет и как бы ни был жалок — это мой отец, о котором я не могу не заботиться и который любит меня.

Трудно даже сказать, в чем изменились после этого вечера наши отношения. Но они изменились. Я почувствовала это, когда на другой день он впервые заговорил со мной о маме...

Но была у меня и другая забота — та, которая незаметно вошла в мою жизнь и осталась в ней навсегда. Та, которая вместе со мной переходила из одной поры в другую: из юности — в молодость, из молодости — в зрелые годы. Та, которая трагически оборвалась в один из самых печальных дней моей жизни, чтобы через несколько лет явиться в новом образе — величественно-глубоком. Старый доктор — так называлась эта большая забота.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Попрежнему я бывала у него по воскресеньям и четвергам. Курс кончился, но как-то, заметив, что доктору трудно писать — у него стали получаться длинные, дрожащие буквы, похожие на славянскую вязь, — я предложила писать под его диктовку, и с тех пор два вечера в неделю мы проводили за работой: он диктовал, а я записывала и потом читала вслух каждую страницу.

Теперь многое стало для меня гораздо яснее, и «теория защитных сил организма» стала представляться менее туманной, чем прежде. Но чем больше я понимала старого доктора, тем меньше могла справиться с недоверием, неизменно охватывавшим меня, когда начинался разговор о зеленой плесени, которой он с каждым днем придавал все больше значения. Все-таки это было очень похоже на «навязчивую идею» — есть такая психическая болезнь, от которой очень трудно вылечиться на старости лет. Но, словно догадавшись о моем недоверии, он продиктовал мне однажды целую главу о чудесах науки. Суть ее заключалась в том, что почти все величайшие открытия сперва казались современникам чудесами. Но прошли годы, и оказалось, что это были мнимые чудеса, которые объяснялись, в общем, довольно просто. «И необычайное имеет право на признание» — этой фразой, тоже очень простой, заканчивалась глава о чудесах науки...

Новый директор школы однажды зашел к старому доктору и просидел целый вечер. Между прочим, он оказался учеником одного товарища Павла Петровича по университету, так что это был интересный разговор о той истории, из-за которой Павел Петрович когда-то был выслан из Петербурга. Директор познакомил Павла Петровича с председателем Лопехинского горсовета, очень живым и оригинальным человеком, и председатель заинтересовался «трудом» Павла Петровича и предложил выпустить его в издательстве Уполитпросвета, хотя подобная книга по своему объему должна была составить почти три четверти годового плана. Но Павел Петрович поблагодарил и отказался.

— Работа еще не закончена. Самое главное — впереди, — сказал он. — Кроме того, я еще не потерял надежды получить ответ от Р., которому послан краткий очерк работы.

Словом, бывали вечера, когда старый доктор даже отменял наши «диктовки», потому что у него собирались эти уважаемые люди. Но вот пришел день, когда я встретила у него человека, которого едва ли можно было назвать уважаемым.

Это было в канун нового, 1923 года, и я забежала к Павлу Петровичу днем, потому что вечером в Доме культуры был костюмированный бал, и мы с Леночкой Бутаковой придумали явиться в виде Татьяны и Ольги. Без сомнения, я была глубоко занята обдумыванием этого важного дела, иначе с первого взгляда узнала бы полного человека в прекрасном сером костюме, который вышел из комнаты старого доктора и остановился в передней, чтобы снять с вешалки шляпу.

Агаша тоже стояла в передней, и, обернувшись, я заметила, что он сунул ей в руку смятую бумажку — кажется, деньги, — нечто знакомое почудилось мне в этом движении. Потом, надев шляпу и взяв трость, он в распахнутом пальто двинулся к двери, и я вдруг поняла, что это Раевский.

Я не видела его с тех пор, как сани, в которых лежала полумертвая Глашенька, стояли у нашего дома в посадке, и он, пугливо оглядываясь, застегивал полость — застегивал, и что-то подлое было в этих путающихся, дрожащих движениях. С тех пор из толстого, неуклюжего гимназиста он превратился в солидного мужчину, прекрасно одетого, в пальто с меховым воротником шалью, в шляпе, небрежно откинутой на затылок. Но что-то подлое осталось, и я невольно подумала об этом, хотя он только мелькнул и исчез за распахнутой дверью.

— Павел Петрович, вы знаете, кто был у вас? — закричала я, вбежав в комнату старого доктора.

— Да, Таня.

У него был очень расстроенный вид.

— Раевский!

— Да, да.

— Зачем он приходил? Кто он теперь? Так одет прекрасно. Он будет жить в Лопяхине? Вы разве были знакомы?

— Нет, — сказал Павел Петрович. — Он, повидимому, издатель... То-есть владелец издательства.

И он показал мне сложенный пополам кусочек картона, на котором были напечатаны названия книг и наверху большими буквами: «Издательство «Время».

— Он хочет издать ваш труд?

— О нет! — отвечал Павел Петрович.

Всегда я смело спрашивала его, чем он расстроен, и он отвечал, потому что огорчения были связаны с его теперешней жизнью, проходившей перед моими глазами. Но с детства я знала, что у него были еще и другие, особенные огорчения, о которых он никогда не упоминал, — огорчения, касавшиеся того далекого, забытого мира, в котором некогда жили высокий, широкоплечий господин, стоявший на мосту над рекой, и дама с темными глазами, любившая сниматься в таких необычайных нарядах. Мне показалось, что сейчас Павел Петрович расстроен чем-то, пришедшим оттуда, и хотя было очень интересно узнать, при чем здесь Раевский, лучше было ничего не спрашивать. И я не спросила.

Мы поздравили друг друга с наступающим Новым годом, и, с трудом разобравшись в своих записках, Павел Петрович стал диктовать.

...Это было часа в три ночи. Мы возвращались из Дома культуры, и у всех девочек так болели ноги от танцев, что хоть снимай туфли и иди в чулках по сияющему, голубому, в искорках, снегу. Леночка Бутакова заговорила о гадании, и оказалось, что никто не знает, когда полагается спрашивать у прохожего имя; одни говорили, что под Новый год, а другие — в сочельник. Мы шли по Овражкам, спорили, громко смеялись — и невольно присмирели, когда какой-то человек показался вдали, на пустынной набережной, пересеченной косыми тенями деревьев.

— Ну что, девочки, слабó спросить? — сказала Леночка.

Единственный фонарь горел на Овражках, и когда скрывалась луна, его свет казался большой воронкой, в которой, крутясь и падая, мелькали снежинки. Мы приближались с противоположных сторон — мы и этот человек, у которого был какой-то не лопяхинский вид.

— Эх вы, трусихи!

И когда между ним и нами оставался только свет фонаря, Леночка выступила вперед и спросила звонким голосом:

— Как ваше имя?

Это было мгновение, когда все произошло одновременно: я негромко вскрикнула, узнав Раевского, девочки засмеялись и стали прятаться друг за друга, и луна вышла из-за облаков — как будто нарочно для того, чтобы осветить это полное лицо, на котором появилось ироническое выражение.

— Позвольте узнать, с какой целью вам угодно узнать мое имя? — неторопливо спросил он. — Не думаете ли вы, что если бы даже меня звали Лоренцо Великолепный, вы избежали бы печальной участи стать женой какого-нибудь Федьки или Васьки?

Он коротко засмеялся и двинулся дальше, а мы остались стоять. Нельзя даже сказать, что мы обиделись — это было что-то совсем другое. Как будто пропасть открылась между этим человеком и нами и на том краю он стоял и грозился — кому, за что? Девочкам, которые никому не хотели зла и шли домой после бала и просто расшалились, потому что никто, разумеется, не верил в это смешное гаданье!

Давно исчезла вдали угловато-шагающая фигура, давно мы говорили о другом, а в душе все оставалось неприятное чувство, точно в темноте новогодней ночи мы наткнулись на что-то скользкое, упругое, мимоходом ужалившее нас и проскользнувшее мимо.

СТАРАЯ ИСТОРИЯ

Я не торопилась проснуться, потому что день Нового года всегда был какой-то нескладный. Но мне почудилось, что надо мной говорят о Лоренцо Великолепном, и хотя я знала, что еще можно спать и спать, глаза открылись сами собой. Да, говорят! Правда, не о Лоренцо Великолепном, но все равно это был голос Раевского — вот что меня поразило.

Еще минуту я лежала, прислушиваясь, потом вскочила и между створками ширмы увидела отца, который стоял перед кем-то, склонив голову набок и потирая руки.

— Таня, а ведь тебя ждут, — сказал он, услышав, что я проснулась.

— Меня?

— Да... Виноват, как имя-отчество?

— Сергей Владимирович.

— Вставай, вставай, ленивица, — фальшивым голосом сказал отец. — Сергей Владимирович, может быть, угодно чаю?

У меня дрожали руки, когда я одевалась, и в голове вдруг стало шуметь от волнения. Раевский пришел ко мне? Это еще что за новости? И с какой стати отец говорит таким фальшивым голосом и так противно потирает руки?

Очевидно, я вышла из-за ширмы с очень гордым видом, по-

тому что Раевский усмехнулся. Ох, лучше бы он не усмехался! Мне захотелось убить его, когда я увидела эту усмешку. Но он вежливо встал и поклонился.

— Здравствуйте, Таня, — сказал он. — Мы разбудили вас? Я ответила холодно:

— Ничего, пожалуйста. Чем могу быть полезной?

Раевский внимательно посмотрел на меня. Не знаю, угадывал ли он, что я его ненавижу, но на его полном лице с моргающими глазами появилось озабоченное выражение.

— Я слышал, — начал он, — что вы хорошо знакомы с Павлом Петровичем Лебедевым, которому в Лопахине я прежде всего засвидетельствовал свое глубокое уважение. Теперь вам предоставляется возможность сказать ему большую услугу.

Он помолчал.

— Эта история началась давно, в восьмидесятых годах прошлого столетия, когда не только вас, но и меня, разумеется, не было на свете. В эти далекие времена жила-была знаменитая актриса, которую знал и уважал каждый образованный человек в России. Звали ее Ольга Петровна Кречетова — без сомнения, вы слышали это имя?

— Да, слышала.

Я не только слышала о Кречетовой, но много читала. Например, в книге «Знаменитые актеры и актрисы» ей была посвящена целая статья, причем автор утверждал, что Кречетова играла так хорошо, что драматурги писали для нее специальные роли, — вот уж чему было трудно поверить!

— Мне случалось видеть ее, когда она была уже пожилой женщиной, — продолжал Раевский, — и могу сказать, что ее игра оставила незабываемое впечатление. Более тридцати лет она играла на сцене Александринского театра...

Отец слушал его, открыв рот — не в переносном, а в буквальном смысле этого слова. Видно было, что Раевский не просто нравился ему, но поразил в самое сердце. Я не выдержала наконец и, подойдя к нему сзади, сказала шопотом:

— Папа, подожди меня, пожалуйста, у Марии Петровны.

Он испуганно оглянулся, кивнул и вышел.

Это произошло как бы между прочим, и Раевский не слышал, что я сказала отцу. Но, должно быть, он вообразил, что я нарочно выпроводила его, чтобы дать ему, Раевскому, возможность говорить со мной откровенно, потому что из любезного, солидного человека, говорящего фальшивым голосом длинные фразы, он вдруг превратился в того угловатого, мрачно-иронического субъекта, которого мы встретили ночью.

— Ну, вот что, — отрывисто сказал он: — я здесь не для того, чтобы тратить время на воспоминания. Дело обстоит значи-

тельно проще. Во оны времена старик переписывался с Кречетовой, и у него сохранилась пачка ее писем. Мне нужны эти письма. Они должны быть у меня самое позднее — завтра. Условие — пятерка письмо. Задаток — сегодня.

Это было ужасно, что я так растерялась! Но я растерялась не только потому, что он ошеломил меня своей наглостью, но и потому, что тысячи догадок мгновенно мелькнули передо мной. Так вот кто эта красивая дама с темными глазами, любившая сниматься в таких необычайных нарядах! Вот почему старый доктор никогда не говорил о своей любви — это было горькое воспоминание!

— Ну-с? — пахально моргая, спросил Раевский.

Я закричала:

— Пошли вон!

Нужно было сказать: «Пошел вон!» Это было глупо, что я гнала его и в то же время обращалась на «вы». Но мне было не до грамматики. У меня все дрожало в душе, и казалось, что будет чудо, если я сейчас не ударю его лежащим на окне медным пестиком, которым Авдотья Никоновна всегда колола орехи...

* * *

— Павел Петрович, вы только подумайте, он был у меня!

Доктор дремал, когда я вбежала к нему, не раздеваясь, и не сразу очнулся — прежде сделал рукой козырек над глазами и посмотрел на меня:

— Кто был?

— Да Раевский же! Он подговаривал меня, чтобы я у вас письма стащила! Ему зачем-то нужны письма Кречетовой. Он меня уверял, что она вам писала. И кто мог его направить ко мне? Я видела, как он Агаше деньги совал! Какой негодяй! Я его выгнала, а он не ушел, то-есть ушел, но к Марье Петровне, и они там с отцом еще целый час говорили. Тьфу, толстая, противная рожа! Павел Петрович, это правда, что она вам писала?

— Да, Таня, — сказал старый доктор. — Мы когда-то были друзьями.

Он не очень расстроился, только удивился, когда я сказала, что Раевский был у меня.

— Но зачем... зачем ему эти письма?

— Он хочет издать их.

— Как — издать? Напечатать?

— Ну да.

— Как же он смеет издавать личные письма?

— Видишь ли, это была знаменитая актриса. И теперь, когда она умерла... (мне показалось, что он с трудом выговорил

последнее слово) разные ничтожные люди пытаются... ну, хоть заработать на ее имени, что ли... Об этих письмах никто не знает, потому что... это действительно личные письма. И вот разные темные дельцы вроде этого Раевского...

Он задумался, потом окончил печально:

— Когда я умру, Таня, ты сожги эти письма.

— Полно, Павел Петрович, — я поцеловала его, — не будем больше говорить об этом. А если Раевский еще раз придет, все равно ко мне или к вам, мы скажем Иванову (это была фамилия председателя горсовета), и пускай он распорядится, чтобы Раевского посадили в тюрьму. Ведь это преступление — то, что он мне предлагал! Вы бы слышали, как он со мной разговаривал! Это человек двухличный.

— Двухличный.

— Ну все равно, двухличный. Чорт с ним! Помнится, вы меня учили, что, когда в жизни случается неприятность, нужно только объяснить себе ее причину — и на душе сразу станет легче. Я объяснила?

— Да.

— Ну вот, а теперь давайте работать...

Но от Раевского не так-то легко было отделаться, и я потом пожалела, что действительно не сказала о нем председателю горсовета. Ко мне, правда, он больше не приходил, но у доктора был еще два раза, и в конце концов Агния Петровна при мне строго-настрого сказала Агаше, чтобы она больше на порог не пускала этого «проходимца».

РЕШЕНИЕ

Теперь, сидя у Павла Петровича, я уже с другим чувством смотрела на фотографии дамы с темными, грустными глазами. Что помешало ей выйти замуж за Павла Петровича в те времена, когда он был молод и хорош собой? Очень хотелось спросить об этом у старого доктора, но я не решалась и только перечитывала без конца статью о Кречетовой в книге «Знаменитые актеры и актрисы».

Потом я нашла еще несколько книг, в которых рассказывалось о ней, и постепенно ее жизнь открылась передо мной — разумеется, не вся жизнь, а лишь внешняя сторона, за которой трудно было угадать, что составляет настоящее содержание жизни. Оказывается, с восьми лет она участвовала в спектаклях; причем один автор рассказывал, как, изображая в трагедии «Уголино» одного из умирающих от голода мальчиков, она заметила, что ее подруга, вместо того чтобы «мучиться от голода», спокойно уписывает кусок пирога. Это так не понравилось

маленькой артистке, что недолго думая она вырвала пирог и бросила за кулисы. Подруга стала плакать, и режиссеру пришлось потихоньку убрать ее со сцены.

Другой автор написал, что Кречетова была натурой «чисто женственной» и что в каждой роли она не только находила симпатичные черты, но выдвигала их на первый план, «стараясь в сердце зрителя вызвать сострадание даже к такой грешнице, как леди Макбет». Всего она сыграла около трехсот ролей. Трехсот! Это было почти невозможно представить. Сколько душевных сил нужно, чтобы сыграть триста ролей, если мне для единственной — правда, немой, но все-таки хорошей роли — пришлось буквально потерять равновесие духа!

Да, теперь я не сомневалась, что можно совершить великое, посвятив свою жизнь театру. Недавно в газете «Искусство Коммуны» я прочитала, что самым важным для нас искусством Ленин считал кино, и мне стало казаться, что ответ этого имени лежит на моей тайне, о которой я до сих пор никому, кроме Андрея, не сказала ни слова.

Давно уже разделила я свой день, а теперь и ночь, потому что дня не хватало. Утро, когда приходилось комплектовать и выдавать книги, было отдано школьным предметам. После обеда я отправлялась в школу, а вечером... о, вечером начиналось самое главное! Крадучись, чтобы никто не видел, я возвращалась в подвал, запирала тяжелую железную дверь, заслоняла большой гравюрой окно, чтобы с улицы не увидели света, и принималась за подготовку в Институт экранного искусства.

Это было очень трудно, главным образом потому, что из книг по кино у меня была только серия «Синема — чудо XX века», а все другие — по драматическому театру. Для подготовки в Институт экранного искусства важнее всего была мимика, а в этих книгах о ней не говорилось ни слова. Наконец я нашла то, что нужно: «Хрестоматию для упражнений в словесном и мимическом выражении чувств», и с этого дня моя жизнь таинственно раздвоилась, потому что я стала выдумывать и исполнять «этюды».

Что же такое были «этюды» и почему для будущей артистки кино они имели такое большое значение? Этюды, или монопьесы, были, как утверждала хрестоматия, самым верным средством, чтобы сознательно усвоить законы, управляющие языком телодвижений.

Большинство этюдов начиналось со слов: «Представьте себе, что...» И я представляла. Чего я только не представляла! То мой подвал превращался в дом Ростовых из «Войны и мира», а я — в Наташу, с трепетом ожидавшую Анатоля Курагина, который должен похитить ее. То подвал оставался подвалом, но

зато я становилась Скупым рыцарем, который дрожащими руками зажигал свечи и открывал свои сундуки один за другим. Это были этюды из литературы, а из жизни, тоже хорошие, я придумывала сама.

В складе было холодно, время от времени приходилось бегать, хлопая спереди и за спиной руками, как это делают извозчики, чтобы согреться. Кроме того, той зимой мне ежеминутно хотелось есть, так что я даже пугалась иногда, что заболела какой-то неизвестной болезнью. Но что значили эти мелочи в сравнении с фантастическими переходами из одного существования в другое, с переходами, от которых все больше и больше разгоралось в душе счастливое чувство полета!

* * *

Настало то время, когда каждое утро начиналось с метели, а в полдень была уже оттепель, и хрупкий, потемневший снег оседал на глазах — так у нас в Лопахине начиналась весна.

У доктора было холодно, и когда я вошла, он сказал, что лучше мне остаться в пальто. Он тоже накрылся пальто, даже забрался в него с головой, и диванная подушка лежала на его коленях, укутанных шалью. Но у него был хитрый вид — это меня удивило, — и глаза из глубины пальто блестели по-детски лукаво.

Мы не стали писать в этот день: я опоздала, и доктор, должно быть, успел уже изложить свои мысли, потому что исписанный лист бумаги лежал перед ним на столе.

— Сегодня думал о своей жизни, — поглядывая с довольным видом на этот лист, сказал он, — занятие, которому, между прочим, не предаюсь почти никогда. А ты, Таня?

— Наоборот, очень часто.

Я устроилась на скамеечке, и мне захотелось спать.

— Это преимущество молодости, — продолжал Павел Петрович, — а старики, уверяю тебя, заняты в большей степени настоящим, чем прошлым. Так вот что пришло мне в голову, Таня: что я прожил не одну, а несколько жизней, выключавших друг друга. Моя молодость — это была молодость одного человека, зрелость — другого, а старость — третьего... Подай мне, пожалуйста, лупу.

Я подала ему лупу, и он, все с тем же веселым выражением, через лупу стал рассматривать лежавшую перед ним страницу. Меня заинтересовала эта страница, но я поленилась вставать — уж очень удобно было дремать на скамеечке, поджав под себя ноги и укрывшись пальто.

— Не помню, где я читал, — продолжал Павел Петро-

вич, — что известный поэт Рембо впоследствии стал спекулятором, даже, кажется, работником и больше уже ничего не писал. Значит, у него было две жизни, причем вторая исключила первую и полностью заняла ее место. А у меня целых три, — с детским удовольствием сказал доктор, — и за третью, чорт побери, я, не задумываясь, отдаю и первую и вторую!

Я подумала, что к первой жизни, очевидно, относится фото, на котором высокий, широкоплечий господин, легко опершись на перила, стоит над рекой; и другие фото — красивая дама, любившая сниматься в таких разнообразных костюмах; и то, о чем Павел Петрович редко рассказывал, — Петербургский университет, работа над научными переводами, столкновение с каким-то профессором Ционом; и участие в политической демонстрации, когда его лишили права преподавания и выслали в маленький городок. Вторая жизнь — это был Лопехин, когда, стуча палками, он бродил по дому в измятых штанах, засунутых в огромные боты, когда, согнувшись, он писал свой «труд» — в пустоте, в одиночестве, как на дне глубокой реки. А третья? Третья началась после революции, когда в душе вдруг вспыхнула и ярко разгорелась надежда, что его «труд» будет оценен по достоинству и принесет пользу народу.

Я спросила:

— Третья — это то, что происходит теперь?

— Да, — серьезно ответил Павел Петрович. — Это надежда, без которой очень трудно не только работать, но и жить. Это изучение той роли, которую защитные силы организма играют в жизни людей. Это открытие, которое нельзя рассматривать иначе, как успех материалистической науки, как появление нового поля для эволюционной теории.

Интересно, что эту фразу он до половины сказал, а потом через лупу прочитал все на той странице, от которой положительно не мог оторваться. Наконец я не выдержала, поднялась и через плечо Павла Петровича взглянула на эту страницу. «Дорогой Владимир Ильич, — прочла я с изумлением, — долго не решался я...»

Шум подкатившей пролетки послышался у подъезда, и чей-то женский негромкий, уверенный голос, от которого мое сердце почему-то пугливо забилося, сказал извозчику:

— Подай чемодан.

Я еще читала письмо, но уже не понимала ни слова.

— Кажется, кто-то приехал? — тревожно спросил Павел Петрович.

— Глафира Сергеевна приехала.

Ничуть не торопясь, я взглянула в окно и пошла открывать двери — кроме нас с доктором, никого не было дома.

Очевидно, все это было обдуманно заранее, хотя мне показалось странным, что Агния Петровна, с которой я встречалась почти каждый день, даже не заикнулась ни разу о своем переезде в Москву. Впрочем, последнее время у нее был расстроенный вид, она жаловалась на бессонницу, похудела. Прежде ее гордое лицо сразу менялось, едва она снимала пенсне и открывались светлые добрые глаза с немного испуганным выражением. Теперь и в пенсне она стала казаться испуганной, оскорбленной. Без сомнения, Митя давно предлагал матери переехать к нему в Москву, но она колебалась, взвешивала, не решалась — по многим причинам, одна из которых теперь явилась передо мной в виде молодой женщины, одетой в прекрасное синее пальто с меховым воротником и в котиковую, небрежно сдвинутую назад шапку с ушами...

Каждый раз, когда я видела Глафиру Сергеевну, она казалась мне не похожей на ту, которую я видела прежде. Но никогда еще это несходство так не поражало меня, — едва войдя в дом, она объявила, улыбаясь, что приехала за мамочкой — так она называла Агнию Петровну. Я видела ее хрупкой девушкой, нерешительной, с несмелыми движениями, которые были полны прелестью молодости и чистоты. Я видела ее потрясенной, стремящейся вырвать у судьбы свое печальное, страшное счастье. Я видела ее молчаливой, разбитой, идущей поближе к стенам домов, чтобы лишней раз никто не заметил ее, не подумал о ней. Теперь в Лопяхин приехала уверенная, властная женщина, вежливо, но нехотя улыбающаяся, в то время как большие глаза оставались неподвижно мрачными на красивом, бледном лице.

Она много говорила о Мите, но почему-то получалось, что она все время говорит о себе. Не кто другой, как она, убедила его поступить в частную лечебницу — это хорошо оплачивалось, — в то время как Митя собирался работать в научно-исследовательском институте. Словом, если судить по этим рассказам, Митя пропал бы в суматохе столичной жизни, если бы она не поддержала и не вразумила его.

— Но что касается ваших, мамочка, дел, — твердо сказала она Агнии Петровне, — я выполняю его пожелания, и только.

Это значило, что Митя просит, чтобы Агния Петровна немедленно переехала в Москву, предоставив Глафире Сергеевне распорядиться лопяхинской квартирой по своему усмотрению. «Митя сказал», «Митя думает», «Митя пишет», — слышалось почти в каждой фразе. И Агния Петровна, к моему изумлению, покорно подчинялась всему, что требовала от нее Глафира Сергеевна.

С чувством горечи наблюдала я, как эта женщина, еще недавно такая дельная, решительная, гордая, умевшая так спокойно держаться, поддавалась чужому влиянию. Должно быть, она устала очень давно, много лет назад, и долго не признавалась себе, что устала, и теперь в глубине души была даже благодарна «молодым», которые с такой готовностью взяли на себя все домашние дела и заботы. Я думаю, что за эти несколько дней она сделала больше ошибок, чем за всю свою жизнь. И самой большой, самой непоправимой из них была та, что она уехала, поверив Глафире Сергеевне, что Павел Петрович останется у себя, в своей комнате, и будет жить так же, как прежде, под присмотром Агаши.

— Можете совершенно не волноваться, мамочка, — это было сказано при мне. — Митя говорил, что дядю нужно устроить. И я устрою его наилучшим образом, хотя бы для этого пришлось остаться еще на несколько дней.

И Агния Петровна уехала утром шестого февраля, а вечером, когда я, как всегда, зашла к старому доктору, Агаша, расстроенная, заплаканная, позвала меня и сказала, что Глафира Сергеевна собирается отправить его в Дом инвалидов.

На первый взгляд это было разумно — почему бы старому человеку не провести последние годы жизни в инвалидном доме? В бывшем особняке купца-миллионера Батова был недавно открыт хороший Дом инвалидов. И все-таки отправлять туда Павла Петровича было жестоко. Ведь последние годы или, может быть, месяцы своей жизни он должен провести один, лишенный всего, к чему он так привык.

Очевидно, это не приходило в голову Глафире Сергеевне, потому что она отправилась в Дом инвалидов и, вернувшись, сказала, что «все устроено» и что «там очень прилично».

Она почти не замечала меня — как личность, не имеющую отношения к ее делам и, следовательно, не заслуживающую внимания. Агашу, которая прослужила у Львовых чуть ли не двадцать лет, она предупредила о расчете и сама хозяйничала в доме, из которого каждый день что-нибудь выносили — мебель она решила продать, а в Москву увезти только пианино, посуду и книги. Засучив рукава, озабоченно-жадно поглядывая по сторонам, она снимала с антресолей разную рухлядь и внимательно рассматривала — выбросить, взять с собой, продать? Два огромных ящика стояли посреди столовой; в один Глафира Сергеевна укладывала книги, в другой — посуду, и я почему-то сердилась, что все у нее получается так умело и ловко.

— Ну-ка подсоби, — однажды сказала она мне на «ты» и, без сомнения, забыв мое имя.

Я взглянула на нее — и прошла мимо...

Теперь я знала, откуда взялось то детски-высокое состояние

души, в котором я нашла Павла Петровича в день приезда Глафиры Сергеевны, и почему оно не покидало его. Надежда сияла в его старых глазах, когда он принимался читать мне письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Владимир Ильич». Надежда оживляла его, когда, прерывая чтение на полуфразе, он принимался поправлять это письмо: то ему не хотелось, чтобы оно носило личный характер, то приходило в голову, что ведь Ленин не знает его — значит, нужно сказать хоть несколько слов о себе.

«Для меня нет сомнений в том, что большевики думают лишь о благе народа, — писал он, — и что их историческая правота является действительным залогом народного счастья. Всю жизнь служа человечеству, я был бы бесконечно счастлив, если бы мои усилия, направленные против враждебных сил природы, составили хоть самую ничтожную часть вашей великой борьбы».

Письмо делилось на две половины: теоретическую, в которой Павел Петрович кратко излагал свою теорию, и практическую, в которой он предлагал создать первый в мире «Институт защитных сил природы», указывая, что «создание подобного учреждения не только принесет бесспорную пользу советскому здравоохранению, но снова поставит впереди всех русскую научную мысль».

«В минуты, когда, оглянувшись вокруг, с душевным трепетом замечаешь, что один стоишь перед судом потомства, — так оканчивалось письмо, — невыразимо отрадно было бы убедиться в том, что это потомство заживо отпускает твои грехи, одобряет твоё стремление к истине и с уважением смотрит на твой путь бескорыстного служения народу».

Это был один из многих вариантов, понравившийся мне своей простотой. Но Павел Петрович продолжал править и переписывать письмо, хотя от этих бесконечных поправок оно, по моему, не становилось лучше. Каждый вечер он читал мне письмо, так что в конце концов мне приснилось, что я вхожу к Ленину в кабинет и говорю ему: «Здравствуйте, Владимир Ильич», и все становится так просто, как бывает только во сне. «Вы пришли за ответом? — спрашивает Ленин. — Так вот: передайте Старому Доктору, что он совершенно прав. Впрочем, я сам напишу ему». И он пишет, а я стою за его спиной и читаю волнуясь. «Дорогой Павел Петрович», — читаю я, почти не дыша. А у подъезда уже слышится шум подкативших санок, и Глафира Сергеевна выходит из них, мрачная, нехотя улыбающаяся, думающая только о себе и почему-то стремящаяся изменить этот удивительный сон... Я рассказала его Павлу Петровичу, и он объявил, смеясь, что у нас, без сомнения, «средство душ»: на днях ему приснилось, что он наконец дописал письмо

и вдруг увидел себя перед изящным, маленьким каменным зданием.

— Очевидно, это был мой институт, — сказал он, — потому что я бессознательно украшал его, то-есть приказывал в уме, чтобы он становился все лучше. Капители колонн были серыми, как и сами колонны. Я подумал: «А хорошо, если бы они были белыми», и, к моему изумлению, они сразу же стали белыми, причем я увидел это так же ясно, как сейчас, Таня, вижу тебя. Лестница была крутая, и только что мне пришлось в голову, что я поднимаюсь с трудом, как она стала пологой. В лаборатории, кстати сказать отличной, было немного темно; я подумал об этом, и потолок поднялся, окна стали просторней и выше. Все так прекрасно совершалось во сне, что мне стало даже совестно за мои большие желания...

Но вот — это было через несколько дней — я нашла Павла Петровича в каком-то болезненном забытии. Кажется, невозможно было выглядеть старше, чем он, а оказалось — возможно. Он был не причесан, борода торчала, ворот рубашки не застегнут, хотя в комнате было холодно, дуло от окна.

— Павел Петрович!

Он не сразу узнал меня. Опушенная на грудь голова медленно поднялась, но взгляд еще был неопределенно-далекий.

Мне показалось, что я поняла, чем он так глубоко расстроен.

— Павел Петрович, я вчера была в этом доме. Я буду приходить к вам с утра. Это очень близко от склада. Мы будем читать вслух и, как прежде, писать под диктовку.

Я села на скамеечку, и он молча положил на мое плечо дрожащую руку.

— Не правда ли, ведь остаться здесь одному было бы еще тяжелее?

Какое-то усилие прошло по лицу Павла Петровича, точно комната еще кружилась перед его глазами и нужно было остановить комнату, чтобы услышать, о чем я говорю.

— Сегодня ночью я не спал, все думал, — сказал он наконец. — Ведь это очень странная вещь — сознание, что ты не можешь освободиться от вызванных тобою духов.

Он вовсе не бредил — напротив, с каждой минутой голоза становилась яснее.

— Болезненное чувство, что пройдет год или два после выхода труда и твоя идея начнет жить самостоятельно и — кто знает! — пойдет такими путями, которые ты не предвидел. — Он помолчал. — И не одобряешь...

Я поняла, что речь идет о его теории, то-есть что, если он умрет, теорию не поймут или станут развивать в ложном направлении. У меня сердце томилось от невозможности помочь

ему, утешить, а он и не думал о себе! Я едва справилась со слезами.

— Два противоположных закона, повидимому, борются в настоящее время, — помолчав, продолжал Павел Петрович: — закон смерти, ежедневно придумывающий новые средства убийств и разрушений, и закон мира и жизни, стремящийся освободить человека от преследующих его бедствий. И я счастлив, потому что вижу, какое место заняла в этой битве Россия. Как ты думаешь, об этом мне тоже нужно было написать ему, Таня?

— Так сделайте это, Павел Петрович! Как вы сказали? Хотите, я запишу?

Он покачал головой.

— Это слишком общая мысль, — сказал он. — В другой раз. А теперь я ведь пишу об институте.

Только теперь я заметила на столе распечатанный конверт, лежавший как-то отдельно, в стороне от журналов и книг, точно в нем заключалось что-то холодное, опасное — то, над чем еще нужно было подумать. Взгляд Павла Петровича, усталый, но спокойный, остановился на нем, и я вдруг поняла, что это ответ от Р. — желанный ответ, на который старый доктор так надеялся и от которого ждал так много!

— Павел Петрович... вы сегодня получили это письмо?

Он кивнул.

— Это пишет вам Р.?

— Нет, — отвечал старый доктор.

Он опустил голову, вздохнул и замолчал — так надолго, что мне стало страшно, и я тихонько коснулась его руки.

— Ты разве не знаешь, Таня? — очнувшись, спросил он. — Р. умер.

— Да полно, что вы говорите! Как умер?

— Да, да. Вчера было в газетах.

И дрожащей рукой он протянул мне конверт.

Это был отзыв о рукописи, которую Павел Петрович диктовал мне последнее время, — холодный, грубо-иронический, уничтожающий отзыв. Какой-то Коровин находил, что хотя автор посвятил всю свою жизнь изучению плесени, он, очевидно, незнаком с работами Рейнгардта и других видных представителей западноевропейской науки. Что касается самой теории, то она в этом отзыве признавалась детской-вздорной и лишенной какого бы то ни было научного смысла.

— Это ничего не значит... — У меня был неуверенный голос. — И вообще... Нужно было послать вашу рукопись Мите. Он отнес бы ее в научный журнал, и тогда все могли бы судить о ней. Вы рассказывали о своей теории Мите?

Павел Петрович ответил не сразу, — я успела пожалеть, что

спросила. Тень прошла по его лицу, но вскоре оно стало еще светлее, чем прежде.

— Да, — просто сказал он. — Пытался.

Старый доктор задумался, и мы долго молчали. Потом он опять заговорил о Мите, и то, что я услышала, глубоко поразило меня.

— Это человек сложный, — сказал он. — Честолюбие — и энергия, легко воспламеняющаяся, чтобы сразу погаснуть. Блеск ума — и слепота эгоизма. Воля — и странная способность легко поддаваться чужому влиянию. Чувствительность, прямота — и глубокая, непреодолимая пропасть между личностью и дарованием.

ТИШИНА

Глафира Сергеевна уехала девятого марта, а накануне старый доктор был отвезен в Дом инвалидов. Это произошло без меня, и когда вечером восьмого марта, сразу после собрания по поводу Женского дня, усталая, но веселая, я зашла в «депо», незнакомая женщина в подоткнутой юбке уже мыла полы, окна были распахнуты, обои сорваны, и в квартире было так пусто, как будто сюда сто лет не заглядывала ни одна живая душа. Я зашла в комнату старого доктора — и там все пусто, разорено. Только фисгармония, которая, без сомнения, была так плоха, что никто не захотел ее купить, стояла в углу, да моя скамеечка валялась подле нее вверх ногами. Мне захотелось стащить скамеечку, и я бы стащила, если бы женщина в подоткнутой юбке не зашла вслед за мной, чтобы спросить, что мне нужно. Мне ничего не было нужно, решительно ничего, и, разумеется, ей показалось очень странным, что какая-то девушка, войдя в опустевшую комнату, никак не может заставить себя уйти и долго бесцельно стоит подле дряхлого, покрытого пылью инструмента. Очевидно, эта девушка так и не научилась, подобно знаменитой киноактрисе, «испытывая боль, изображать безмятежность», потому что одна, потом другая и третья слеза упали на фисгармонию, оставив след на ее лакированном пыльном фасаде.

В этот день мне не удалось навестить Павла Петровича: было поздно, и меня не пустили. Зато десятого я пришла с утра. Павел Петрович был в тоске, ничего не ел и лежал, повернувшись к стенке. Некоторые вещи были перевезены — кресло, курительный столик и другие, — но какими странными казались они в этой непривычной комнате, как жались в углы, как робко извинялись за старость! Доктор беспокоился о своем чемодане — при переезде чемодан с его бумагами куда-то пропал. Я пошла выяснить, и оказалось, что чемодан проходит дезин-

секцию — будет окуриваться серой. Насилу удалось мне убедить заведующего, что научный труд не нужно подвергать дезинсекции, то-есть уничтожению насекомых. Чемодан был принесен, поставлен под кровать, и, немного успокоившись, Павел Петрович поговорил со мной. Но у него были тусклые глаза, и я с трудом убедила его выпить стакан чаю.

Прямо из Дома инвалидов я побежала в горсовет. Председатель, который хорошо знал и любил Павла Петровича, был в отъезде, и я дождалась приема у его заместителя, хотя пришлось просидеть очень долго, и почти весь день Павел Петрович провел без меня. Я была расстроена и поэтому удивительно бестолково рассказала о том, что произошло. Но насчет Глафиры Сергеевны я рассказала толково. Она у меня получилась как живехонькая, так что заместитель председателя горсовета несколько раз изумленно кричал, а потом сказал, что начинает разбираться в некоторых загадочных действиях своего отдела.

— Родители этой гражданки (он имел в виду Глафиру Сергеевну) намерены вернуться в Лопухин. И она в жилотделе хлопотала комнату, это мне известно. Ну-с, а тут имеется nämlich прекрасная комната, насчет которой нетрудно договориться при наличии доброго желания с обеих сторон, то-есть со стороны данной гражданки и жилотдела. Так-с. Посмотрим! А насчет Павла Петровича ты не беспокойся. Нет худа без добра! Сделаем, что на новоселье ему будет лучше, чем дома. Завтра сам зайду и все устрою...

Но назавтра Павлу Петровичу стало хуже. Я видела, что хуже, хотя он ни на что не жаловался и даже сказал мне, что совершенно здоров. Ночью у него был припадок, а теперь все прошло и он чувствует себя превосходно. Он останавливался надолго после каждого слова. «Но это, — сказал он, — просто от усталости после бессонной ночи». Доктор Беленький знал Павла Петровича и охотно согласился прийти. Он осмотрел его и сказал, что «непосредственной опасности нет». Но Павел Петрович от души рассмеялся, и когда я принесла ему микстуру, вылил ее в плевательницу дрожащей, но аккуратной рукой.

— Некогда, Таня, — неторопливо сказал он.

Я спросила, куда он торопится, и он ответил спокойно:

— Пора отдохнуть.

К вечеру ему стало так плохо, что он мог уже только показывать рукой, чтобы я повыше взбила подушку. Мучительное нетерпение овладело им — можно было подумать, что он терзается невозможностью умереть сию же минуту. То он просил пить; то, едва я подносила стакан к губам, отводил мою руку; то метался, раскидывая все вокруг, ухватившись за простыню

зубами; то манил кого-то слабой рукой, но не меня, потому что сердито закрывал глаза, когда я наклонялась.

— Пора отдохнуть, — снова со вздохом повторил он, — пора отдохнуть...

* * *

Я не знала, что он просил похоронить его без церковных обрядов. У нас в эту пору не бывает цветов, но я наломала много кедровых веток, и большие венки — от горсовета, от уездной больницы и мой — выглядели очень красиво среди длинных темнозеленых игл. На похороны пришли очень многие. Павла Петровича знали и любили в Лопакхине. Именно с этого начал свою речь председатель горсовета, который рассказал краткую биографию старого доктора и особенно остановился на том факте, что он как «политический» был некогда выслан в Сибирь. Потом выступил один пожилой рабочий с кожзавода, которого я, между прочим, никогда не видела у Павла Петровича — наверно, это было очень старое знакомство, задолго до того, как я попала в «депо».

— Теперь легко, — сказал он, — когда советская власть утвердила бесплатную помощь. А кто в царские времена всегда безвозмездно лечил бедного человека? Павел Петрович!

Доктор Беленький произнес сердечную речь о старом докторе как деятеле науки. Несколько минут все стояли молча после этой речи, потом разошлись, и я осталась одна — хотела еще зайти на могилу к маме, и, кроме того, нужно было условиться насчет дощечки на могилу Павла Петровича, с датами рождения и смерти.

Не знаю, откуда инвалиды взяли, что я его внучка, но даже у заведующего не было по этому поводу ни малейших сомнений, потому что, когда я зашла, чтобы поблагодарить, он сказал, что я, как единственная находящаяся в городе родственница Павла Петровича, могу, если мне угодно, взять его вещи. И я взяла — фото, чемодан с бумагами и курительный столик. В этот же день я принялась разбирать бумаги — мне хотелось найти письмо к товарищу Ленину, письмо, которому старый доктор придавал такое значение! Однако я нашла лишь всё те же черновые варианты, перечеркнутые тысячу раз, с фразами, оборванными на полуслове. Можно было попробовать как-нибудь соединить их и составить письмо. «Но зачем? — грустно подумалось мне. — Ведь Павел Петрович уже никогда не отправит его!»

И, сложив все черновики в отдельную папку, я решила посоветоваться об этом с Андреем.

Но было еще одно дело, о котором мне не с кем было посоветоваться и которое лежало передо мной в виде узких, старо-

модных конвертов. Письма Кречетовой! Мне очень хотелось прочесть их, и, наверно, я не удержалась бы, если бы Павел Петрович не сказал: «Сожги их, Таня». Но это было сказано в тот день, когда Раевский непременно хотел получить и издать эти письма, и сказано именно для того, чтобы этого не случилось. Больше Павел Петрович не повторял своей просьбы — вот почему в тяжком раздумье сидела я над письмами Кречетовой, не зная, на что решиться. Сжечь их? Сохранить у себя? Передать Агнии Петровне, Андрею? Одно письмо выпало, и я невольно прочитала несколько фраз: «...Не люблю писать тебе наскоро, в повседневной обстановке. Но когда ты предстаешь передо мной, как живой, когда нарастающая потребность видеть тебя становится неотступной...»

Точно что-то трепещущее было в моих руках, и вот я должна бросить в огонь это трепещущее, живое! Нет! Да и не все ли равно? Ведь теперь о любви старого доктора знаю только я и больше никто на свете.

И, продумав целую ночь, я наутро аккуратно перевязала письма Кречетовой и вместе с другими бумагами Павла Петровича положила обратно в его чемодан.

Всю зиму Андрей писал мне интересные, подробные письма. В одном из них он спрашивал, читала ли я Сеченова «Рефлексы головного мозга», и приводил цитату, над которой думал несколько дней и которая в конце концов убедила его, что нужно жить на собственный счет, то-есть переехать от Мити в общежитие. Дальше шли рассуждения о том, что можно ли существовать на 4½ копейки золотом по курсу Госбанка. Андрей доказывал, что можно. Очевидно, почтовые марки входили в этот бюджет, потому что следующее письмо пришло почти через месяц.

Он любил описывать Москву и, между прочим, в одном письме перечислял звуки одной из главных улиц — Арбата.

«Представь себе, что ты одновременно слышишь скрежет и звонки трамвая, громыханье ломовиков, жужжание авто, шелканье лошадиных подков и шум экипажей, крики мальчишек, возгласы газетчиков, далекий, но отчетливый (по праздникам) колокольный звон, — и ты мысленно увидишь Москву в ее звуковом выражении», — писал он.

В другом письме он подробно рассказывал о Мите, который ушел из частной лечебницы и стал работать в научно-исследовательском институте. Очевидно, это досталось ему не очень легко, потому что Андрей был свидетелем скандала, когда Митя решительно объявил жене, что он отказался бы от этой «медицинской Сухаревки», даже если бы ему пришлось голодать.

Но голодать не пришлось. На конференции в Наркомздраве он доложил о своей работе по сыпному тифу, и ему предложили еще какое-то место, так что «бюджет семейства Львовых», как иронически сообщал Андрей, увеличился вдвое.

В третьем письме Андрей доказывал, что мне непременно нужно учиться в Москве, потому что это город, в котором «стремление к великому принимает самые разнообразные формы».

Словом, это были письма человека, который в пролетке с откинутым верхом отправился в будущее, а я осталась у подъезда и все еще с надеждой и грустью смотрю ему вслед.

Но вот я получила от него письмо, в котором он много и с любовью писал о Павле Петровиче и горько упрекал себя и меня в том, что мы не ценили и не понимали его. «Я помню, как девочкой ты сидела у его ног и он спрашивал у тебя таблицу умножения. Когда умерла твоя мать, он сам хотел идти к тебе и пошел бы, если бы на него не прикрикнула мама». И дальше шли какие-то непонятные намеки на мою неблагодарность по отношению к старому доктору — неблагодарность, о которой Андрей лишь недавно узнал.

Едва справляясь с поднявшимся в душе вихрем горечи, разочарования, обиды, прочитала я это письмо. Это было проще всего — написать Андрею о том, как Глафира Сергеевна надеялась получить комнату Павла Петровича для своих родителей и поэтому отправила его в Дом инвалидов. Но я не стала... Наше прощанье на Тесьме вспомнилось мне. «Не забывай!» Стоило ли просить меня об этом?

* * *

Зато однажды, вернувшись из школы, я нашла под дверь письмо, которое обрадовало и изумило меня.

«Наталье Тихоновне Власенковой» — было крупно написано на конверте, и я разорвала его с горьким чувством прикосновения к безвозвратно ушедшему и дорогому. Письмо было от Василия Алексеевича Быстрова, того самого друга маминой молодости, о котором она всегда рассказывала с немного преувеличенной пылкостью, точно боялась, что я могу не поверить в самый факт существования такого безукоризненного человека.

Василий Алексеевич сообщал, что теперь он работает не на Путиловском, а на «Электросиле», и что будет от души рад увидеть старую знакомую, да еще с дочкой, «тем более что и у меня есть дочка семнадцати лет, ровесница вашей Тане». «Да приезжайте-ка поскорей, — писал он, — а то и не узнаете нашу заставу. На месте домика, где было собрание Гапона, теперь

общественный сад, и думаем обнести его решеткой от Зимнего дворца».

Значит, в Петрограде, который, как я ни храбрилась, казался мне величественно-равнодушным, будет все-таки дом, в котором меня приветливо встретят, хотя бы из уважения к памяти мамы. Правда, Ниночка звала меня к себе, и Гурий клялся, что ребята из Стумазита не дадут мне погибнуть от голода и холода на улицах Петрограда, но от письма Василия Алексеевича повеяло чем-то «маминым», прочным, верным, и у меня стало веселее на душе...

С трудом вспоминаю я два или три месяца, пролетевших после смерти Павла Петровича до моего отъезда. Должно быть, от его старого сердца начиналась дорожка ко многому, чем я дорожила в Лопакхине, потому что теперь, когда эта дорожка потерялась в снегу, завалившем Павскую гору, все стало скучно, и с одной мыслью — скорее, скорее! — я начала готовиться к отъезду.

Так проходят выпускные экзамены — скорее, скорее!

В райкоме комсомола мне выдают документ, который можно назвать как угодно: характеристикой, рекомендацией, путевкой, но который больше всего похож на ультиматум с требованием немедленно принять меня в Институт экранного искусства.

У меня нет туфель, и в Уполитпросвете — странное совпадение! — вдруг устраивается лотерея на прекрасные туфли «Скороход» с модными острыми носками. Я беру всего два билета и, к своему изумлению, выигрываю туфли, без которых ума не могла приложить, как уехать. Загадочно улыбаясь, меня поздравляют: «Судьба!» С подступившими к горлу слезами я беру этот подарок «судьбы».

Мария Петровна и Надежда Петровна сообща шьют мне платье — на каждый день, но чтобы не стыдно было надеть его в театр, в гости, причем Мария Петровна берет на себя теоретическую, а Надежда Петровна — практическую сторону этого дела. Сообща они пекут мне в дорогу пирожки с луком — вкуснее лопакхинских пирожков с луком я ничего и никогда не ела. Сообща стремятся дать мне в дорогу банку с грибами, и насилу удается мне убедить их, что эти грибки мы съедим будущим летом по случаю моего возвращения. Скорее, скорее!

Каждый вечер отец приходит ко мне — я ночую у Марии Петровны — и робко садится на краешек кресла. Я вижу, что ему хочется поговорить со мной — о чем? В сотый раз я прошу его поберечь чехмодан с бумагами старого доктора, и отец обещает, что в случае любого бедствия — пожара, землетрясения, войны — прежде всего будут спасены эти бумаги. Но вот что, оказывается, беспокоит его больше всего: клад. Какой-то амурский спиртонос перед смертью сказал отцу, где находится клад:

«на острове против станицы Иннокентьевка». Так вот, если отец найдет клад, по какому адресу мне выслать половину? И я вдруг целую отца и говорю ему адрес: «Петроград, Институт экранного искусства, Т. Власенковой, будущей кинозвезде». Отец послушно записывает: «Т. Власенковой, будущей кинозвезде»... Скорее, скорее!

Июньским прохладным утром, таким ранним, что едва проснувшиеся скворцы еще только начали лопотать свой беспорядочный вздор, я сижу в пролетке, и новенький чемодан — подарок школьных товарищей — стоит у меня в ногах. Соседи и друзья — у ворот. Отец плачет. Скорее, скорее!

Пролетка трогается. Так вот эта минута, которую я ждала с таким нетерпением! Почему же мне грустно? Почему, стараясь удержать дрожащие губы, я смотрю по сторонам — на старые-престарые, знакомые-презнакомые дома на Малой Михайловской, по улице Карла Либкнехта, по Развяхской? Неужели завтра я их уже не увижу?

Лошадь тащится, извозчик попался старый и лишь невнятно бормочет в ответ на мои уговоры. Скорее, скорее!





Глава третья

СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

—



ИСПЫТАНИЕ

Не буду подробно рассказывать о том, как одна девушка, которой в поезде исполнилось восемнадцать лет, приехала в Петроград, — боюсь, что мне не поверят.

В самом деле, как поверить тому, что, сойдя с поезда, она долго сидела на тумбе у пивной «Райпепо», недоумевая, почему трамвай за трамваем равнодушно проходят мимо, несмотря на то что, отчаянно крича, она каждый раз устремлялась к ним со всеми своими вещами? Вскоре она научилась садиться в трамвай на остановках. Но долго еще она не умела различать маршруты по разноцветным огням, долго завидовала другим девушкам, спокойно и, как ей казалось, гордо ходившим по улицам этого громадного города, не боясь заблудиться.

Как поверить тому, что, уйдя в первый день приезда из

гостиницы, она забыла свой адрес и, растерявшись, побежала по Лиговке, спрашивая во всех «номерах», не здесь ли остановилась некая Власенкова Т. П. из Лопехина, невысокого роста, в туфлях без калош и в кожаной шапочке-пилотке?

Как поверить тому, что в тот же вечер по меньшей мере десять юношей из Студии массовых зрелищ и торжеств, во главе с Гурием, устроили массовое, торжественное зрелище моего переезда к Нине? Картинно драпируясь в генеральскую шинель-накидку, купленную на Обводном за два рубля сорок копеек, во главе процессии шел Гурий с палкой в руке.

Как поверить тому, что в Нининой комнате не было печки и тем не менее мы аккуратно платили хозяйке за услуги и отопление. Услуги выражались в том, что хозяйка — здоровая, румяная женщина — с утра до вечера рассказывала нам о своих болезнях; а отопление — в том, что время от времени она приносила нам паровой утюг. Зато мы всегда ходили в аккуратно выглаженных платьях.

В Институте экранного искусства на улице Чайковского я получила программу приемных испытаний и была очень довольна, узнав в канцелярии, что для поступления не нужно ничего, кроме таланта. Мои этюды очень понравились Нине. Но она нашла, что у меня слишком обыкновенная походка для кино, и посоветовала взять несколько уроков ритмики, чтобы ноги стали двигаться более плавно. Это был превосходный совет, тем более что известная ритмичка жила на проспекте Либкнехта, недалеко от Нины. Пришлось кое-что отнести в ломбард, чтобы взять у нее три урока, но зато я научилась плавно ходить, то-есть «неся ногу низко над полом, опираться сперва на носок, а потом на пятку». Это выходило немного похоже на цаплю, но ритмичка сказала, что ее вполне устраивает это сходство, поскольку цапля в тысячу раз ритмичнее человека.

Я размышляла о своих чувствах и приходила в отчаяние: мне казалось, что для будущей киноактрисы у меня слишком ничтожные чувства. Я возилась с воображаемыми душевными муками. Это было очень трудно, потому что муки не помещались в моей душе и мне всегда невольно представлялось, что все должно окончиться благополучно.

Наружность — вот что беспокоило меня больше всего! Но решительно все — и Ниночка, и Гурий, и Володя Лукашевич — находили, что у меня «фотогеничная наружность».

— Впрочем, при одном условии, — глубокомысленно сказал Гурий: — если твой контраст — светлые волосы и темные глаза — получится на экране...

Это было накануне экзамена, когда Ниночка объявила, что мне необходимо отдохнуть, и я поехала на завод «Электроси-

ла» — разыскивать маминого друга Василия Алексеевича Быстрова. Впрочем, разыскивать не пришлось, потому что первый же прохожий, которого я остановила, сойдя с трамвая у завода, сказал, что Василий Алексеевич сейчас, очевидно, в модельном цехе или — тут он взглянул на часы — уже в районном Совете. Когда через несколько минут на заводском дворе я задала тот же вопрос одному из рабочих, он, прежде чем ответить, тоже посмотрел на часы. Право, можно было подумать, что весь район знает, чем Василий Алексеевич занимается в три часа и чем — в четыре! Почему-то это не понравилось мне, и с внезапно возникнувшим чувством предубеждения я направилась к какому-то техническому зданию, которое указал мне рабочий. Здание было обыкновенное, старомодное, но, пройдя через его темноватый вестибюль, я наугад толкнула тяжелую дверь — и остолбенела: громадная мастерская с черным полом, в которой люди в замасленной одежде что-то делали у машин, открылась передо мной. Мне случалось бывать на лопахинском кожзаводе, но разве можно было сравнить его с этим высоким, мрачным залом, над которым ходили туда и сюда стальные краны и на другом конце которого люди казались маленькими, как в перевернутом бинокле!

Я нашла Василия Алексеевича в толпе озабоченных людей, молча стоявших у края довольно глубокой ямы, в которой вертелся, тускло поблескивая, какой-то круглый предмет, похожий на гигантский волчок. Василий Алексеевич был пожилой узкоплечий человек, в кепке, в очках, с седеющей бородкой — ничего общего с тем Василием Алексеевичем, который рисовался передо мной в маминых рассказах!

— Василий Алексеевич, я — Таня Власенкова, — начала я не очень уверенно. Он обернулся. — Здравствуйте.

— Здравствуйте.

— Я приехала из Лопахина. Мама писала вам, и я...

Он слушал, не отрывая взгляда от ямы, в которой, с моей точки зрения, не происходило ничего интересного, и, когда я кончила, сказал рассеянно:

— Да, да. Очень рад... Но вам нужно познакомиться с Леной.

Только что я собралась рассказать ему, как часто мама вспоминала о нем, как мечтала теперь, после революции, побывать в Петрограде, а он отсылал меня знакомиться с какой-то там Леной.

— Кто эта Лена?

— Моя дочка, — ответил Василий Алексеевич. — Вы наш адрес знаете?

— Нет.

— Международный, двадцать один, квартира четыре. Зайдите к ней. Она сейчас дома.

Потом он спросил, где я остановилась, и, ответив, я постояла подле него еще две-три минуты, особенно тягостных, потому что он, кажется, только и ждал, чтобы я поскорее ушла, а я все еще не могла поверить, что так и кончится это «мамино» знакомство, от которого я ждала так много. Наконец я пробормотала:

— До свиданья.

Он ответил: «До свиданья», и, расстроенная, обиженная, я вернулась домой.

Нина стала приставать с расспросами. Но я холодно ответила, что мама, без сомнения, просто ошиблась, потому что никакого Быстрова нет и никогда не было на заводе «Электросила».

Разумеется, мне и в голову не пришло, что гигантский волчок, от которого, разговаривая со мной, Василий Алексеевич не мог оторвать взгляда, был первый ротор (вращающаяся часть) турбины Волховстроя и что вместе с ним на этот ротор вся страна смотрела с любовью и надеждой.

* * *

Кажется, нельзя назвать уверенность в себе моей характерной чертой, но, отправляясь на другой день в Институт экранного искусства, я была твердо убеждена, что экзамен пройдет прекрасно. Эта уверенность превратилась в дивное, величественное спокойствие, когда маленькая женщина с маленькой седой пушистой головкой попросила меня сыграть этюд, очень похожий на тот, который я нашла в «Хрестоматии» и часто разыгрывала дома.

— Представьте себе, что вы входите в комнату... — сказала она.

Согласно хрестоматии, полагалось разбить этюд на «побуждения». У меня было мало времени, но я разбила и даже наскооро сыграла каждое «побуждение» в уме.

— Ну-с, прошу, — сказала женщина с пушистой головкой.

Ее я ничуть не боялась. Но рядом сидел высокий, здоровенный мужчина с зачесанной назад шевелюрой, с толстым носом, чем-то похожий на лихача. Потом я узнала, что это известный кинорежиссер. Вот его я боялась.

В общем, этюд был сыгран прекрасно, хотя в одном месте я забыла улыбнуться с горечью, а в другом — неудачно вздохнула. Но кинорежиссер почему-то засмеялся, едва я появилась перед экзаменационным столом, а женщина с пушистой головкой как-то странно поджала губы, несмотря на то что я двигалась согласно правилам ритмики, то-есть ступая сперва на носок, а потом на пятку.

— Можно отпустить?

— Пожалуйста, — сказал режиссер.

С радостным чувством, что лучше сдать испытание было почти невозможно, я побежала в консерваторию к Нине, потом обедать, потом по каким-то делам...

Вечером с Гурием и Володей Лукашевичем мы пошли в театр, и, возвращаясь домой белой ночью, я впервые почувствовала, как хорош Петроград! До сих пор мне было как-то некогда думать об этом. Но теперь, когда можно было почти не сомневаться, что я буду принята в институт, когда кончились эти волнения, и уроки ритмики, и воображаемые муки, — теперь я по-новому поняла, что я в Петрограде! Неужели это я стою с мальчишками на великолепной набережной и разговариваю и смеюсь, как будто так и должно быть, что я не в Лопакхине, а в Петрограде? Неужели это все правда — огромный, выгнутый мост шириной с нашу Развязскую, Нева, в сравнении с которой наша Тесьма выглядела настоящей тесьмой? Мост был поднят, проходили суда, и мы долго сидели на парапете. Потом мост опустили, но уже не хотелось уходить, и мы смотрели и смотрели на Неву, любуясь серо-голубыми переливами красок.

На другой день мне нужно было явиться на экзамен по общему образованию, и я явилась, но почему-то не нашла своего имени в списке сдавших спецпредмет, то-есть этюды. Это была ошибка, и девушки, державшие со мной, тоже сказали, что условно — ошибка. Я пошла справиться, но канцелярия была пуста, только вчерашний режиссер стоял у стола, лениво перелистывая какую-то книгу. Я поздоровалась и спросила, не знает ли он, почему меня нет в списке сдавших этюды. Он оставил книгу и посмотрел на меня.

— Ах, да, — сказал он вспоминая. — Это не вы ли на экзамене так странно ходили?

Я что-то пролепетала, кажется:

— Почему странно?

— Вот этого я вам не скажу, — добродушно возразил режиссер. — Вас нет в списке, потому что вы не сдали этюда.

Должно быть, я побледнела, даже пошатнулась, — он сделал шаг, чтобы поддержать меня. Но это было только одно мгновение, а потом я оправилась, и мы поговорили — недолго, минут десять.

Он сказал, что работает в театре много лет и часто встречал людей, далеких от призвания актера, но такую далекую, как я, встречает впервые.

— Поверьте, что я говорю это для вашей же пользы, — сказал он. — Вы можете стать инженером, математиком, педагогом — кем угодно. Но актрисой — даже очень плохой — вы не будете никогда!

Я поблагодарила его и ушла.

Повернувшись лицом к стене, я пролежала весь день, не слушая Нину, которая уверяла меня, что ничего особенного не произошло, тем более что Гурий берется устроить меня на курсы техники речи, а техника речи все равно пригодится мне, потому что уже начинают писать о говорящем кино. Я попросила ее съездить в институт за документами и, по правде говоря, немного всплакнула, оставшись одна.

Как это вышло, что с детства я решила быть врачом и вдруг вообразила, что у меня есть театральный талант? Откуда взялось это затмение, этот туман, в котором я потеряла дорогу? Никто из знатоков театра не видел меня на сцене, и никто, кроме наших ребят, не сказал, что я хорошо сыграла свою роль — роль, в которой я не произнесла ни единого слова! Любовь к театру я приняла за талант — какая детская, смешная ошибка!

Должно быть, эти мысли наконец утомили меня, потому что я заснула, а проснувшись, увидела рядом с Ниной незнакомую девушку, бледную, с широко расставленными глазами, некрасивую, но с приятным лицом.

— Я — Лена Быстрова, — сказала она, заметив, что я проснулась. — Я тебя целый день ищу. Меня отец за тобой послал.

Она помолчала, потом села подле меня на постель.

— Ну, чего молчишь? Подумаешь, провалилась! Милая моя, да это прекрасно, что ты провалилась! Вот тоже выдумала: Институт экранного искусства! Нужно получить настоящее высшее образование — вот что! А если у тебя талант, неужели он свое не возьмет? Чехов был кто по образованию? Врач! И что же — медицина ему помешала? Один композитор — фамилию забыла — был химик, а Сеченов — знаешь, знаменитый? — был сперва кто? Обыкновенный сапер! Ты не думай, я тоже долго сомневалась, тем более что у меня все подруги были против, а за меня только отец, и то потому, что я к нему подлизалась. В общем, я выбрала медицинский. И знаешь, что я тебе скажу: поступай в медицинский. Ты в школе чем интересовалась — природой или историей? Я обобщаю, конечно, но ты меня понимаешь. Если природой — двигай на медицинский! Не проиграешь.

Я слушала ее и молчала.

И вдруг, точно наяву, я увидела старого доктора, сидящего под цветущим каштаном, положив на колени маленькие, энергично сжатые руки.

Это было невозможно, но я не только отчетливо увидела Павла Петровича, но услышала его голос, говоривший о чем-то с детским выражением доверия. Я вспомнила себя — нет, не себя, а то, что я чувствовала, сидя на скамеечке у его ног и стараясь понять, почему сумрачный торжественный свет внезапно озаряет его лицо, едва он касается своих незримых микробов.

Это было нелегко — отложить, хотя и ненадолго, исполнение заветного желания и перейти на другую дорогу, по которой я побрела, оглядываясь и спотыкаясь. Горькое чувство неуверенности — чувство, в котором так не хотелось признаваться, — преследовало меня очень долго. Оно усилилось, когда я вошла в жизнь медицинского института и множество дел, забот, впечатлений со всех сторон обступило меня. Это была жизнь, полная сложных отношений, общественных и личных, скрещающихся влияний, нерешенных вопросов, в сравнении с которыми казались наивными вопросы, волновавшие лопахинских комсомольцев. Словом, это была жизнь, несколько не считавшаяся с тем прискорбным обстоятельством, что одна из тысяч студенток мечтала стать актрисой и провалилась на испытаниях в Институт экранного искусства.

Нынешний Первый Ленинградский медицинский институт имени академика Павлова сильно отличается от того медицинского института, в котором я училась в двадцатых годах. Кафедр стало почти вдвое больше, институт соединился с огромной больницей и с поликлиникой, через которую ежедневно проходит больше двух тысяч больных. Впрочем, теперь все считается на тысячи в этом огромном институте: число студентов, число мест в общежитии, число коек и так далее.

...Со странным чувством бродила я недавно, уже после войны, по просторной, раздавшейся вширь и вглубь территории, узнавая старое, поражаясь новому, и напрасно пыталась мысленно вернуться к истокам той шумной, молодой жизни, которая с такой уверенностью разлилась теперь по клиникам и лабораториям.

Да, теперь это целый город с асфальтированными улицами, с палисадниками и скверами! А в те годы, когда я училась, было лишь большое здание, к которому примыкал ряд других зданий — поменьше. Многие стало другим, студентов учат иначе, чем прежде, и они, кажется, не заняты так глубоко вопросами управления института, как это было в начале двадцатых годов. Знаменитый «бригадный метод» давно упразднен и вместе с ним «предметные комиссии», ведавшие решительно всем, начиная с меню институтской столовой и кончая выборами преподавателей на важнейшие кафедры института.

Но главное, поразительное отличие представилось мне, когда, всматриваясь в молодые, оживленные лица студентов, прислушиваясь к их разговорам и спорам, я вообразила на их месте разнообразную, бедно одетую, озабоченную толпу товарищей, учившихся вместе со мною.

Это были люди разных возрастов и даже поколений — ме-

дики, ушедшие на гражданскую войну и вернувшиеся в институт после перерыва (у некоторых были дети, игравшие на дворе, пока училась мама), и молодые люди, только что окончившие среднюю школу. Это были фельдшеры — пожилые люди, всю жизнь мечтавшие о высшем образовании и теперь сменившие свое прочное положение в украинских, сибирских, уральских деревнях и селах на шаткую, необеспеченную студенческую жизнь тех лет. Это были дети интеллигенции и главным образом молодежь из крестьянских и рабочих семей — словом, люди настолько разные, что иногда казалось даже странным: какое чудо могло объединить их в одной аудитории, лаборатории, в одной комнате студенческого общежития? Это чудо называлось революцией, пробудившей жажду знания с необыкновенной силой...

Почти все студенты работали, и нельзя сказать, что это было легко: занимаясь с девяти до пяти в институте, по вечерам, иногда на всю ночь, отправляясь в порт, на дровяные базы, в «скорую помощь». Но на стипендию, очень маленькую, трудно было прожить, а наша студенческая артель, делавшая шнурки и чернила, почему-то не превратилась в «мощное производственное предприятие» — так подсмеивалась над ней «Risus sardonicus», наша газета.

Весь первый курс я прожила у Нины, и, кажется, только потому, что у нас не было ни одной свободной минуты, мы не замерзали в этой комнате, отапливаемой паровым утюгом.

Нина училась в консерватории и служила там же, в пожарной охране, так что ей часто приходилось оставаться на ночные дежурства. А я — чем я только не занималась! Гурий достал мне работу в издательстве «Маяк»: для нового календаря нужно было найти подходящие антирелигиозные произведения в стихах и в прозе на каждый праздничный день, придумать имена и т. д.

К сожалению, мне достался не весь календарь, а только конец февраля и половина апреля. Антирелигиозных произведений было мало, и я предложила заменить их естественно-научными, объясняющими некоторые явления природы — гром, молнию и тому подобное. Эти «произведения» я написала сама, легко разобравшись, к своему изумлению, в книгах, которые еще совсем недавно казались мне очень трудными. Очевидно, лекции старого доктора не пропали даром.

Но вот календарь был сдан, и я устроилась на выставку знаменитого в те годы художника Т. В пустом зале Академии художеств висело на стене его полотно — огромная спираль, в которую были вписаны три геометрические фигуры: шар, куб и призма. По идее художника, который тут же давал объяснения, все три фигуры должны были беспрерывно вра-

щаться, причем в шаре помещалась вселенная, в кубе — солнечная система, а в призме — Земля. Я так хорошо запомнила эти объяснения потому, что каждый день от двенадцати до шести сидела в этом большом, пустом, холодном зале. Было трудно предположить, что подобное произведение кто-нибудь захочет украсть, но, к счастью, эта мысль не приходила в голову устроителям выставки, — к счастью, по той причине, что за шесть часов дежурства мне платили десять миллионов, или один рубль золотом по курсу Госбанка. Тут же висели другие произведения художника, и между ними — обыкновенная доска, выкрашенная в грязнорозовый цвет. Доска тоже считалась картиной, и подле нее, ожесточенно споря, останавливались лохматые юноши в длинных бархатных куртках.

Так прошла вся зима, и я каким-то образом не только успевала служить, не только занималась в институте, но бывала в театрах, и довольно часто. Так, мы с Ниной ходили в маленький театр на Невском, где ставились только очень страшные пьесы, так что весь вечер приходилось дрожать, а потом Нина не могла заснуть и лезла ко мне в постель, и мы обе тряслись, ругая друг друга.

ПЕРВЫЕ ГОДЫ

Почему первые годы моей студенческой жизни представлялись мне чем-то вроде кинокартины? Отдельные, бессвязные кадры проносятся передо мной, но это кажущаяся бессвязность: в глубине, до которой я сама добиралась с трудом, они пронизаны одной и той же мыслью — мыслью, которая смутно представлялась мне, когда, прислушиваясь к уговорам Лены Быстровой, я вдруг увидела перед собой старого доктора под цветущим каштаном, озаренным лучами заходящего солнца.

Вот я вхожу в зал, где на каменных столах лежат мертвые — мужчины и женщины, старики и дети. А вокруг разговаривают, занимаются, шутят. И я, как другие, разговариваю, смеюсь, ем, едва справляясь с тошнотой, подступающей к горлу. Как другие, я курю, чтобы избавиться от запаха формалина, преследующего меня в столовке, на улице, дома. Страшно, но я провожу скальпелем по восковому, кукольно-попсушному женскому телу — «не проснется, мертвая!» Кто она, откуда? Как ее зовут? Отчего она умерла? Есть ли у нее родные?

Это — первый день в анатомическом театре.

Вот на собрании комсомольской ячейки я рассказываю свою биографию, и стипендия в двадцать пять рублей присуждается мне подавляющим большинством голосов.

Неужели это я на первом курсе увлекаюсь вечеринками —

теми самыми, о которых с изумлением вспоминаешь на пятом! Неужели это я волнуюсь, тащу через весь город из одного дома патефон, из другого — пластинки, огорчаюсь, что в маленькой комнате нельзя танцевать, сержусь на Лелю Сопикову, у которой прекрасная квартира на Загородном?

Вот, готовясь к выступлению на районной конференции женщин-активисток, я перечитываю речь Ленина на III съезде РКСМ — и в одно целое соединяются десятки и сотни разрозненных фактов, из которых состоит моя жизнь, и Гурия, и Лены Быстровой, жизнь того поколения, которое «и увидит коммунистическое общество и само будет строить это общество».

«...Перед вами задача строительства, и вы ее можете решить, только овладев всем современным знанием, умея превратить коммунизм из готовых заученных формул, советов, рецептов, предписаний, программ в то живое, что объединяет вашу непосредственную работу, превратить коммунизм в руководство для вашей практической работы».

Ночь на Пустыньке вспоминается мне... Так вот что значит «совершить великое во имя и для счастья народа»! В новом свете представляется мне день, когда то, что я сделаю, проникнет в тысячи и миллионы сердец.

А жизнь идет, день за днем, за месяцем — месяц. Очень жаль, но выясняется, что я ничего не знаю по физике, даром что выпускной экзамен сдала на «вуд». На свете есть, оказывается, химия — предмет, которого почему-то не было в нашей школьной программе и занимаясь которым я убеждаюсь с отчаянием, что на свете едва ли найдется бóльшая тупица, чем я.

Анатом утверждает, что нет ничего вреднее зубрежки, что главное в его науке — система. Удачно соединяя эти понятия, я систематически зубрю анатомию — в трамваях, на заседаниях, на выставке художника Т. — и зазубриваюсь наконец до того, что о каждом движении, своем или чужом, невольно начинаю думать с анатомической точки зрения...

А жизнь идет, день за днем, за месяцем — месяц. Я слушаю лекции, составляю конспекты, зубрю по ночам, волнуюсь перед сессией. И вдруг все останавливается, уходит из глаз, замирает...

Зимним январским днем 1924 года миллионы людей под траурными знаменами направляются на Марсово поле. Глухой, взволнованный говор. Похудевшие лица с твердой складкой у рта, с провалившимися глазами. «Товарищи, умер Ленин». Тишина... Женский плач, подавленный, еле слышный.

Письмо старого доктора, начинавшееся словами «Дорогой Владимир Ильич», вспоминается мне.

«Всю жизнь служа человечеству, — писал он, — я был бы

бесконечно счастлив, если бы мои усилия, направленные против враждебных сил природы, составили хотя бы самую ничтожную часть вашей великой борьбы».

Тускло поблескивает снег в матовом, несверкающем инее — гранитная ограда могил на Марсовом поле.

«Для меня нет сомнений в том, что большевики думают лишь о благе народа и что их историческая правота является действительным залогом народного счастья».

Гудки заводов — траурный салют. Голоса, негромко говорящие о горе, которое касается всех, без различия возраста и пола, национальности и профессии. Маленькое красное солнце, неподвижно стоящее в туманном морозном небе, и слезы, и молодые клятвы верности тому, кто доказал, что в нашей власти — и в моей — изменить жизнь и сделать ее счастливой и прекрасной...

* * *

Я сказала, что «моментальные снимки» первых студенческих лет лишь кажутся бессвязными, а на самом деле далеко не случайно, что в памяти сохранились именно они, а не десятки и сотни других. Да, может быть! И все-таки главная причина этой неполноты и бессвязности заключается в том, что после моего провала в Институте экранного искусства я долго жила, не чувствуя в душе того горения, которое озаряет все вокруг и делает каждую подробность жизни запоминающейся и отчетливо яркой. Этот период кончился, когда на втором курсе я услышала лекции профессора Заозерского.

Он читал микробиологию, и первая лекция была как бы введением, но как не подходило к ней это слово! Это были живые картины из истории науки, которые он рисовал перед нами, как волшебник, одной фразой, одним энергичным движением маленькой пухлой руки. Так появился перед нами охваченный чумою Лондон 1605 года, полчища крыс, поселившихся в опустевших домах, белые кресты у входов, костры на перекрестках, ночные бесконечные вереницы телег, перевозивших трупы, толпы безмолвных жителей у королевского дворца — считалось, что прикосновение короля изгоняет болезнь. Он прочитал сообщение, появившееся в газете «Интеллидженс»: «Сим объявляется, что его величество изъявило непоколебимое решение никого более не исцелять до дня Михаила Архангела. Да примут сие к сведению лондонцы и да не потерпят разочарования в своих надеждах».

Тысячу раз я видела деревянные диски на канатах, которыми закрепляют у пристаней пароходы, и только теперь, из лекции Заозерского, узнала, что эти диски мешают чумным крысам спускаться на берег.

Он рассказал, что когда Дженнер открыл прививку против оспы (вакцинацию), его противники основали специальный журнал, в котором, искажая факты, порочили оспопрививание. Борьба была перенесена в парламент, где почтенные джентльмены доводами из библии доказывали, что вакцинация — это преступное и позорное дело. Прививка коровьей оспы, утверждали они, может превратить человека в корову.

— Это было сто двадцать лет назад, — сказал Заозерский. — Но борьба продолжается. В Англии до сих пор нет закона об обязательном оспопрививании. Более того! Вчера я прочитал в «Вестнике современной медицины», что британское министерство здравоохранения отметило за прошлый год несколько сотен случаев натуральной оспы. Таким образом, нельзя сказать, что усилия противников Дженнера остались безуспешными, — с иронией добавил Заозерский.

Не помню, как он перешел к Мечникову, помню только движение интереса, пробежавшее по аудитории, когда он сказал, что прекрасно знал Мечникова и работал у него на бактериологической станции в Одессе в 80-х годах. Веселое выражение заиграло на его лице, едва он упомянул это великое имя, и обширные, как бы написанные маслом исторические картины сменились маленькими, выпукло-точными, которые он стал быстро показывать нам одну за другой.

Вот девятилетний мальчик читает своим братьям лекцию и платит каждому по две копейки, чтобы они дослушали ее до конца. Но братья великодушно отказываются от гонорара. Вот шестнадцатилетний гимназист печатает первую рецензию, а восемнадцатилетний студент — первый научный труд. Вот Мечников решает пройти четырехлетний университетский курс в течение двух лет и проходит еще скорей — в полтора года. Вот двадцатилетний юноша докладывает о своих исследованиях на съезде зоологов в Германии, а вернувшись в Россию, получает премию имени Бэра.

Проходит еще три года, и профессор читает свою первую лекцию в переполненной аудитории Одесского университета.

— Прибавим к этим знаменательным цифрам еще одну, — смеясь, сказал Заозерский. — Ему не было и тридцати лет, когда его труды получили мировую известность. Что же это были за труды? Он был зоологом — почему же в русской и мировой микробиологии его имя занимает первое место? Было бы непосильной задачей рассказать обо всем, что сделал этот человек, занимавшийся вопросами происхождения и развития низших животных, защитой организма от микробов, естественной историей, причинами преждевременной старости человека. Я остановлюсь лишь на одной блестящей странице

его биографии. Я расскажу о гениальном открытии фагоцита...

Оля Тропинина, моя подруга по институту, о которой я еще расскажу, как-то сказала, что лекции Николая Васильевича Заозерского так же похожи на его печатный курс, как гениальное исполнение какой-нибудь симфонии — на ее нотную запись. В самом деле, какими холодными кажутся слова: «1882 год. Италия, чудная природа Мессинского побережья. Мечников один, семья уехала в цирк. Усталые глаза не отрываются от микроскопа. Он наблюдает жизнь подвижных клеток в личинке морской звезды...»

И какую глубину, какую живописность придавал им Заозерский, заставлявший слушателей почувствовать за этими словами рождение гениальной мысли!

— Что, если эти подвижные клетки служат для противодействия «вредным деятелям», проникающим в организм? — спросил он так живо, что мне захотелось ответить. — Что, если ввести в прозрачное тело личинки занозу? Не окружают ли ее эти клетки, если они действительно стремятся защитить организм? И, выйдя из дому, Мечников отламывает шип от розового куста и осторожно вставляет его под кожу личинки. — Заозерский замолчал и вдруг сказал задумчиво по-украински: — Да, це було дило.

Все засмеялись, и он тоже.

— Теперь я спрошу вас, друзья мои, — продолжал он: — что, по-вашему, самое важное в научном эксперименте? Да вы не ответите, потому что вы еще дети. Ожидание! Нужно уметь ждать. Нужно уметь справляться с мучительным нетерпением, не оставляющим тебя ни днем, ни ночью, доводящим до белого каления, подавляющим все другие мысли и чувства. Без сомнения, Мечников испытал его в ту неповторимую ночь. Рано утром он бросился к микроскопу. Удача! — весело сказал Заозерский таким голосом, как будто это была его удача. — Шип со всех сторон был окружен подвижными клетками. Так родилась теория — нет, первая мысль, которая легла в основание теории. За ней последовала другая: что происходит, если в палец, например, попадает заноза? Кожа покраснеет, появляется гной, начинается то, что врачи зовут воспалением. Но что такое гной, как не те же подвижные клетки, белые кровяные шарики, стремящиеся к пораженному месту? Не значит ли это, что воспаление — защитная, целебная реакция организма? Не значит ли это, что краснота, жар, боль — это только признаки борьбы лейкоцитов с микробами? Так зоолог вступил в мир врачей, живущих своими традициями, своими законами и враждебно встретивших «фантастическое» предположение. Так началась борьба, длительная, упор-

ная, полная трагических столкновений, борьба, которая продолжалась четверть века...

У меня защипало в горле и по спине, поднимаясь все выше, побежали звездочки восторга и счастья. Шопот раздался за моей спиной, я обернулась. Незнакомый студент, пыхтя и гримасничая, писал записку Маше Коломейцевой, моей соседке по комнате, хорошенькой девушке, у которой все невольно спрашивали, почему она поступила в медицинский, а не в какой-нибудь другой институт. Маша сидела вся красная, с трудом удерживаясь от смеха. Она не слушала Заозерского — вот что меня поразило! Впрочем, эта сцена лишь скользнула передо мной и мгновенно ушла из сознания.

Полный, немного сгорбленный пожилой человек с седой бородкой, с быстрыми, легкими движениями маленьких рук расхаживал по аудитории и говорил о неоткрытых тайнах природы.

— Уходящий в бесконечность путь научного труда лежит перед мыслящим человеком. Это путь сомнений, исканий. Но зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто в результате этих мучительных трудов и исканий находит хоть крупину общей истины, объясняющей еще неведомую тайну природы! Сегодня мы говорили о великих умах прошлого, шедших вперед, в то время как миллионы спотыкались в непроглядном мраке. Судите же сами, какая гордая задача ждет тех, кто захочет повернуть науку лицом к этим миллионам...

* * *

Скоро начались практические занятия по микробиологии; ассистенты Заозерского стали учить нас, как обращаться с микроскопом, как окрашивать микробы и так далее, — и у меня было ощущение, что я зашла в таинственный мир Павла Петровича с черного хода — зашла и стою на «кухне», с любопытством оглядываясь кругом. Но вот предмет был сдан, а я все еще чувствовала, что не сделала из «кухни» ни шагу. Я только чувствовала, что именно это, то-есть внезапно вспыхнувшая уверенность, что интереснее микробиологии нет ничего на земле, ведет меня вперед, помогая найти дорогу среди множества противоречивых впечатлений, непонятого пристрастия к одним предметам и еще более непонятого отвращения к другим — среди всего, что составляет первые курсы медицинского института.

* * *

Ранняя зима 1925 года. Утро после бессонной ночи, когда было обдуманно каждое слово. Кафедра микробиологии. Ассистентка Николая Васильевича, к которой решено обратиться

именно потому, что она ассистентка, то-есть женщина, а «женщина женщине не откажет».

— Я интересуюсь микробиологией. Позвольте мне у вас заниматься.

Высокая, красивая женщина, иронически улыбаясь, смотрит на меня сверху вниз:

— Хорошо, я поговорю с профессором. Впрочем, едва ли он разрешит: у нас нет ни одного свободного места.

Долгая пауза. Ассистентка молчит, и я ухожу из лаборатории, в которой мы говорили. Но из здания кафедры мне почему-то не хочется уходить. В непонятном, беспечном настроении я брожу по коридорам, заглядывая то в один кабинет, то в другой. В состоянии отчаянной решимости, переходящей в полное отсутствие мысли, я спускаюсь в вестибюль и, спросив у сторожа, когда придет профессор, степенными, но легкими шагами направляюсь прямо в его кабинет.

Ни души! Но, должно быть, служитель, принесший графин с водой, только что вышел — еще качается в графине вода и зайчики بشумно, послушно перебегают со стены на ковер, на портьеру, за которой я стою не дыша.

Профессор является — его легко узнать по шуму дыхания, шороху шагов и вообще по какому-то ему одному присущему добродушному шуму. Сотрудники входят и выходят, красивая нарядная ассистентка проплывает так близко, что я чувствую движение воздуха от ее качнувшегося платья. Зайчики еще перебегают, но все короче размах, еще минута — они остановятся, и тогда произойдет — не знаю что, но что-то страшное, потому что сердце заранее начинает биться медленно и гулко. И страшное происходит. Я слышу, как профессор встает и неторопливо запирает двери на ключ. Насвистывая, он направляется прямо ко мне. Он хватает меня за руку и вытаскивает из-за портьеры:

— Ну-с, сударыня?

Я знаю, что нужно сказать: «Профессор, я интересуюсь микробиологией с детства. Позвольте мне работать на вашей кафедре». Но вместо этих убедительных, давно заученных слов я говорю: «Ав-ва-ва».

— Что такое?

В первый, но далеко не в последний раз я слышу, как Заозерский смеется, и что это за добродушный, оглушительный смех!..

На всю жизнь запоминается мне разговор, в котором на самые важные в моей жизни вопросы я отвечаю только «да» или «нет».

— Ясно ли вы представляете, что вас ожидает в дальнейшем? Вы, может быть, думаете, что наука — это легкое дело?

Это, сударыня, годы труда, самоотверженного и незаметного! Да что там годы — вся жизнь! Это отчаяние, когда вдруг убеждаешься, что десятки опытов пропали напрасно. Когда из этих опытов другой ученый делает вывод, который прошел мимо тебя. Вам, например, кажется, что вы умеете думать?

— Да.

— Сомневаюсь.

Он смотрит внимательно, добродушно, лукаво.

— Думать — это упорно исследовать предмет, подходить к нему с той и с другой стороны, собрать все доводы в пользу того или другого мнения о нем, устранить возражения, признать пробелы там, где они есть, и доказать, что их нет там, где их находят другие. Вот это вы умеете?

— Нет.

— А хотите заниматься наукой!.. А замуж пойдете? Вам сколько лет — двадцать? Пройдет еще два или, самое большее, три года, и все науки в мире покажутся вам просто вздором в сравнении с привязанностью любимого человека.

— Нет, нет!

Он улыбается, теребит бородку — доволен.

— Ну что ж? Тогда по рукам?

— Да, да.

И Заозерский предлагает мне на выбор две темы для реферата, догадываясь, без сомнения, что об «иммунизации против дифтерии анатоксином» я знаю так же мало, как и об «эпидемиологии малярии».

* * *

Не помню, где и когда я узнала, что до Николая Васильевича в России не было ни одной кафедры бактериологии, что сначала она помещалась в одной комнате, а весь штат состоял из профессора и служителя. Профессор своими руками приготавливал для практических занятий материал и посуду.

Теперь это было большое двухэтажное здание, по которому ходил, улыбаясь и насвистывая «Реве тай стогне Дніпр широкий», полный человек с седой бородкой и лукавыми молодыми глазами.

В течение двадцати пяти лет — юбилей был отпразднован, когда я перешла на второй курс, — он вел кафедру, и это не мешало ему руководить крупнейшими экспедициями против чумы и холеры. Он был в Аравии, Маньчжурии, Персии, Индии, Монголии и Китае. В «Ниве» 1895 года напечатано много фотографий, изображающих противочумную экспедицию Заозерского в Китай, — и среди них одна, очень странная: мандарин торжественно вручает русскому доктору китайчонка. Этого китайчонка Николай Васильевич нашел в деревне,

вымершей от чумы, привез в Петербург, усыновил, и теперь на кафедре время от времени можно было видеть добродушного молодого китайца, который, к огорчению Николая Васильевича, не проявлял ни малейшего интереса к микробиологии, но зато делал великолепные вещи на токарном станке.

Что еще рассказать о моем Николае Васильевиче? Что у этого известного ученого никогда не было ни копейки — не потому, что он мало зарабатывал, а потому, что с необычайной легкостью тратил, ссужал или просто дарил свои деньги. О том, что он был украинец из бедной крестьянской семьи и всю жизнь переписывался с односельчанами; недаром академик Омелянский писал впоследствии, что «имя Заозерского так же хорошо известно любому китайскому врачу, как и любому крестьянину села Чеботарки». О том, что в молодости он проглотил холерные вибрионы, причем свидетелей поразило хладнокровие, с которым был поставлен этот рискованный опыт. Словом, это была жизнь удивительная и поучительная, полная необыкновенных событий.

Что касается лекций Николая Васильевича, то самое бледное представление о них дает его известный печатный курс. Да и как передать на бумаге эту искренность, это вдохновение, за которыми всегда чувствовалась уверенная ясность дела!

Это был человек, которого не просто любили, но обожали студенты, и который, в свою очередь, всегда работал, прислушиваясь к шуму молодых голосов. Недаром его кафедра была самая популярная в институте.

ТРИ ДОМА

Вы думаете, может быть, что одна только наука интересовала меня в студенческие годы? Правда, с тех пор как я увлеклась микробиологией, мне стало гораздо интереснее жить, потому что в душе опять появилось «главное», к которому я все время прислушиваюсь, как музыкант, настраивая свой инструмент, прислушивается к камертону. Но это вовсе не значит, что я жила иначе, чем другие студенты. Так же как другие, я слушала лекции, ходила на практические занятия, а потом кафедра, общественная работа и еще тысячи каких-то дел, с такой быстротой подгонявших неделю за неделей, что я прекрасно помню удивление, с которым каждый раз встречала новое время года: как, уже весна? Ведь только что была осень! Зимой, по выходным дням, мы ездили в Юкки. И так хороши были эти катанья с гор среди белых мохнатых деревьев, это чудное ощущение усталости, молодости и здоровья, когда, вернувшись домой, ляжешь, закроешь

глаза, и сейчас же перед тобой с поразительной яркостью возникает белый, сверкающий снег и синее небо!

Перейдя на второй курс, я получила место в общежитии на улице Льва Толстого. Соседки — комната была на четверых — менялись каждый год, я оставалась, и таким образом перед глазами прошли по меньшей мере десять девушек, умных и не очень умных, беспорядочных и аккуратных, шумных и тихих. Среди них была Вера Климова, тихая, некрасивая — настоящая медичка по призванию, в которой с первого же дня клинических занятий почувствовалось умение подойти к больному. А были и мечтавшие лишь о счастливом замужестве, у которых, как у Маши Коломейцевой, всегда хотелось спросить, почему для этой цели был избран медицинский, а не какой-нибудь другой институт. Но у всех этих девушек, бесконечно разнообразных по развитию, наклонностям, вкусам, была общая черта: если бы не революция, ни одна из них не училась бы в вузе. Одни отчетливо сознавали и очень ценили этот бесспорный факт, другие — не очень. Так или иначе, он был характерен для того нового студенчества, которого с каждым годом становилось все больше.

Еще на первом курсе я подружилась с Олей Тропининой; мы были едва знакомы, когда на заседании предметной комиссии она прислала мне записку: «По мнению оратора, между интеллигенцией и комсомолом — стена. Докажем обратное».

Это была живая и умная девушка, у которой — казалось, без всякой причины — случались внезапные припадки тоски. Она прекрасно знала два языка — английский и немецкий, на экзаменах отвечала свободно и писала легко, не задерживаясь на каждой фразе, как это делала я. Впоследствии, когда я принялась за первую самостоятельную работу, на примере Оли Тропининой мне стало ясно, как важно знать языки, физику, химию, уметь легко и связно писать — словом, пройти хорошую школу. Вот когда школьные годы представились мне в совершенно ином свете, чем прежде! И не раз приходилось горько вздыхать, думая о том, как много драгоценного времени было потеряно даром.

Сдержанность, которая тоже очень нравилась мне, была в наших отношениях с Олей: мы, например, почти никогда не говорили о личных делах. Впрочем, однажды она сказала, что не выйдет замуж, и когда я спросила с удивлением: «Почему?», ответила, что у нее недавно умерла мать и она дала себе слово никогда не расставаться с отцом.

У Оли было бледное красивое лицо с черными влажными глазами, густая черная коса, которая два раза обвивала изящную небольшую головку. И, глядя на нее, я часто думала о том, как трудно будет ей сдерживать свое слово...

В общем, самыми близкими моими подругами по институту были Оля и Лена Быстрова. Кстати сказать, они прекрасно относились друг к другу, но только когда мы бывали втроем. Без меня они ссорились, иногда по самому ничтожному поводу, а потом жаловались мне друг на друга.

Еще об одном человеке хочется мне рассказать, хотя я и не была так близка с ним, как с Олей и Леной, — о Леше Дмитриеве, секретаре нашей комсомольской ячейки. Это был высокий, худощавый юноша, застенчивый, легко красневший и поражавший всех, кто его знал, своей убежденностью и чистотой. Он слегка заикался, но этот недостаток не только не мешал ему выступать, но, наоборот, придавал его речам впечатление энергии и силы. Он как бы ежеминутно останавливался с разбегу, но этот разбег каждый раз был обдуманно направлен в самое слабое место противника, — его речи против оппозиции в особенности запомнились мне. Это был агитатор врожденный, талантливый, умевший в самых общих, отвлеченных вопросах найти жизненную, практическую основу.

Мне хорошо жилось в общежитии, между прочим, еще и потому, что с третьего курса я вступила в студенческую коммуны. Коммуна была большая, человек двести, со своей хозяйственной и столовой комиссией и со своим казначеем, которому каждый месяц мы отдавали свои стипендии, оставляя себе полтора рубля — не на трамвай: мы ездили зайцами, а на «чайное довольствие», или, как шутили студенты, «отчаянное удовольствие», состоявшее из ванильных палочек, покупавшихся в булочной на Большом проспекте.

Но, конечно, самое интересное, что происходило в общежитии, это были диспуты на современные темы. Один из них запомнился мне навсегда, потому что в тот вечер к нам приехал знаменитый поэт Маяковский.

Диспут назывался «Искусство и утилитаризм» или что-то в этом роде — в общем, нужно было решить, совместимо ли искусство с утилитаризмом или несовместимо. Первую точку зрения — совместимо! — защищал критик, не помню фамилии — кажется, Корочкин, красивый, полный молодой человек в очках, говоривший круглыми, законченными фразами, как бы таявшими в ушах, так что в результате от них решительно ничего не оставалось. Вторую точку зрения — несовместимо! — защищал черный, тоже красивый, с горящими черными глазами критик Лурье, говоривший необыкновенно быстро и употреблявший множество иностранных слов. Критики сидели на эстраде за двумя столиками друг против друга и говорили по очереди. Сперва этот спор показался мне довольно забавным, главным образом потому, что почти каждую фразу они начинали одинаково: «Считаю своим долгом заметить, что уважаемый колле-

га...» — и мы держали пари, сколько еще раз будет сказана эта фраза. Но потом мы соскучились, и столовая, в которой происходил диспут, стала быстро пустеть. В это время пришел Маяковский.

Он остановился в дверях, такой большой, широкоплечий, что при первом взгляде на него показалось естественным, что именно он написал «Левый марш». Опустив голову, он послушал сперва одного критика, потом другого — и улыбнулся: должно быть, ему стало смешно, что они сидят за двумя столиками и так длинно, вежливо называют друг друга. Он пришел с какой-то женщиной, на которую мы все посматривали — было очень интересно, кто это: его жена? сестра? Женщина сразу же стала что-то говорить ему шопотом, и он должен был наклоняться, чтобы услышать ее с высоты своего огромного роста.

Потом открылись прения, Маяковский выступил, и я впервые услышала этот низкий голос, похожий то на приближавшийся, то на удалявшийся гром. Гурий — он был на диспуте — хорошо заметил, что это голос человека, пишущего стихи, которые невозможно читать шопотом.

Нельзя сказать, что Маяковский высоко оценил значение диспута. Он приблизительно подсчитал, сколько времени потеряно даром, и получилось что-то вроде тысячи восьмисот человеко-часов.

— Что можно сделать за тысячу восемьсот человеко-часов? — спросил он, глядя на нас исподлобья.

И предложил убирать с трамвайных путей снег в другой раз, когда нам захочется устроить подобный диспут.

— Вот этот Корочкин, — сказал он и кивнул на красивого, полного критика в очках, сидевшего слева, — утверждает, что...

И своими словами, очень кратко, он рассказал, что, по его мнению, утверждает Корочкин.

— А вот этот Корочкин, — продолжал он и показал на критика, сидевшего справа, — утверждает, что...

Это было так неожиданно после всей той вежливости, с которой противники долго опровергали друг друга, и так обидно и смешно, что критики еще немного посидели и вышли — сперва Корочкин, сидевший слева, потом Корочкин, сидевший справа. А на эстраде, сняв пиджак и повесив его на стул, стал расхаживать Маяковский.

— Владимир Владимирович, «150 000 000»! — кричали студенты.

Он остановился, объяснил, что недавно вернулся из Америки, и хотел бы сперва рассказать о ней в прозе...

В этот вечер передо мной вновь с беспощадной силой явилась та простая мысль, что мир расколот и борьба между но-

вым и старым неизбежна и неотвратима. Когда Маяковский сказал, что Пушкина и теперь не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу или гостиную Нью-Йорка, «потому что у него были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями», или когда он привел надпись на могиле повешенных чикагских революционеров: «Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушили», — мне стало холодно от волнения, и я обернулась.

Я обернулась, приложив похолодевшие руки к щекам, и увидела множество молодых, серьезных, внимательных лиц — привычных, знакомых лиц моих товарищей по коммуне, по институту, по курсу. Это были «мы», то-есть поколение, которое должно было сделать очень многое. Кто знает, как объяснить возникшее во мне чувство? Это было все сразу — и мысль, что у нас будет трудная жизнь, и гордость, что эта трудная, интересная жизнь достанется именно нам, и какая-то лихость, отвага, точно дыхание бури коснулось меня, и я смело взглянула в глаза этой буре. А большой человек крупно, но мягко шагал по эстраде и все говорил, говорил... Он и не думал скрывать трудности, горести, страдания, которые нас ожидали. Он сурово требовал от нас ежедневного подвига, «ежедневного и чернорабочего, если это будет нужно народу».

И только однажды Маяковский от души рассмеялся. Рассказывая о бое быков в Мексике, он с иронией назвал его «культурным развлечением». Одна девушка с нашего курса, не разобравшись, в чем дело, спросила:

— Почему вы назвали эти развлечения культурными?

Он ответил очень низким и добрым голосом:

— К сожалению, человеческая речь не имеет кавычек. Разве вот так... — И руками изобразил кавычки.

* * *

Кроме общежития, у меня было еще два «главных дома» — Быстровых и Нины Башмаковой. Мои соседки по комнате заранее знали, что если меня нет в первом доме, значит, я во втором или в третьем. У Нины тоже был студенческий круг, но удивительно не похожий на наш. Это были консерваторки, студенты Института сценических искусств, молодые артисты, и, слушая их разговоры, я всегда начинала бояться, как бы мне не одичать со своими микробами, которые требовали все больше труда и внимания.

Нина стала очень хорошенькой, ей часто объяснялись в любви, и тогда она прибежала ко мне взволнованная и тащила к себе ночевать — ей необходимо было немедленно обсудить со мной, серьезно это или несерьезно. Почти всегда ей казалось,

что серьезно, и мне приходилось — в который раз! — доказывать, что не все люди могут любить, потому что любовь — это такой же талант, как искусство или наука. И Нина, как всегда, засыпала на полуслове, а я еще долго лежала с открытыми глазами. Набережная Тесьмы вспоминалась мне, плоты, плоты, куда ни кинешь взгляд, и утренний парок над ними, и шум у пристани, и то, о чем мы говорили, и то, о чем так и не сказали ни слова. И мне начинало казаться в полусне, что это был не Андрей, а кто-то другой, высокий, не замечающий меня, с недовольно поднятыми бровями. «А ты, — я спрашивала себя, — могла бы полюбить? Наверно, нет! И очень хорошо, что Андрей перестал мне писать, хотя я так и не знаю, в чем я перед ним провинилась...»

По субботам Володя Лукашевич приезжал из Кронштадта и долго сидел, не говоря ни слова, и, как в Лопяхине, я начинала бояться, что он опять скажет что-нибудь неожиданное. Но заходил Гурий, и Нинина комната превращалась в уголок Лопяхина, точно, уехав из родного города, мы захватили с собой нашу юность.

Зато мой третий дом — это был уж такой Ленинград, что ничего более ленинградского, кажется, невозможно было себе и представить.

Это был дом Быстровых.

Давно забыла я и думать о нашей первой «холодной» встрече с Василием Алексеевичем. Теперь я всегда старалась приехать к Лене в те очень редкие часы, когда он был дома. По выходным дням мы гуляли, и это были интересные прогулки, оттого что он знал историю каждой улицы, каждого дома.

Василий Алексеевич был членом исполкома райсовета и принимал самое деятельное участие в планах, которые должны были преобразить Московско-Нарвский район. В особенности он был увлечен идеей создания Дома культуры. В 1925 году было решено на пустыре, на Нарвской площади, построить Дом культуры.

Как жаль, что в те годы я была еще так беспечна, что не записала ни одного из бесчисленных рассказов Василия Алексеевича! Это были даже не рассказы, а беглые воспоминания, но как виден был, иногда в двух-трех фразах, его простой и оригинальный характер.

Вот как, например, он рассказывал о своей подпольной работе:

— ...Чужой паспорт иногда давал себя неожиданно знать. Одно время жил я по паспорту Никиты Ершова, крестьянина Псковской губернии. Вдруг повестка — восемь рублей поземельных. Заплатил. Вторая — столько-то подушных. Опять заплатил. Думаю, все. Как бы не так! Третья приходит. Двести руб-

лей недоимки! Плюнул. Достал другой паспорт. Сменил район. Стал Ильей Александровым, мещанином Павлова-Посада, Московской губернии...

Мы часто говорили о маме, и я узнала странные вещи, очень неожиданные: например, что в молодости мама была очень красива.

Василий Алексеевич рассказывал о ней без всякой таинственности, совершенно иначе, чем она всегда говорила о нем. Так, очень просто он рассказал, как она обманула его и вышла за другого, как и после свадьбы он помогал «молодым» — пытался устроить моего отца на Путиловский, убедил его дать зарок от пьянства, но ненадолго хватило этого залога.

— Очень хорошо, что ты рассталась с отцом, Таня, — однажды сказал он серьезно. — Это такой человек, которого трудно не пожалеть, а вместе с тем жалеть его — преступление!

Василий Алексеевич работал мастером в модельном цехе, но и дома у него стоял верстачок, на котором он постоянно что-то строгал, вырезал, выпиливал для себя, но в конце концов все-таки не для себя, а, например, для будущего Дома культуры. Впрочем, все были заняты, когда я приходила к Быстровым; но как-то вышло, что эти занятия не мешали разговаривать, смеяться, даже разыгрывать друг друга. Разыгрывали главным образом Марию Никандровну Быстрову, доверчивую, сердито-добродушную, вспыльчивую, со страстью входившую во все заботы и дела молодежи. Я сказала: со страстью, и это было именно так! Сколько раз слышала я возмущенные речи Марии Никандровны по поводу какой-нибудь тетки, которая отказывалась поддержать Лениного товарища или подругу! Сколько раз Мария Никандровна ругательски ругала нашего анатома, который действительно был несправедливо придирчив! Кому только она не помогала — одеждой, деньгами! Она легко увлеклась людьми и трудно, болезненно разочаровывалась. Среди наших студентов она славилась, между прочим, своими чудесными пирогами, но мы-то с Леной знали, как любила она пробовать новые, рискованные рецепты, часто приводившие — увы! — к поразительным неудачам. Тут уже насмешек хватало по меньшей мере на неделю.

Мария Никандровна была женщина пятидесяти пяти лет, крупная, шумная, широкая, так что Василий Алексеевич, который был среднего роста, рядом с ней казался маленьким, суховатым. У Быстровых часто бывала Елена Петровна Овцына, работница «Электросилы» и моя будущая ученица — я подготавливала ее в школу для взрослых.

В общем, душой этого дома была все-таки Лена, с ее прямотой, быстрыми решениями, с ее любовью к собраниям, особенно для нее характерной. И не только к собраниям — для нее

наслаждением было замешаться в толпу на празднике, на гулянье. Так и вижу ее на улицах Ленинграда после первомайской демонстрации, когда колонны уже смешались, начинают расходиться, идут беспорядочно по тротуарам и мостовой, и Лена, веселая, в сбившейся косынке, размахивая бумажной розой, метко отшучивается от ребят (она за словом в карман не лезла) — и вдруг исчезает за углом или в воротах. Это значило, что она увидела какого-нибудь малыша и занялась им, забыв обо всем на свете. Она обожала детей. Недаром родные и друзья всегда советовали ей стать не медиком, а воспитательницей, педагогом. Но Лена считала, что для того, чтобы учить других, нужно уметь работать над собой, «а у меня, чорт побери, из этого никогда ничего не получалось».

НИЧЕГО НЕ ВЫХОДИТ

Мой первый реферат (я выбрала «анатоксин против дифтерии») прошел, в общем, довольно удачно — не потому, разумеется, что мне удалось сказать нечто новое — куда там! — а потому, что впервые в жизни я прочитала несколько настоящих научных работ. Ох, как это было трудно! И как не похоже на ту опасную, интересную жизнь борца с болезнями, которую нарисовал в своей первой лекции Заозерский. Ничего самоотверженного не было в этом чтении, от которого меня сразу же бросало в пот, так что я сидела хлопая глазами, красная, как в бане. Точно эти работы были написаны на иностранном языке — так я читала, останавливаясь после каждой фразы. К столу, на котором лежала книга Николая Васильевича «Наблюдения над дифтерийным анатоксином», я неизменно подходила с одним и тем же чувством: бежать от нее, и возможно скорее. Но я не убегала. Я прочла «Наблюдения» два раза, потом принялась за другую, еще более трудную книгу и так, день за днем, ушла с головой в чтение научной литературы. Когда мой реферат был уже доложен и обсужден, Заозерский, смеясь, сказал мне, что он боится, что «ничего большего мне в жизни не удастся сделать — во всяком случае, по объему». Конечно, это была шутка. Но через несколько дней я пришла на кафедру, и он с первого слова спросил, намерена ли я продолжать заниматься дифтерией.

Я ответила: «Да», и, обняв меня за плечи, задумчиво пройдясь вместе со мной по своему кабинету — у него была такая привычка, — Николай Васильевич поручил мне самостоятельную работу. Это был опыт активной иммунизации против дифтерии — довольно сложная, в особенности для студентов, задача, которую, во всяком случае, нельзя было решить при помощи чтения.

Я должна была научиться:

- 1) заражать здоровых свинок и вскрывать зараженных;
- 2) пассировать, то-есть изучать рост дифтерийной палочки на разных питательных средах;
- 3) готовить эти среды из сыворотки крови и т. д.

И это был далеко не полный перечень того, чему я должна была научиться!..

Кафедра была — или показалось мне в те далекие годы — очень большой. Кроме меня, у Николая Васильевича работали еще по меньшей мере десять студентов, из которых каждый был — или казался — в тысячу раз умнее и начитаннее, чем я. Гордая, красивая ассистентка, проходя мимо меня, каждый раз делала что-то такое своими красивыми глазами, что легкий холодок неизменно пробежал у меня по спине. Сердитая старуха-препараторша то и дело отправляла меня обратно в школу второй ступени. И вообще сначала было очень страшно — даже не сначала, а долго, месяца три. Все фыркали на меня, всем я мешала! Наконец меня приютил в своей комнате один из ассистентов Николая Васильевича — маленький, круглый, лохматый, по моим тогдашним понятиям — пожилой человек, лет двадцати восьми. Фамилия его была Рубакин. Но вся кафедра звала его просто Петя.

Не помню, где я читала — кажется, у де Крюи — об «отчаянии, свойственном девушкам-бактериологам». Трудно найти для моего тогдашнего настроения более верное слово. Как Мальчик-с-пальчик, которого старшие братья завели в лес и оставили одного, так я бродила по темному лабиринту, в котором на каждом шагу встречались пропасти и засады и который назывался «опытом активной иммунизации».

Это продолжалось день, два, три, неделю, месяц! Всю зиму! Начались клиники, я пропустила вводные занятия по терапии и опозорилась, открыв ярко выраженный шум в сердце у печеночного больного, о котором профессор сказал, что в наше время «редко встречаются обладатели более здорового сердца». Но разве стала бы я огорчаться подобными мелочами, если бы в лаборатории хоть что-нибудь получалось? Если бы Петя, застенчиво улыбаясь, не спрятал от меня стеклянный колпак от микроскопа на шкаф — я била посуду? Если бы красивая, гордая ассистентка не сказала Николаю Васильевичу, думая, что я не слышу, или, наоборот, рассчитывая, что я услышу: «Никогда ничего не выйдет. Дырявые руки!»?

В конце концов я все-таки кое-чему научилась. Свинки, например, начали заражаться — первое время они даже в этом отношении отказывались идти мне навстречу. Сре́ды стали выходить. Но дифтерийная палочка, которую я (по-моему, очень удачно) провела через эти среды, почему-то не хотела терять

своих ядовитых свойств. Не хотела — в то время как именно это и было моей главной задачей.

Разумеется, я знала, кто мог бы помочь мне — Николай Васильевич! Но он даже не подходил ко мне, а когда я, едва увидев его, бросалась к нему с готовым вопросом, делал равнодушное лицо и поспешно проходил мимо. Все-таки я спросила его, какую литературу он рекомендует для моей работы. Он лукаво усмехнулся и сказал:

— Читайте «Дон Кихота».

Что это значит? Расстроенная, я отправилась в лабораторию, и Петя Рубакин, смеясь, объяснил мне, что у Николая Васильевича «такая метода».

Так или иначе, выход был только один: работать. И я работала, стараясь отогнать от себя печальные сомнения, мучившие меня, как повторяющийся, утомительный сон.

* * *

В этот вечер из лаборатории я отправилась к Нине, не застала ее и решила дожидаться: мне хотелось переночевать у нее.

Обычно в десятом часу за стеной происходило чтение — хозяйка читала внуку «Войну и мир». Но сегодня было тихо, как будто нарочно для того, чтобы я могла спокойно подумать: что же, собственно, случилось со мной?

Ничего особенного! То же самое, что произошло в тот печальный день, когда режиссер из Института экранного искусства сказал мне, что я могу стать кем угодно — математиком, инженером, педагогом, но актрисой — даже очень плохой — никогда!

«Но ученым, даже очень плохим, — могла я прибавить теперь, — никогда!» Работа не удалась, и нужно просто оставить ее. Работа не удалась! Что же? Погасить чувство восторга, изумления, счастья, загоравшееся в душе, когда я читала «Этюды оптимизма» Мечникова, которые стали моей любимой книгой? Завтра же отправиться к Николаю Васильевичу и отказаться от темы — навсегда, навсегда?

...Очень не хотелось вставать, но я все-таки встала, надела Нинин халат и уселась за стол. Мне нужно было написать несколько писем. Я сосчитала на пальцах — не меньше пяти.

«Володя, не приезжай послезавтра, я занята», — это было самое короткое письмо и самое простое. Володе Лукашевичу можно при встрече все объяснить, а на мой билет — он достал два билета на «Зигфрида» с участием Ершова — пойдет кто-нибудь другой или другая, мне все равно.

Сочинить второе письмо было гораздо труднее, потому что его должен был получить и прочесть один взрослый, серьезный, умный человек, у которого был только один недостаток: он до-

казывал, что не может жить без меня. Я написала ему, что уезжаю из Ленинграда на сельский участок и что, быть может, «мы еще встретимся в жизни». «А если не встретимся, — прибавила я равнодушно, — простите и не поминайте лихом всегда признательную вам за дружбу Т. В.»

Уж не знаю, сколько раз я вздохнула, прежде чем взяться за третье письмо, которое должен был получить один молодой врач, недавно кончивший Военно-медицинскую академию. Это были как раз те отношения, когда ничего не нужно доказывать друг другу, а просто очень весело встречаться, бывать в Филармонии и на гастрольях МХАТа. С детским, радостным изумлением оглядывался он на меня, когда что-нибудь интересное, остроумное или страшное поражало его. Да, ему-то, без сомнения, очень грустно будет получить это письмо, тем более что он, так же как и я, одинок и еще недавно говорил мне, что был бы счастлив, если бы у него была хоть сестренка, которую он мог бы иногда баловать.

И я написала ему правду, то-есть что с этого дня все мое время будет отдано работе на кафедре, и потому я прошу его, как это ни грустно, до весны забыть обо мне. Почему до весны? Это было неясно, но я зажмурилась, потянулась и написала все-таки: до весны.

Нина вернулась, когда я сидела за четвертым письмом, и только сказала: «А, доктор еще не спит?», как я уже поняла, что она выступала с успехом. Студенты консерватории поставили «Пиковую даму», и Нина — это был ее дебют — сегодня впервые пела графиню.

Не раздеваясь, она поцеловала меня, потом покружилась по комнате, села на пол, зажмурилась. Потом заговорила — и это было так, как будто на меня обрушился огромный, легкий, разноцветный ворох. В течение пяти минут я узнала о костюмерше, которая плохо заколола какую-то ленту, о каком-то Ваське Сметанине, который сказал, что Ниночка родилась, чтобы петь графиню, о восторге и аплодисментах публики, которая, оказывается, сразу насторожилась, едва Нина в первом акте появилась на сцене, — словом, обо всем, чем была полна моя подруга и что было так бесконечно далеко от меня.

Потом Нина легла и мгновенно уснула, и в комнате сразу стало, как на сцене, где только что было шумно и весело, но опустился занавес и наступила тишина, темнота...

* * *

А жизнь идет — день за днем, месяц за месяцем. Вот я пишу первую историю болезни. Жалобы при поступлении — одышка, слабость, головная боль. Никто не знает, отчего умирает этот человек, но он умирает. На руках людей, постигших

тайны болезней, он умирает. Студенты шопотом спорят о том, имеет ли право врач прекратить напрасные страдания, и ассистент возражает шопотом, что он обязан помогать больному до последнего вздоха. Что же сделало этого человека двадцати пяти лет неподвижным, лежащим прямо и строго, с вытянутыми ногами, с хмурым восковым лицом, озабоченным последней заботой? Кто знает! Диагноз под вопросом.

Вот на общем собрании комсомольской ячейки обсуждается дело Корсавина — молодого врача, который после окончания института отказался ехать на периферию. Леша Дмитриев, энергично стуча кулаком по столу, уже доказал, что Корсавин обязан вернуть государству 1760 рублей, затраченных на его обучение.

— Это будет прекрасный урок для лжебезработных, отказывающихся ехать на село и предпочитающих гранить мостовые больших городов!

Лена Быстрова, бледная, взволнованная, решительная, берет слово — и зал смолкает. Лену знают и любят. Тишина.

— ...Что же такое работа на селе, о которой говорят так много? Да, это тяжелая работа. Сегодня сельский врач лечит трахому, завтра помогает тяжелым родам, послезавтра делает операцию грыжи. А дальние поездки днем и ночью, в пургу и метель, лютой зимой и дождливой осенью, когда по колено в грязи нужно идти за четыре-пять километров! Но разве трудное — невозможно? Война в тысячу раз труднее, но разве трудности войны оправдывают дезертира?

Наш анатом, прихрамывая, поднимается на кафедру, и Маша Коломейцева, сидящая позади меня, говорит с досадой: «Ну, сейчас мы узнаем, что главное в анатомии — система».

Но мы узнаем совсем другое:

— Когда слышишь о трудных условиях работы участковых врачей, невольно вспоминается прошлое, о котором мне хочется сказать вам несколько слов. Семнадцать лет назад я, молодой врач, попал в глухой сибирский уезд. Моя больница помещалась в маленьком домике из двух комнат: в одной — «стационар», то-есть пять-шесть коек, стоящих почти друг на друге, в другой — приемная, аптека, операционная и мой кабинет. Каждый день я выезжал в переселенческие деревни, охваченные сыпным тифом. Зачастую дома были занесены снегом по крышу, и приходилось с чердака спускаться в сени, чтобы при свете огарка осмотреть больных. Мне помогала фельдшерица из ссыльных. А ближайшая больница отличалась от моей лишь тем, что обслуживала не двенадцать, а пятьдесят восемь тысяч населения и находилась не в сорока, а в двухстах восьмидесяти верстах от железной дороги. Судите же сами, что представляла собой работа сельского врача в дореволюционной России...

Мне тоже хочется выступить, да боюсь — уж очень много народу! Свою речь я произношу, вернувшись домой, лежа в постели и накрывшись с головой одеялом.

«Да, в снежную бурю и в лютый мороз... Но разве эти трудности и лишения могут остановить того, кто решил посвятить свою жизнь высокому призванию врача?»

По содержанию это похоже на то, что говорила Лена Быстрова, а по форме — на речь Анны из кинопьесы Гурия. Но недаром же в этой роли я некогда имела успех.

«Да, это суровая школа! Но что стоят эти заботы в сравнении с чувством счастья, которое охватывает врача в ту минуту, когда...»

И скупыми, но точными штрихами я рисую молодого врача, подходящего к постели больного ребенка. Измученные родители смотрят на него недоверчиво, но с надеждой. Скромно, но уверенно он (или она) ставит диагноз и лишь улыбается, когда мать (или отец) дрожащим голосом спрашивает: «Это опасно?»

Тут в зале начинается шум: «Ближе к делу!», «Ты не на сцене» и так далее. А я стою, сдержанная, спокойная, крепко сжав побледневшие губы.

«Да, линия огня, как сказал предыдущий оратор. Но разве, уйдя с этой линии, мы посмеем назвать себя гордыми представителями революционного мира?»

И долго еще сочиняла я под одеялом свою интересную речь.

* * *

А жизнь идет — день за днем, за месяцем месяц.

Вот в старых Боткинских бараках я прохожу вдоль длинного ряда коек, на которых лежат больные — возбужденные, сосредоточенные, застигнутые врасплох, потрясенные, равнодушные, полумертвые. Страстная, мучительная работа идет на каждой койке — жизнь работает, чтобы победить смерть. Невидимый мир, о котором рассказывал старый доктор, господствует в лихорадочном напряжении барака. Как же проникнуть в этот загадочный мир? Дело собственных рук, сознания, воли, надежды.

Дифтерийная палочка попрежнему отказывается терять свои ядовитые свойства, работа не клеится, и, думая о ней днем и ночью, на лекциях и практических занятиях, на кафедре и на заседаниях предметной комиссии, я вспоминаю наконец, что старый доктор в одной из лекций упоминал о подавляющем действии экстракта печени на возбудителя сибирской язвы. И впервые за последние три года я нахожу среди лопахинских дневников и писем записи лекций Павла Петровича, нахожу и принимаюсь за чтение.

Это были три самодельные тетради, сшитые из желтой, ломкой бумаги, на которой в двадцатом году печатались протоколы лопахинского Уполитпросвета. Латинские слова были записаны русскими буквами, а на полях здесь и там разбросаны рисунки, по которым нетрудно было заключить, что мысли слушательницы то и дело уходили за тридевять земель, в тридесятое царство. Среди рисунков особенно часто попадался профиль не то негра, не то Гурия Попова. Словом, по всему было видно, что слушательница меньше всего думала о том, что придет время, когда она будет тщательно восстанавливать нить, ведущую от одной лекции к другой и как бы тонко обводящую границы теории.

Правда, по этим записям трудно было назвать воззрения Павла Петровича законченной научной теорией. Но мечниковская идея микробного антагонизма была разработана старым доктором с новой и неожиданной точки зрения. В одной из лекций была дословно записана мысль Мечникова о «благодетельных микробах, оберегающих нас от болезнетворных». Однако Павел Петрович утверждал, что «благодетельные силы» нужно искать не только в микробном мире, а в организме человека, животных, насекомых, — силы, которые развились в процессе борьбы за существование на протяжении тысячелетий. Вероятно, он занимался этим вопросом очень давно, еще в ту пору, когда был преподавателем Московского университета, потому что в лекциях приводил примеры из своих старых работ. Среди них был и тот, который вдруг — и, кажется, без всякого повода — припомнился мне: о действии экстракта печени на возбудителя сибирской язвы. И не только язвы, но и сапа — это в особенности поразило меня. Причем опыты после многократных лабораторных испытаний были поставлены на животных и прошли, как утверждал Павел Петрович, с успехом.

Но и сапа... Это было ночью, в общежитии, соседки спали, я одна сидела за столом, над своими школьными тетрадками и думала: «Но и сапа... А может быть, и не только сапа...»

Маша Коломейцева просила разбудить ее в два часа — утром она должна была сдавать инфекционные и ничего не знала. Я растолкала ее, но она повернулась на другой бок и заснула.

Сказка о ночном стороже была вложена в одну из тетрадей, я машинально прочла несколько строк, написанных большими, корявыми детскими буквами. Мне вспомнился Лопахин — родной городок, в котором я так давно не была и по которому все-таки очень скучала. Каков-то стал теперь мой Лопахин? Узкоколейку кончили, и паровозы свистят теперь недалеко от Пустыньки, у самой Тесьмы. Еще недавно я чи-

тала в газете о нашем кожзаводе, который впервые в мире стал применять какую-то новую искусственную кислоту для дубления кожи. В середине декабря я получила письмо от Марии Петровны, сообщавшей, что она собралась учиться в музыкальном училище, которое открылось на месте бывшего «депо проката». Под старость у нее появился талант. И только на Павской горе все осталось таким же, как прежде. Городок шумит, волнуется, а там — тишина. Неслышными шагами мерит она дорожки от одной до другой могилы. Равнодушно смотрит на полинявшую дощечку: «Доктор Павел Петрович Лебедев» — и дата рождения и смерти. Равнодушно проходит мимо деревянной решетки вокруг холмика, под которым лежит «Наталья Тихоновна Власенкова» — и дата рождения и смерти...

Ну, полно! Вернемся-ка лучше к экстракту из печени. Стало быть, он подавляет возбудителей сибирской язвы и сапа. А почему бы, собственно говоря...

Маша спала, сложив руки на груди, и некоторое время я пристально смотрела на нее, стараясь вспомнить, о чем она меня просила. Что-то важное! Ах, да! Завтра инфекционные, и нужно все-таки разбудить ее, а то она непременно провалится. Я встала из-за стола, подошла к Машке — и забыла, зачем подошла. А почему бы, собственно говоря, не прибавить экстракт из печени к средам, через которые я провожу свою дифтерийную палочку? Если печень действительно содержит вещества, задерживающие рост возбудителей сибирской язвы и сапа...

Наутро я отправила отцу в Лопахин письмо, в котором спрашивала: находится ли в целости и сохранности чемодан с бумагами старого доктора и нельзя ли переслать его ко мне в Ленинград с верной оказией? Отец ответил, что чемодан цел и невредим, но okazji не предвидится, разве что он сам, возможно, поедет в Ленинград, куда его давно приглашают на работу в бывший Александринский театр.

Петя Рубакин, которому я рассказала насчет печени, насмешливо поднял брови, но помог мне приготовить экстракт. Я поставила опыт, потом второй, третий, десятый, и дифтерийная палочка стала терять свои ядовитые свойства. Я не верила этому до тех пор, пока Петя не сказал решительно:

— А теперь отправляйтесь к Николаю Васильевичу! Живо!

...Минуло полгода с тех пор, как я принялась за «анатоксин против дифтерии». Была уже весна, и старушка-библиотекарша с удивлением спросила, зачем в разгаре экзаменационной сессии мне понадобился «Дон Кихот». Было бы слишком сложно объяснить, что эта книга, по мнению профессора Заозерского, является прекрасным пособием для изучения дифтерии, и я от-

ветила, что трудный предмет время от времени полезно перебивать легким чтением.

Николай Васильевич был в своем кабинете. Постучавшись, я зашла и молча положила на стол «Дон Кихота».

Он открыл первую страницу и засмеялся:

— Прочли?

— Прочла, Николай Васильевич. — Тетрадь с итогами опытов была вложена в книгу. — И вот результаты.

ПОЛЕТ

Эта история началась в тот день и час, когда в далекой поморской деревне, в трехстах километрах от железной дороги, пятилетний мальчик проснулся ночью и почувствовал, что не может вдохнуть. Четыре дня он молча пролежал в постели с бледновосковым лицом, с посиневшими ушами и носом, с отекающей шеей, вздувшейся, как у гремучей змеи. На пятый день он умер.

Что произошло между этой смертью и запиской Николая Васильевича, которую я нашла на своем столе? Не знаю. «Прошу зайти» — было написано острым, крупным почерком, и Петя Рубакин, ничего не объясняя, тоже сказал, что профессор просил зайти.

...Он сердито горбился над географической картой, и у него было недоумевающее лицо с надутыми губами, когда я вошла в кабинет.

— Садитесь. У меня к вам дело. Вы слыхали когда-нибудь о таком селе — Анзерский посад?

Мне смутно вспомнилось, что Анзерский посад где-то на Севере, на одной железной дороге с Лопахином, но очень далеко. Я так и сказала.

— Вот, мой друг. Это более трехсот километров от железной дороги. На карте есть — взгляните. А в энциклопедии нет. Так вот, нужно доставить в этот посад дифтерийную сыворотку. Почему ее не оказалось на месте? Почему нельзя доставить из Архангельска? Не знаю. И еще одно почему...

Он сердито почесал поросшую детским пушком голову и с унылым видом, но внимательно посмотрел на меня:

— Почему я хочу, чтоб это сделали вы?

Откровенно говоря, мне самой захотелось задать ему этот вопрос.

Только что я начала летнюю практику в Свердловской больнице, а на кафедре снова стало получаться что-то «непонятное, но интересное», как сам же Николай Васильевич сказал третьего дня. Мой милый адресат, которого я просила забыть обо

мне до весны, в первый же солнечный день прислал телеграмму: «Таня, весна!» А теперь кончался июнь, и мы условились в ближайший выходной день поехать на море, в Сестрорецк, а вечером — в театр. Я волновалась за Нину: ей только что объяснился в любви Васька Сметанин, и она уверилась, что «теперь-то уж это, без сомнения, серьезно». Но, кроме всех этих веселых и, в общем, не обязательных дел, было одно важное: Леша Дмитриев просил меня зайти к нему, и я догадывалась, что он будет говорить о том, что у меня слишком много времени уходит на академическую работу. Лена Быстрова, которая была в курсе дела, в ответ на мой вопрос, о чем пойдет речь, ответила загадочно: «И об этом...»

— Ага, не хочется! — не дожидаясь моего ответа, сердито возразил Николай Васильевич. — Стало быть, что же? Вы всю жизнь намерены просидеть в этом стеклянном мире?

Стеклянный мир — это была лаборатория.

— А с какой целью он существует на свете, это вы себе уяснить не желаете? Нет-с, сударыня! Микробиолог, которому в наше время предоставляется случай своими глазами увидеть дифтерийную эпидемию и который отказывается от этой редчайшей возможности, — не микробиолог!

— Как эпидемия? Об этом вы ничего не сказали!

— Да, да. И сильнейшая. Смертность — сорок процентов!

— От дифтерии?

Страницы учебника мысленно прошли перед моими глазами, с рисунком, на котором был изображен задыхающийся ребенок, с примечанием, в котором была указана смертность до и после открытия сыворотки. Сорок процентов — это было «до».

— Разумеется, согласна, Николай Васильевич. Когда нужно ехать?

— Лететь!

— Все равно, лететь! Сейчас?

— Завтра утром. И завтра же нужно быть в Анзерском посаде.

* * *

Прямо от Николая Васильевича я отправилась искать Лешу Дмитриева — искать, потому что было еще утро, а жизнь в профкоме и ячейке начиналась обычно с четырех часов дня. Но Леша был уже на месте — энергично прикусив губу, делал выписки из какой-то книги. Я вошла и удивилась, как он переменялся за последнее время — постарел, если это выражение можно было отнести к юноше двадцати трех лет, с петушиным хохолком на затылке. Мы знали, что он работает очень много, активно выступает на комсомольских собраниях района, на днях напечатал большую статью против оппозиции в нашей

газете, и, взглянув в его усталые глаза, я почувствовала себя виноватой еще прежде, чем спросила, зачем он меня вызывает.

— Есть разговор, Таня, — сказал он серьезно. — Только не сейчас. Зайди завтра, часа в четыре.

— Не могу.

— Почему?

— Потому что завтра я буду уже далеко.

— Где же?

— В Анзерском посаде.

Я объяснила ему дело, которое поручил мне Николай Васильевич, и он выслушал не перебивая.

— Ну что ж, счастливо, — сказал он. — Когда вернешься?

— Смотря по обстоятельствам. Думаю, что через две-три недели.

— Тогда и поговорим!

* * *

Я ничего не понимаю в авиации, и очень возможно, что самолет, который был предоставлен в мое распоряжение, был результатом гениальной конструкторской мысли. Но, очевидно, это было давно, потому что при первом взгляде на него мне вспомнилась «Нива» времен войны 1914 года и фото воздушного боя между нашим и неприятельским «аппаратами». Это был именно аппарат — недаром с этим словом у меня всегда связывалось представление о чем-то трещащем и составленном из дощечек и палок. Но отчасти он напоминал и этажерку, которую нельзя, разумеется, назвать аппаратом. Короче говоря, я должна была лететь на «аврухе», как назвал машину дежурный по аэродрому, то-есть на самолете какой-то старой конструкции.

Мужчина атлетического сложения — даже страшно было подумать, что сейчас он вскарабкается на этажерку и тем не менее она полетит, — подошел ко мне и назвал себя, вежливо, но мрачновато:

— Табалаев.

Николай Васильевич велел мне для солидности называть себя доктором, и я сказала, немного покраснев: «Доктор Вла-сенкова», но сейчас же раскаялась, потому что летчик внимательно посмотрел на меня, подумал и недоверчиво крикнул.

— Допустим, — сказал он. — Итак, чем могу быть полезен, доктор?

Я объяснила, что необходимо доставить в Поморье два ящика с ампулами — «как видите, совсем небольшие».

Летчик сказал: «Так-с, доктор», потом достал трубку, закурил и уставился на ящики — повидимому, они изумили его.

— Надо устроить, Ваня, — сказал дежурный.

— «Авруха» же! — с досадой возразил летчик.

Тем не менее он, ворча, унес ящики и минуту спустя вернулся с какой-то шкурой, в которую мгновенно завернул меня, как ребенка. Потом он объяснил, что в самолете две кабины — я буду сидеть во второй. Перед моими глазами будет доска приборов, а перед коленями все время будет ходить туда и назад, направо и налево, рычаг, который называется «ручка». Но чтобы я, боже сохрани, не вздумала хвататься за эту «ручку»!

Я спросила, нельзя ли, чтобы рычаг не ходил, и он, подумав, ответил, что можно.

— Но при этом условии, доктор, — серьезно объяснил он, — самолет не летит.

Потом дежурный сказал: «Счастливо, доктор!» — и помог мне вскарабкаться в кабину, очень тесную и состоящую из зеленых матерчатых стен, натянутых на деревянные палки. Передо мной на фюзеляже был полопавшийся туманно-желтый козырек, через который было видно такое же полопавшееся туманно-желтое небо, а под ногами — отверстие для той самой «ручки», за которую мне запрещалось хвататься. Отверстие меня утешило — сквозь него был виден овальный зеленый кусок земли, которую я покидала...

— Прекрасно, доктор, — заглянув в кабину, сказал летчик.

Он и потом в дороге не называл меня иначе, как доктором, и хотя я уже не краснела, привыкла, видно было, что эта незатейливая шутка от души забавляет его.

По огромному пустому полю, на котором свет белой ночи уже смешался с розовыми красками утра, мы, подпрыгивая, как на телеге, покатали вперед.

Я закричала:

— Товарищ, куда вы спрятали ящики?

Страшный, оглушительный рев раздался в ответ — так близко, точно кто-то рванулся ко мне нарочно, чтобыстонать, выть, греметь в самые уши. Самолет качнулся назад, потом еще глубже назад, и овальный зеленый кусочек земли подо мной побежал, потом стал уходить вниз и делаться больше и больше.

— Первое и самое главное, — сказал, прощаясь со мной, Володя Лукашевич, — не думать о полете.

Сжавшись под шкурой, от которой почему-то пахло касторкой, ежеминутно обороняясь от «ручки», откидываясь то вперед, то назад, было довольно трудно не думать о полете. Но прошел час-другой, и, как ни странно, я поймала себя на мысли о том, что удивительно: у Нины в музыке превосходный вкус, а мне под коричневый костюм купила голубого шелка на блузку. Потом мне снова вспомнился Володя Лукашевич, кото-

рый в три часа ночи пришел в общежитие, чтобы проводить меня, и, пожелав счастливого пути, вдруг вытащил из кармана измятую розу. Потом Николай Васильевич представился мне расхаживающим по своему кабинету, заложив за спину короткие, толстые ручки. «Не так скоро, — говорит он, когда, выслушав его, я торопливо прощаюсь. — И вот еще что: посмотрите, только ли там дифтерия? Что-то больно высокая смертность, чорт побери! Нет ли там еще и ангины? Некогда я задумывался над стрептококками, усиливающими дифтерию. Ну-с, а теперь подумайте вы».

Ладно, подумаем! Я бы уснула, если бы не ветер, со свистом врывающийся в кабину со всех сторон и гулявший под шкурой, которую летчик недостаточно туго завязал на ногах.

— Ну, как дела? — заорала я, стараясь перекричать этот свист, казавшийся мне громче и отвратительнее равномерного шума мотора.

— Плохо!

Я подумала, что ослышалась:

— Что вы сказали?

— Плохо! — закричал летчик. — Движок сдает. Нужно садиться...

Я стала кричать, что он не имеет права садиться, потому что везет врача, которого ждут больные. Нельзя сказать, что это было легко: обороняясь от холода, ветра и шума, сидя то на одной, то на другой замерзшей ноге, объяснять летчику значение противодифтерийной сыворотки как профилактического и лечебного средства. Но я объясняла и, должно быть, недурно, потому что вдруг почувствовала, что самолет, который уже шел на посадку, стал выравниваться и даже набрал высоту.

Километров двести мы прошли на моем «горючем», как потом назвал лекцию летчик. Но в моторе случилось что-то еще, и нужно было уже не просто садиться, а спасаться.

— Вы слышите меня, доктор?

— Слышу.

— Иду на посадку, доктор.

Я закричала, что нужно отдать его под суд за трусость, но самолет начал равномерно уходить вниз, и вместе с ним стало отвратительно падать сердце, так что, к сожалению, пришлось замолчать.

Зато когда мы сели и шум, холод, свист — все прекратилось сразу, я так накинулась на летчика, что даже сама удивилась: неужели это я так хрипло, сердито кричу и с таким бешенством размахиваю руками? Он молча выслушал меня и сказал, что все это так, но тем не менее дальше лететь невозможно. Он долго объяснял — почему, и по его лицу, по рукам, слегка задро-

жавшим, когда он сдвинул шлем на затылок и стал набивать свою трубку, я поняла: да, невозможно.

Вдалеке были видны огни какого-то городка, и я хотела сразу же нести туда ящики, но он не дал. Он посадил меня, открыл мясные консервы и разломил на куски черствую халу.

— Нужно есть, доктор, — пробурчал он и сунул в консервы чайную ложку, — иначе все равно никому не поможете, только сами сыграете в ящик.

* * *

Странный, дикий пейзаж с какими-то деревьями-кривулями раскинулся перед нами, холодно окрашиваясь лучами бледного солнца. Но картины природы в этот день очень мало интересовали меня.

Все время, пока мы шли, я говорила, что от В—ска (очевидно, этот городок был В—ск) до Анзерского посада больше ста километров и что достать машину будет трудно или даже почти невозможно. Летчик логично сказал, что в таком случае придется добираться пешком, верхом или на телеге. Но я опять набросилась на него, и он покорно умолк, побряхтывая — ящики были тяжелые — и посасывая потухшую трубку.

На окраине В—ска мы постучались в первый попавшийся дом, и хозяйка, красивая, молодая, с длинной косой и голубыми глазами, напоила нас молоком, а потом сказала, что в городе только две машины: одна горсоветовская, а другая — милицеевская, которую мне все равно не дадут.

— А если и дадут, не проедете, миленькие, не проедете.

— Почему?

— Анзерка разлилась. Может, ходит карбас, миленькие, а может, не ходит.

Летчик беспокоился насчет своей «аврухи», но я оставила его стеречь мои ящики и отправилась в горсовет.

...Черная собака, выбежав из подворотни, бросилась мне в ноги, я невольно вскрикнула, отшатнулась. Потом снова пошла, но почувствовала вдруг такую усталость, так захотелось лечь прямо на хлюпающие под ногами доски панели, что пришлось сделать усилие, чтобы начать думать о чем-нибудь совершенно другом.

Председатель горсовета был высокий, еще не старый, с приятным лицом. Ему уже сообщили, что мы спустились недалеко от В—ска, и он послал к самолету охрану. Авто у него есть, очень хорошее, но сейчас в ремонте. Впрочем, это не беда: крытый грузовичок ГПУ доведет меня до Анзерки.

— Но дорога, вы знаете, — сказал он, — только первые двадцать-тридцать километров хороша. А дальше — гать, сухо только по пригоркам... Ну, что в Ленинграде?

И он стал спрашивать меня обо всем сразу: что идет в театрах, в кино? С какого аэродрома я поднималась — с Корпусного? Стало быть, видела «Электросилу»? Когда-то он работал на этом заводе. Питаются ли уже ленинградские станции энергией Волховстроя? Что я думаю о сводном промышленном плане двадцать седьмого года, в котором предполагается повышение продукции на двадцать процентов? Что я думаю о наступлении Народно-революционной армии в Китае?

Потом мы пошли к начальнику ГПУ, и я стала доказывать этому спокойному человеку с большим лысым лбом и широкими скулами, что нельзя терять ни минуты.

— Дорогой мой, — побагровев и почему-то в мужском роде, сказал мне начальник ГПУ, — что же, вы полагаете, я не понимаю, что дело идет о жизни и смерти? Но нет машины, вы понимаете: нет! Или, точнее, есть, но оперативная. Сегодня агент должен отвезти заключенного на очную ставку. В одной машине с заключенным отправить вас не могу, не имею права. К утру машина вернется. Одна ночь. В конце концов только одна!

У меня задрожали губы — не потому, что мне захотелось плакать, а от обиды, что этот человек не хотел понять, что для дифтерийного больного не только ночь, а каждый час имеет большое значение.

— Да поймите же вы, чорт возьми! — сказала я с бешенством...

Потом я вспомнила, что дважды бралась за спинку стула, очевидно рассчитывая этим простейшим способом убедить начальника ГПУ. Не знаю, как это случилось, но он вдруг сказал:

— Ладно. Поедете.

— Когда?

— Сейчас. Но я попрошу вас написать мне письмо с изложением всех обстоятельств дела.

Он крепко пожал мне руку.

— Сейчас распоряжусь.

* * *

Прошло несколько часов, и измученная, но полная желания немедленно пустить в ход испытанное чудо науки, я подъезжала к берегу Анзерки. Старая часовня показалась вдали, потом какие-то полуразвалившиеся домишки, должно быть сарай, а там — широкая лента реки.

У избушки паромщика шофер остановил машину и помог мне выгрузить ящики.

— Эй, дядя! — крикнул он. — Выходи, кто живой!

Седая бабка в тулупе вышла на крыльцо и сказала, что сегодня переправы не будет.

Паром снесло половодьем вместе с пристанью, как объяснила бабка, и народ пошел напрямки к порогу Крутицкому, потому что народ боится, что паром снесло в Крутицкий порог. Но если и не снесло, все равно назад его придется тащить конной тягой, и раньше чем дня через два в посад переправы не будет.

— Ну что же, переедем на лодке, — сказал шофер.

— Лодка-то есть. А не потонете?

— Не потонем, бабушка! Нам некогда. Срочное дело.

— Ой, потонете!

Она сказала это так просто и с такой глубокой уверенностью, что мы с шофером невольно посмотрели сперва на быструю, беспокойную мутносерую реку, потом друг на друга. Но два дня! Два дня!

— Где лодка? — спросила я свирепо.

...Как будто я была не я, а кто-то другой, зорко наблюдавший со мною, — с такой отчетливостью рисуется передо мной эта картина: на берегу, от которого мы только что отвалили, стояла и, покачивая головой, долго смотрела нам вслед бабка в тулупе. На реке были мы, а по ту сторону, похожий на старую деревянную крепость, виднелся Анзерский посад. Поднимаясь на горку, теснясь вокруг деревянной церкви, стояли дома, такие спокойные, прочные, что трудно было представить, что в них лежат, борясь с тяжелой болезнью, дети.

Сперва все шло превосходно: я правила, а шофер, оказавшийся, к сожалению, узкоплечим и щуплым, как мальчик, сидел на веслах, которые были немного тяжелы для него. Уключины были не железные, а деревянные, и только одна, а другая сломана, так что пришлось привязать весло к борту ремнем от моего рюкзака. «Но все это пустяки, — подумалось мне. — А главное — то, что через полчаса я буду в Анзерском посаде».

Мне стало весело, когда я увидела, как быстро мы приближаемся к нему, и впервые пропало острое чувство, что нужно спешить и спешить. Правда, бабка сказала: «Ой, потонете!» — и мне хотелось поскорей быть на том берегу, когда я вспоминала об этом. Но это было совсем другое чувство, ничуть не похожее на то нетерпеливое волнение, которое мучило меня всю дорогу.

Все было хорошо, хотя по берегу, от которого мы отошли, можно было заметить, что лодка движется не только вперед, но и в сторону, так что посад вдруг оказался по левую руку от нас. Разумеется, это ничего не значило, течение было все-таки сильное, и нас непременно должно было отнести. Но через несколько минут я стала немного беспокоиться, потому что мне почудилось, что мы почти перестали двигаться вперед, хотя шофер

с таким же нахмуренным, сердитым, энергичным лицом заносил тяжелые весла.

Река потеряла свой прежний беспокойный оттенок, легкий тающий свет шел от воды, в которой отражались облака, еще сохранившие по краям последние краски заката, когда нам стало совершенно очевидно, что лодку сносит вниз по Анзерке. Возможно, что шофер давно заметил опасность, но молчал, не хотел тревожить меня. Теперь он понял, что я догадалась, и, должно быть, в первый раз испугался, потому что прежде прихорюхивался ровно грести, а теперь стал зарывать тяжелые весла. Ему стало страшно, точно опасность увеличилась с той минуты, как я узнала о пей.

— Не могу, устал, — пробормотал он.

Я сделала вид, что не слышу. Мы были на середине реки, но посад ушел так далеко налево, что лучше было не смотреть на него.

— Может быть, теперь вы немного... — снова пробормотал шофер.

Я бросила руль и стала помогать ему, изо всех сил налегая на весла. Потом мы поменялись местами: это было трудно, потому что лодка круто поворачивала по течению, едва мы переставали грести. Но я помню, что мы поменялись, потому что вдруг стало нужно не налегать на весла, а тянуть, и я начала тянуть — сперва неровно, рывками, а потом плавно, когда догадалась взяться не за ручки весел, а ниже. Я тоже испугалась, но тут же так рассердилась на собственный страх, что даже закричала зубами от злости. Это было бешенство, но не слепое, когда не помнишь себя, а светлое, от которого ощущение странной лихости разлилось по телу. Потом исчезло и чувство лихости, и осталось только тяжелое качанье вперед и назад, и тяжелый однообразный плеск воды, и томящее желание бросить весла и лечь, которое нужно было преодолевать почти ежеминутно.

— Далеко? — не спросила я, а простонала сквозь зубы.

Но было уже недалеко. Лодка медленно вошла в песок, качнулась, и я упала головой вперед. Это было последнее движение вперед, а последнее назад я сделала машинально, на дне лодки, у ног шофера, который наклонился и о чем-то беззвучно, но настойчиво спрашивал у меня.

* * *

Не знаю, сколько времени мы пролежали на берегу, на мокром песке. Это была слабость, в которой было даже что-то мстительное, точно тело мстило за то, что я заставила его перейти границу возможного, за которой начиналось то, на что

прежде оно никогда не было способно. Я лежала вниз лицом, очень тихо и думала о самых разнообразных вещах, не имевших ни малейшего отношения к тому, что произошло или могло произойти, если бы нас снесло в Крутицкий порог.

Кухня у Львовых, освещенная слабым огнем свечи, появилась из темноты перед моими закрытыми глазами, и я увидела Митю, который вошел и не понял, кто я, а потом сказал с ласковым изумлением: «Отпустить старую знакомую, которую я однажды чуть не убил? Э, нет! Это не в моих интересах». Это было, когда он вернулся с фронта и носился по Лопахину в шлеме и кавалерийской шинели. Как он крепко сжал мои руки в своих, как был нежен со мной после маминой смерти! Неужели старый доктор был прав? Как он сказал? «Блеск ума — и слепота эгоизма»? Да, да! Он сказал — слепота.

Потом я стала думать, что если бы мы не выгребли, Митя так ничего и не узнал бы обо мне. Быть может, в ту минуту, когда я лежала, как мертвая, с неловко подвернутыми руками на мокром песке, он в светлой, нарядной комнате ждал гостей, открывая вино?

Почему я думала о нем в эти минуты? Не знаю. Как будто близость смерти прогнала все, чем я жила до сих пор, и на смелу из глубины души явилось то, что еще вчера, казалось, ничуть не занимало меня. Как будто тайная полузабытая мысль воспользовалась тем, что я, слабая, беспомощная, лежу без сил на мокром песке, на берегу незнакомой реки, и, подкравшись, стала властно распоряжаться моей душой...

Шорох послышался за моей спиной, я обернулась. Это шофер поднялся на колени, постоял и снова улегся, свернувшись калачиком, как на постели.

Нужно идти! Сонными, чуть живыми руками я развязала рюкзак, стала есть, и даже слезы выступили на глазах — таким удивительно вкусным показался мне бутерброд с колбасой! Шофер сказал, что нужно выпить водки; я выпила и снова легла, но ненадолго, потому что все-таки нужно было идти.

— Ты останешься, а я пойду.

Шофер кивнул не вставая.

— Ящики береги! Скоро пришло за ними, слышишь?

Он опять кивнул.

Первый дом, к которому я подошла, был, очевидно, нежилой, потому что, как я ни стучалась, как ни окликала хозяев, никто не отзывался на мой охрипший голос. В соседнем доме окна были завешены, но мне показалось, что занавеска дрогнула, когда я поднялась на крыльцо.

— Откройте! Я врач из Ленинграда. Откройте же!

Ни шороха, ни звука!

— Да что вы тут, вымерли, что ли? — крикнула я и топнула ногой по крыльцу.

Тишина. Если бы в посадке была эпидемия не дифтерии, а чумы, и тогда на этой кривой, бегущей в гору улице не могло быть более мертво и пустынно. Я села на крыльцо, и впервые за все время моего путешествия мне по-настоящему захотелось плакать. Почему-то я решила, что шофер уснул, как только я ушла, а ящики украли. И никому не нужны эти заботы и муки, и я сама, одинокая и беспомощная, зачем-то приехавшая в эту глухую деревню, никому не нужна. Всё на свете к чертям, и врачом я тоже не буду! Врачи лечат, а не возят за тридевять земель ящики с сывороткой! «Нет ли там еще и ангины? Когда-то я задумывался над этим вопросом. Ну-с, а теперь подумайте вы», — вспомнилось мне. Вот и подумала!

Со злостью, которая даже удивила меня, я вскочила и бросилась к широкому, приземистому дому напротив, почему-то показавшемуся мне особенно неприятным.

— Откройте же, чорт возьми! — закричала я и стала бить в дверь ногами.

Наконец-то! Голоса. Шаги.

— Кто там?

— Врач из Ленинграда.

Должно быть, я еще не верила, что откроют, потому что это «откройте же» я повторила раз десять. Открыли. Какая-то девушка, тоненькая, с косами, впустила меня в сени.

— Врач из Ленинграда? — с удивлением повторила она. — Пожалуйста, войдите.

...Духота тесной, перегороженной комнаты. Запах йода. Икона в углу, беленая печь. Высокая, худая старуха в белом платке, перекрестившаяся, когда я вошла. Мужчина в халате, склонившийся над кроватью. Закинутое, белое, как бумага, лицо ребенка, мелькнувшее, когда этот мужчина, не оборачиваясь ко мне, поднял руку — как делают, когда мешает шум и хотят, чтобы вокруг стало тихо...

Этот жест и то, что мужчина в халате — без сомнения, врач — даже не обернулся, когда я вошла, в особенности возмутили меня.

— Измучилась, пока переправлялась через эту сумасшедшую реку! Никто не встретил! Брожу, стучусь во все дома!.. Ну, что вы молчите? Я вам сыворотку привезла.

Мужчина в халате обернулся. Он сделал шаг, другой, и стетоскоп — у него в руках был стетоскоп — упал и покатился со стуком. Он стоял против света, да я и не вглядывалась в его лицо, только смутно удивилась, что это усталое, широкое, но с тонкими чертами лицо, этот высокий лоб и над ним прямой белокурый ежик волос были мне когда-то знакомы.

— Чорт знает что! Неужели вы не знали, что я должна приехать?

— Да, Таня, — голосом Андрея сказал мужчина в халате. Должно быть, я ослышалась.

— Так что же, не могли встретить?

— Мы ждали тебя вчера.

«Тебя»! Я замолчала, потом взяла его за руку и потащила к окну.

— Андрей? Андрей? Да ты ли это?

НОЧНОЙ ОБХОД

Через час ящики с ампулами были доставлены в посад, и мы стали ходить из одного дома в другой. Мы — это были Андрей, я и Машенька — так звали тоненькую девушку с косами, оказавшуюся фельдшерницей. Я почти не могла представить, что все это происходило в тот самый день, когда мы с шофером сажались в лодку и в легком свете заката еще розовели отраженные водой облака.

Потом наступила поздняя ночь. Многие казалось мне странным, и если бы у меня было больше времени, я, без сомнения, задумалась бы над некоторыми загадками, в особенности над одной, относившейся к Машеньке и смутно поразившей меня. Стало светать, а мы все еще ходили и впрыскивали, и что-то повелительное, вдохновенное было в этом ночном обходе, в этой невозможности отложить то, что нужно было сделать сейчас, в этих твердых, уверенных руках Андрея, освещенных слабым огнем лучин, ночников, лампад. В конце концов мне стало казаться, что мы ходим из дома в дом не для того, чтобы бороться с дифтерией, а только для того, чтобы снова увидеть эти широкие, твердые руки, разбивающие ампулу, подносящие к свету шприц. Но они делали и многое другое. Они гладили и успокаивали детей, глядевших на наши приготовления застывшими от ужаса глазами. Они бережно меняли повязку на рассеченном горле, в которое была вставлена трубочка — через нее дышал полузадушенный крупом ребенок. Они боролись с женщиной, у которой двое детей погибли от дифтерии и которая не пускала нас к третьему, исступленно клянясь, что он совершенно здоров. Они исчезали в резиновых перчатках и появлялись снова, и мы снова шли из одного дома в другой, из одного безмолвного мира, в котором не было ничего, кроме свистящего шума дыхания, в другой. И мне казалось, что всюду, где появлялся Андрей, слабый свет надежды загорался в воспаленных, растерянных, заглянувших в неизвестность глазах.

...Этот свет не появился в глазах белокурого мальчика лет

семи, лежавшего безучастно, с посиневшим, сонным лицом, на котором уже устанавливалось тусклое спокойствие смерти. Должно быть, она стремилась войти в этот дом — богатый, просторный — вместе с нами, но почему-то замедлила шаги, остановилась у порога. Я взяла за кисть беспомощно повисшую ручку и нащупала слабый, ускользающий пульс.

Свечи горели на столе, стоявшем у изголовья умирающего ребенка, и старик в очках, склонившийся над толстой книгой, не обернулся, не встал, не произнес ни слова, когда мы вошли. Потом он стал молиться громко, и я поняла, что перед лицом той, которая стояла у порога, он не считал нужным обращать внимание на каких-то ничтожных людей, стремившихся изменить беспощадный закон, которому обречено на земле все живое.

— «Владыко, господи вседержителю, — громко молился старик, — душу раба твоего Алексея от всяких уз разреши и от всякия клятвы освободи, остави прегрешения ему, ведомые и неведомые, в деле и слове, исповеданные и забвенные...»

Но доктор с усталым, тонким лицом, очевидно, не соглашался отпускать к «вседержителю» душу бедного раба его Алексея — кстаи сказать, напомнившего мне самого доктора в те далекие времена, когда он стремился узнать, есть ли у тараканов сердце. С минуту он стоял неподвижно, внимательно глядя на распростертое маленькое тело, а потом решительно сказал: — Нужно приготовить, Машенька.

И Машенька открыла свой чемоданчик и достала горелку, спирт, инструменты...

Нужно было завернуть мальчика в простыню, сесть на табурет и крепко зажать коленями его ножки. Сперва это сделала я, но Андрей почему-то велел, чтобы села Машенька, а я держала голову ребенка, и мы поменялись местами. Это была интубация, то-есть введение в гортань металлической трубки, и у Андрея, как это ни странно, был такой вид, как будто он делал это тысячу раз.

— Таня, голову прямо и неподвижно, — сказал он. — Нет, немного вперед... Машенька, держите крепче.

И быстрым движением руки он вставил трубку в бедное, забитое пленками горло.

— Вот и все, — сказал он.

Но, увы, это было далеко не все. Мальчик захрипел, открыл глаза — туманные, вздрагивающие... С силой, которую нельзя было вообразить в этом худеньком, легком теле, он рванулся, судорожно втянул воздух — и трубочка выскочила из горла и вместе с брызгами кашля полетела прямо в лицо Андрею.

— Ах!

Машенька вскрикнула, хотела подняться... Я почувствовала, как она задрожала.

— Спиртом, скорее!

— Не вставайте! — повелительно сказал Андрей.

Он наскоро вытер лицо спиртом, и все началось сначала.

— «Земнии бо от земли создахомся и в землю тую же пойдём, яко же повелел еси создавый мя... — читал старик. — Яко земля еси и в землю отыйдеши».

— Так, готово, — сказал Андрей.

И тотчас же послышался шум дыхания, свистящий, с металлическим оттенком — верный признак, что трубочка попала в гортань.

Это было странно — видеть, как жизнь, казалось уже покинувшая это худенькое, покорное тело, вернулась, окрасила мертвенно-бледные щеки и точно за руку привела глубокий, успокоительный сон.

Было совсем светло, когда, шатаясь, мы вышли из этого дома. Усталость совершенно прошла, по крайней мере у меня, так что я не понимала, почему меня все-таки тянет прилечь и приходится время от времени следить за ногами. Я шла и смотрела на Андрея, и мне ясно вдруг стало, что он мог стать только таким — с этими неторопливо-задумчивыми движениями рук, свертывающих папиросу, с этими светлыми, прямыми глазами.

— Таня, неужели это все-таки ты? — спросил он. — Все некогда было посмотреть, чтобы убедиться, что это действительно ты. Смешно, правда?

Я хотела сказать, что, конечно, смешно, но у меня закружилась голова и я подумала, что станет лучше, если пересилить себя и идти. Но лучше не стало. Андрей подхватил меня на руки, и последнее, что я помню, — это что он нес меня на руках, а я говорила, чтобы он отпустил меня, потому что все хорошо, и удивлялась, что говорю громко, почти кричу, а он не слышит, не слышит...

М А Ш Е Н Ь К А

Я проспала почти сутки и, открыв глаза, не поняла, где я и что со мной.

Потолок был такой низкий, что его можно было достать рукой; вниз от меня шли широкие ступени, и я лежала на самой верхней из них. На окне и на самодельных полочках, висевших здесь и там вдоль бревенчатых стен, стояли чашки Петри, штативы с пробирками, колбочки, и тонкие ослепительные полосы солнца, перекрещиваясь, играли на стекле. Это была лаборатория. Но на самом деле это была просто деревенская банька — недаром два пышных березовых веника висели в углу под потолком.

Машенька сидела на табурете у окна, влоботорота ко мне, и несколько минут я смотрела на нее, не показывая, что проснулась.

У нее было приятное лицо, очень молодое. Косы, аккуратно заплетенные, как у девочки, волосок к волоску, тоже молодили ее. Она была тонкая, прямая, и, едва взглянув на эти нежные щеки, на маленькие уши, видневшиеся под косами, переходившими в гладкую прическу с пробором, можно было сказать, что у Машеньки мягкие движения, тихий, никуда не торопящийся голос.

— Доброе утро.

— Ах, вы проснулись? — Она встала и подошла ко мне. — Шофер заходил, просил вам кланяться. Он уехал. Как ваше здоровье?

— Хорошо, спасибо.

— Как же вышло, что мы с Андреем Дмитриевичем не встретили вас на том берегу? Нам сообщили, что сыворотка выслана самолетом, а прошел день — нет и нет! Мы думали, где же может спуститься самолет? И решили, что на Черной Поляне — здесь есть такое место, километрах в пяти.

Я рассказала о том, как самолет долетел только до В—ска, как мы чуть не утонули в Анзерке. Машенька слушала, широко открыв глаза; видно было, что она не только глубоко сочувствует мне, но от всей души желает, чтобы со мной ничего подобного больше никогда не случилось.

— Как жалко, что Андрея Дмитриевича нет! — сказала она. — Не слышит вас. А ведь второй раз вы не захотите рассказывать, правда?

Я засмеялась. Она с удивлением взглянула на меня, покраснела и тоже стала смеяться.

Теперь была моя очередь спрашивать, и я начала с эпидемии: давно ли она началась, как случилось, что в посадке не оказалось сыворотки, и так далее.

— Ах, нет, оказалась, — возразила Машенька. — Из Архангельска вскоре прислали, но Андрей Дмитриевич сказал, что не годится, потому что ее, повидимому, в очень холодном помещении держали. Она промерзла и потеряла активность. А дифтерия началась сразу во многих домах, и в такой тяжелой, знаете, форме. Если бы локализованная, ну, как обычно бывает, а то ведь почти сплошь токсическая, и всё с крупом, всё с крупом!

Машенька рассказывала обстоятельно, с учеными словами, звучащими немного странно в этой простодушной речи. Но именно их-то она и выговаривала особенно неторопливо.

— А круп — вы вчера видели, какая картина? На третий день начинают задыхаться. Что делать? Вы подумайте только,

как это страшно! Смотришь на ребенка с отчаянием и думаешь: чем же помочь? Андрей Дмитриевич все говорил, что мы попали сразу в девятнадцатый век. Хорошо, что он такой образованный, знает, как лечили дифтерию в девятнадцатом веке. Вы не поверите — ведь он трубочкой пленку высасывал.

— Как трубочкой?

— А вот так: вставит трубочку в горло ребенка и высасывает. И еще смеется. Говорит: «Это вам, Машенька, наглядный экскурс в историю медицины».

— Но ведь это же очень опасно!

— Ну, как же! Очень. Вы читали Чехова «Попрыгунья»? Там рассказывается, как один прекрасный врач высасывал пленки и умер. Теперь, разумеется, так никто не лечит. Но, с другой стороны, ведь сил же не хватает смотреть, как задыхаются дети! Мы им горло разными дезинфицирующими смазывали — да ведь это разве поможет? Андрей Дмитриевич в шести случаях трахеотомию сделал, а сам же мне говорил, что прежде — только один раз, и то студентом, на трупе! И потом, вы знаете, какая здесь обстановка? Про все болезни говорят: «Кровь мучит», — и сейчас же кровопусканье. В Судже знахарка живет, я ее видела, так она первой весенней водой лечит. И заговорами: «На море, на окняне, на острове Буяне лежит камень Алатырь, на том камне сидят три старца, идут к ним навстречу двенадцать сестер-лихорадок — трясая да знобя, хрипуша да огня...» — и Машенька досказала заговор до конца. — Вас зовут Татьяна Петровна?

— Просто Таня. А я вас — Машенька, хорошо?

— Да меня еще никто и не называл иначе!

— Вы постоянно живете в посаде?

— Да. Я могла поехать в Сальск. Я родом из Сальска. Но не захотела. Я сама выбрала такую глушь... — добавила она и снова немного покраснела. — Но нисколько не жалею, нисколько!

— Почему?

— Ну, как же — почему? А Андрей Дмитриевич? Ведь я только здесь поняла, зачем и вообще-то училась! Мне казалось, чтобы зарабатывать побольше да жить получше. И все! А когда я приехала... Но вы не подумайте, что он со мной говорил об этом, хотя я сразу поняла, что это человек идейный. Он просто жил здесь, вот в этой баньке, и работал. А когда я приехала, его ни в один дом даже на порог не пускали.

— Как — не пускали?

— А вот так! Привыкли к знахарке и говорят: «Она нас лучше всякого доктора лечит». Конечно, она их подговаривала, тем более что здесь все-таки кулаков много и им, понятно, не очень-то нравилось, что Андрей Дмитриевич партийный.

Машенька говорила то «идейный», то «партийный», очевидно понимая под этими словами одно и то же.

— Но, знаете, случай помог, уже когда я приехала. Тут соль варят в таких специальных варницах. И вот однажды приводят такого солевара — ослеп! Андрей Дмитриевич посмотрел, подумал, да и капнул ему на конъюнктиву несколько капель кокаина. Солевар поморгал — и бух ему в ноги! Прозрел!

Машенька рассмеялась — тихо, но от всей души.

— А у него от дыма просто слизистая очень распухла. Вот после этого случая Андрея Дмитриевича стали ценить.

— А теперь?

— А теперь одни его ненавидят, а другие — ну, просто готовы за него в огонь и в воду!

— За что же ненавидят?

— А за то, что он такой волевой. Он ведь очень волевой и всегда своего добьется, если захочет.

Я слушала с интересом.

— А чего же приходится добиваться?

— Ну, как же! Всего! Тут ведь кулаков много, и нам в медицинской практике приходится с ними бороться. Да и не только в медицинской! Конечно, если бы Андрей Дмитриевич был беспартийный — это другое дело. А то ведь они каждое санитарное мероприятие расценивают с классовой точки зрения. И потом, они же очень боятся Андрея Дмитриевича, потому что, вы знаете, он какой! Он ведь шутить не любит!

Мне вспомнилось, как во время нашего ночного обхода одна женщина, едва он вошел, бросилась закрывать деревянные створки иконы и потом так начадила ладаном, что стало невозможно дышать. А суровый старик в очках, читавший отходную над умирающим мальчиком и сделавший вид, что нас нет в его доме? Я спросила Машеньку, кто этот старик, и услышала с изумлением: «Митрофан Бережной, председатель здешнего сельсовета». Все это были загадки. Но только простое может бросить свет на сложное, как любил когда-то говорить Андрей.

Мы с Машенькой болтали все утро, потом нагрели воду, и я умылась с наслаждением, в котором было даже что-то дикарское. Машенька помогала мне и смеялась.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Говорят, что борьба с эпидемиями напоминает войну: те же разведки, прорывы, отступления, атаки. Но ничего похожего на войну не было в той тщательной однообразной работе, которой мы занимались днем и ночью — ночью потому, что нужно было не только лечить, но и ухаживать за больными.

Эта работа заключалась в том, что мы старательно лечили самые разнообразные формы дифтерии: очень тяжелые, тяжелые, средние и, наконец, скрытые, которые можно было определить лишь лабораторным путем и с которыми мы тогда не знали, что делать. Так, весь причт посадской церкви — и дьячок, и священник, и сторож — были бациллоносителями, то-есть людьми, никогда не болевшими, но невольно и незаметно для себя распространявшими дифтерию.

И лишь в одном отношении наш труд напоминал войну: мы не могли предсказать потери. Так погиб, несмотря на огромные дозы сыворотки, белокурый мальчик, напомнивший мне Андрея. Погиб третий ребенок у женщины, потерявшей двух, и она часами стояла у нашей баньки, простоволосая, страшная, качая завернутое в тряпку полено.

Бай-бай да усни,
Да большой вырастай.
На оленя гонец,
На тетеру стрелец, —

пела она, и нельзя было выйти, чтобы не встретить ее тусклого взгляда.

Ты на елке тетерку имай,
На озерке гагарку стреляй.
Еще на море уточку,
На песочке лебедушку.

Машенька не боялась ее, а я боялась и каждый раз, выходя из баньки, должна была сделать усилие, чтобы не побежать со всех ног.

* * *

Есть что-то неуверенное в отношениях людей, знавших и любивших друг друга в юности и встречающихся, когда миновали в разлуке не дни и месяцы, а годы. Была ли эта разлука полным забвеньем или все же не переставало звенеть в душе воспоминание о том, что казалось забытым? Кто знает? Расстаются в юности, когда удивительно близки впечатления и мышления. Встречаются не очень или очень охладевшими и, сравнивая две жизни, поражаются, сочувствуют, негодуют.

Нужно было что-то переломить в душе, чтобы между Андреем и мною возникли прежние отношения — не прежние, другие, но которые были невозможны без прежних. Прошло больше пяти лет, и то, что было между нами в Лопяхине, теперь представлялось мне чем-то легким, тонким, похожим на первую сквозящую зелень вязов, когда ночью мы шли на Пустыньку после школьного бала.

Солнце заходило, бледножелтый шар без лучей уже коснулся зубчатой линии кряжей, когда, посмотрев большую девочку лоцмана, жившего в крайнем доме посада, мы вышли и, одновременно вздохнув, пошли не налево — домой, а направо — вдоль пологого берега Анзерки.

Мы шли, и я думала, что в здешнем закате нет теплоты, как у нас... я мысленно чуть не сказала — в России, как будто здесь, в Анзерском посаде, была не Россия. Вокруг не лежал теплый, желтый отсвет уходящего дня, а лишь холодно сверкала каменистая тропинка, которая вела к солевым варницам, раскинутым среди извилистых оврагов.

Это был первый вечер, когда мы почувствовали, что можно говорить не только о дифтерии, но все-таки мы заговорили о ней: об удивительном совпадении между опытом, который Андрей поставил накануне моего приезда, и мыслью, которую подсказал мне Николай Васильевич. В «Журнале экспериментальной биологии и медицины» Андрей прочел статью о том, как одна кишечная палочка угнетающе действовала на другие кишечные микробы, и решил перенести этот опыт на возбудителей ангины и дифтерии.

Потом мы долго шли и молчали, но это было уже нежнее молчание от усталости, а что-то другое. И Андрей, как всегда первый, назвал то, о чем мы молчали:

— Почему мы перестали переписываться, Таня? Ты обиделась на то письмо, в котором я упрекал тебя... Ты знаешь, о чем я говорю?

Это было сказано совершенно как в детстве, когда мы угадывали мысли друг друга.

— Знаю.

Он сдвинул шапку на затылок, и у него стал расстроенный, но решительный вид.

— Скажи, это правда, что, когда Глафира Сергеевна с мамой уехали из Лопихина, она поручила тебе... Это правда, что ты взяла на себя заботы о дяде?

Я остановилась от неожиданности. Но он взял меня под руку, и мы быстро пошли по неудобной, покато́й тропинке к оврагам — туда, где виднелся черный навес на столбах и в глубине, под навесом, вспыхивало дымное пламя. Это были варницы.

— Конечно, ты была девочкой, и они не должны были оставлять его на твое попечение. Но ведь ты предложила сама? Это правда? Я понимаю, ты предложила не из-за денег.

Андрей прикусил губу и с ужасом взглянул на меня. Я потом поняла, что он не хотел упоминать о деньгах и проговорился нечаянно.

— Я много думал о нем все эти годы. Я понял, что с преступной небрежностью относился к нему — преступной, потому что он искал среди нас того, кому мог бы передать свой труд, свои мысли. А я даже не знаю, где остались его работы! У тебя?

— Да.

Теперь варницы были недалеко, а через распахнутые настежь ворота, на фоне дымно-красного, вырывающегося откуда-то пламени, можно было рассмотреть темные фигуры неподвижных людей.

— И ведь он много сделал для тебя, я часто думал об этом, — снова заговорил он. — И вот, когда он остался один... Разумеется, это вздор, что он умер из-за кого бы то ни было, — сказал он поспешно. — Но ты понимаешь... мне было очень трудно, и когда ты не ответила, я решил больше тебе не писать.

Мы подошли к варницам. Под развалившимся навесом женщины качали воду из колодца, и вдоль деревянного жолоба она бежала в варницу через дворик. Черный, мохнатый мужчина с палкой в руке стоял подле котла, в котором варилась соль, и все вокруг было озарено мрачным отблеском пламени. Без мысли, без чувств я стояла и смотрела на пламя.

Это было только начало нашего разговора, оборвавшегося потому, что в первую минуту я не нашлась, что ответить Андрею. Я поняла только, что Глафира Сергеевна оклеветала меня. Она сочинила целую историю, будто я долго умоляла ее оставить Павла Петровича на мое попечение, уверяя, что буду беречь его как зеницу ока. А потом, когда старый доктор после ее отъезда остался один, я ни разу даже не зашла к нему — так она утверждала, — и он тяжело болел и умер без теплого слова, без помощи и без друзей. Все это она узнала будто бы от одного лопахинца, который был возмущен моим поведением.

Поверила ли этой выдумке Агния Петровна? Оказывается, поверила. Это меня поразило! Все-таки Агния Петровна знала и любила маму, и я привыкла уважать ее, хотя и чувствовала, что в глубине души она слабый человек и легко поддается чужому влиянию. А Митя? Поверил ли Митя?

Не помню, когда еще в жизни я с подобной энергией обрушивалась на кого-нибудь, как в ту ночь — была уже ночь — на Андрея. Я рассказала все — никогда не думала, что у меня такая хорошая память! Я рассказала, как Глафира Сергеевна потребовала, чтобы Агния Петровна немедленно переехала в Москву, разумеется, чтобы развязать себе руки. Как, жадно поглядывая по сторонам, она снимала с антресолей всякую рухлядь и потом долго торговалась со старьевщиком, который даже плюнул, уходя, и сказал, что такую выжигу он встречает впервые. Как старый доктор молодец от надежды, освещавшей

его лицо, когда он читал мне письмо, начинавшееся словами: «Дорогой Владимир Ильич». Как он был потрясен отзывом какого-то Коровина. Как ему стало «некогда жить» и как перед смертью он манил кого-то слабой рукой, но не было с ним той, кого он манил, а была только одинокая девочка, не знавшая, чем облегчить его последние минуты.

Я замолчала. У меня щеки горели, и было такое чувство, что температура не меньше тридцати девяти. Мы ничего не ели с обеда, я хотела сварить кофе (мы вернулись в баньку), но Андрей почему-то не дал, и мы молча, грустно съели страшно соленую селедку, после которой так захотелось пить, что я все-таки сварила кофе.

Андрей заговорил, и наступила моя очередь слушать его — слушать и волноваться, потому что то, что он рассказал, глубоко взволновало и заинтересовало меня.

* * *

Мне думалось, что это очень трудно — найти объяснение тому, что произошло четыре года назад в семействе Львовых, но оказалось, что совсем нетрудно! Нужно было только одно: знать Глафиру Сергеевну, а Андрей знал ее теперь куда лучше, чем я. Это был конец прежней семьи во главе с Агнией Петровной и начало новой, в которой главную роль Глафира Сергеевна, разумеется, отводила себе. Тогда, в Лопяхине, она лишь приступила к своей задаче, может быть немного решительнее, чем требовали обстоятельства, — приступила и, совершив ошибку, немедленно свалила вину на меня. Андрей рассказывал об этом немного иначе. Я угадывала каждый его намек с полуслова. Он нарисовал портрет изменившейся, постаревшей — «не узнать!» — Агнии Петровны, и за этим «не узнать» я увидела Глафиру Сергеевну, уверенную, вежливо улыбающуюся, в то время как глаза оставались неподвижно-мрачными на красивом, бледном лице: «Что касается ваших, мамочка, дел...» Теперь она вела дом — и вела, по словам Андрея, в высшей степени толково и властно. Митя слушался ее, только в одном вопросе она встретила решительное сопротивление и уступила после долгой борьбы. Глафира Сергеевна настаивала, чтобы он работал в частной лечебнице, которую открыл на Тверской какой-то крупный доктор-делец, но Митя отказался, объяснив, что будет заниматься наукой. Он обработал свои материалы по сыпному тифу, собранные во время войны, и выступил с докладом, очень хорошим, так что ему предложили работать сразу в двух институтах. И теперь Глафира Сергеевна даже довольна, что он решил заниматься наукой.

— В общем, я думаю, что для него нет сомнений в том, что

она за человек, — помрачнев, сказал Андрей, — так же как у меня почти не было сомнений еще до того, что ты о ней рассказывала. Но он не может жить без нее, и едва ли это когда-нибудь изменится... О чем я говорил? Ах, да! Последнее время он стал заниматься вирусами, и, по-моему, у него получается что-то любопытное, хотя, как всегда, он забегает вперед.

Я слушала, и у меня было странное чувство, что Митя и Андрей поменялись местами, то-есть что Митя теперь стал младшим братом, а Андрей — старшим. Никогда прежде он не сказал бы, что Мите больше всего «мешает то обстоятельство, что он прекрасный оратор» и что «у него слишком много времени уходит на шум».

— Но постой, — вспомнил Андрей. — Ведь он же непременно хотел найти тебя в Ленинграде!

— Зачем?

— Я пересказал ему одну из дядиных лекций — помнишь, об Ивановском, и он хотел узнать, сохранились ли у тебя дядины бумаги.

Он замолчал. На окне стояла консервная банка, из которой торчали пробирки. Он машинально взял одну из них и посмотрел на свет. Потом положил обратно, но остался у окна. Это продолжалось долго — он стоял и смотрел в окно, за которым из белого сумрака северной ночи уже вставал рассеянный утренний свет, а я сидела на табурете, у стола, и молча рисовала рожи.

Андрей обернулся. У него было веселое лицо с сияющими глазами, удивительно светлыми, как всегда, когда он волновался.

— Ах, не все ли равно! — сказал он. — В конце концов, что нам до Глафиры Сергеевны? Мне стыдно, что я мог поверить ей, но ты понимаешь... Все в мире представлялось мне необыкновенно стройным, и ты была хозяйка этого великолепного стройного мира. Вот почему то, что я узнал от Глафиры Сергеевны, так страшно оскорбило меня. Что я должен сделать, чтобы ты простила меня?

Это было похоже на наше прощание в Лопяхине, когда мы гуляли на набережной, и вдруг прежний Андрей куда-то исчез, а на его месте появился новый, побледневший, летящий, с вдохновенным, сияющим взглядом. Мне захотелось поцеловать его, но я только встала и протянула руки.

Мы вышли. Розовое утро вставало над горизонтом, и все вокруг — деревенская улица, поднимающаяся в гору, церковь и церковная ограда и женщины, развешивающие на ограде белье, — все было окрашено в розовый цвет всех оттенков: от нежного, чуть тронувшего неподвижные, воздушные облака, до темного, начинавшегося у наших ног и уходящего к далекой

зубчатой линии края. Я взглянула на Андрея: полужакрыв глаза, подняв голову, улыбаясь с детски-торжественным, добрым выражением, он смотрел туда, где, медленно стирая все розовое на земле и на небе, поднимался утренний, чистый, как будто умывшийся шар восходящего солнца.

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

(Продолжение)

Все, что я слышала от Андрея, показалось мне каким-то «сдвинутым» — фотографии называют это «не в фокусе». Должно быть, и вообще наши отношения с той минуты, как мы встретились в Анзерском посаде, были «не в фокусе», хотя мы, занятые с утра до вечера, лишь смутно замечали это. Теперь все стало на место, и, между прочим, я впервые оценила, как, в сущности, превосходно поставил Андрей дело медицинского обслуживания в Анзерском посаде. Стационара еще не было, но дом для него почти построен, и вполне современная, хотя и небольшая больница должна была открыться в ближайшее время. Это было трудно, и я с удивлением узнала, как энергично, больше того — беспощадно, расправлялся Андрей с теми, кто мешал ему в этом деле, которому он с полным основанием придавал большое политическое значение.

Новых больных давно не было, старые поправлялись. Теперь мы с Андреем довольно часто гуляли, и он, можно сказать, показывал мне Анзерский посад. Почти все дома были украшены резьбой, коньками, теремками, и на некоторых были ставни, расписанные необычайно искусно. Вообще Андрей успел познакомиться с северным народным искусством и так интересно рассказывал о нем, что можно было заслушаться, тем более что я в этих вещах всегда разбиралась слабо. Он собирал коллекцию — прялки, покрытые орнаментом из звездочек и крестиков, переходящих в фигурки сказочных птиц, костяные ящички с крышками, вырезанными, как тончайшее кружево, и так далее. Теперь ему вдруг вздумалось подарить всю эту коллекцию мне, но я взяла только вышитое полотенце, понравившееся мне своим простым, изящным рисунком.

Словом, Анзерский посад был настоящим «музеем прошлого», но за его фасадом, украшенным искусным орнаментом, был, как сказал Андрей, куда более сложный орнамент запутанных отношений, недоброжелательства, злобы, обид. Полгода назад здесь организовалась «артель по совместному рыбному лову». И какие только несчастья не обрушивались на эту артель, в которую вошли двенадцать бедняцких семейств! То

бесследно исчезали лучшие переметы, то сельсовет настаивал, чтобы артель отдала один карбас для почты. Увеличить улов в два-три раза можно было только одним способом: достать моторный карбас, и Андрей с большим трудом выхлопотал в Архангельске этот «трактор рыбных хозяйств». Но в разгар путины мотор оказался сломанным, хотя артельщики берегли его как зеницу ока. Это была война, последовательная, беспощадная, и выиграть ее было трудно, тем более что Митрофан Бережной, как известный на Севере строитель судов, пользовался значительным влиянием в сельсовете. У него было по меньшей мере вдвое больше рыболовецкой снасти, чем у всей артели, и он давным-давно в моторном карбасе отправлял на путину своих сыновей.

— И все-таки мы выиграли эту войну, — сказал Андрей. — Я говорю — мы, потому что я здесь, разумеется, не один. Если бы ты приехала не летом, когда мужчины на промыслах, а зимой, я бы познакомил тебя с людьми, замечательными по своей цельности, энергии.

Этот разговор происходил у «острога» — так называлось полуразрушенное здание на Анзерке, странную, пятиугольную форму которого еще можно было угадать по остаткам могучих, в два обхвата, бревен. За «острогом» начинались леса, сливавшиеся вдалеке с лесами морского побережья.

— Тогда ты поняла бы, — продолжал Андрей, — с какой остротой все, что происходит в стране, отражается здесь, даром что нет, кажется, более глухого угла, чем этот посад за триста километров от железной дороги. На первый взгляд кажется, что вот уже тысяча лет, как ничего не происходит в этих крытых дворах, за воротами, над которыми — я тебе показывал? — еще сохранились кресты и иконы. А на деле — ты знаешь, какое впечатление, например, произвело здесь известие о том, что в ленинградский партийный клуб были брошены бомбы? Как будто эти бомбы попали в баньку, где я принимал больных. Но есть и другая точка зрения — ты понимаешь, о чем я говорю? Когда появилось известие о подлом убийстве Войкова, ты бы видела, с каким оживленным, помолодевшим лицом показал мне этот номер газеты сам Митрофан Бережной. Разумеется, он «сочувствовал», но я-то знал этому «сочувствию» цену! Ты, может быть, думаешь, что он не в курсе международных событий? Он на счетах откладывает: налет на Аркос — барыш; победа Народно-революционной армии в Китае — убыток.

Ничего неожиданного не было в том, что говорил Андрей, почему же я слушала его с таким чувством, как будто до сих пор шла по открытой, освещенной солнцем дороге и вдруг наткнулась на пропасть, в которую было страшно взглянуть?

«Страшно, но нужно», — сказал Андрей, когда я не очень-то связно изложила ему эту мысль.

— Не знаю, откуда у тебя взялось это ощущение беззаботности, — продолжал он. — Это странно, потому что когда ты была еще совсем девочкой, меня иногда поражала твоя способность угадывать оборотную сторону явления. В самом деле, ведь это только кажется, что жизнь не требует от нас ничего, кроме знания медицинского дела. Когда я кончал институт, мне с поразительной ясностью была видна... не знаю как назвать — кристаллизация, что ли: с одной стороны — мы, комсомольцы, весь коллектив не больше ста человек, с другой — старое студенчество, а между ними — масса колеблющихся, день за днем переходивших к нам. Я не сомневаюсь, что то же самое происходит у вас — хотя, очевидно, на другой ступени развития. Для меня то обстоятельство, что я комсомолец, тогда было осью, вокруг которой вращалась жизнь и становилась видна изнанка явления. А для тебя?

...Мы говорили долго, часа три, пока монотонный шум воды не ворвался в наш разговор — мы дошли до Крутицкого порога. Бешено крутятся, вода свивалась в огромное белое бревно, и это бревно с грохотом обрушивалось вниз, разбиваясь о камни, а на смену ему, закипая и пенясь, уже свивалось другое...

О чем мы только не говорили с Андреем! Не год и не месяц — нет, каждый день, прошедший с тех пор, как в пролетке с откинутым верхом Андрей отправился в «будущее», был рассказан. И мне все казалось, что еще продолжается, то обрываясь, то возникая, наш давнишний ночной разговор.

Иногда при этом разговоре присутствовала Машенька, и смутная догадка, что она недаром прислушивается к нему, приходила мне в голову, когда я смотрела на это покорное, нежное лицо, на бледнорозовые, горящие слабым румянцем щеки. И я вспомнила, как Машенька расстроилась, чуть не упала в обморок, когда Андрей делал интубацию и трубочка вместе с брызгами кашля полетела ему прямо в лицо. Потом он попросил Машеньку посветить — он осматривал мальчику горло, — и свечи озарили такое взволнованное лицо, с такими заботливо мигающими, полными тревоги глазами! Впрочем, в нашем разговоре не было ничего, что Машенька не могла бы услышать.

Больше ни слова не было сказано о Глафире Сергеевне. Андрей упомянул, что он написал Мите о нашей встрече, предупредив, что через несколько дней я вернусь в Ленинград.

— В конце июля Митя будет в Ленинграде на съезде, — объявил он. — И ты сама расскажешь ему эту историю. Я написал ему только: «Ты услышишь то, что тебя поразит». Но вот

о чем я хотел предупредить тебя. Ему будет очень тяжело, потому что он... Ты не представляешь себе, как он ее любит! Так что нужно сказать ему об этом не прямо. Не так резко, как ты говорила со мной. Хорошо?

Я кивнула.

— Тем более, он прекрасно поймет, что теперь между мною и Глафирой Сергеевной не может быть никаких отношений. И вот еще. Я немного боюсь, что он выслушает тебя и потом спросит: «Но где же сейчас находятся бумаги Павла Петровича? Они сохранились? Не кажется ли вам, что давно пора вернуть эти бумаги родным?»

Я сказала холодно:

— Ну что ж, на этот вопрос нетрудно ответить.

— Без сомнения. Ты ответишь, и вы поссоритесь. А мне... Понимаешь, я очень не хочу, чтобы вы ссорились.

Андрей быстро взглянул на меня. Брови его поднялись, глаза широко открылись, и точно что-то, глубоко запрятанное, вдруг радостно взглянуло на меня из этих посветлевших, подчески сияющих глаз...

Нельзя сказать, что работа, которую поручил мне Николай Васильевич, не удалась, но результаты получились странные, причем не только с микробиологической, но и просто с логической точки зрения.

С чем сравнить чувство, которое я впервые испытала, всматриваясь в туманную картину, сложившуюся из этих полуудачных опытов, споров с Андреем, сомнений и, наконец, упорных попыток закончить работу? Точно раннее утро в горах — все неопределенно, подернуто мглой, полно меняющихся, сомнительных очертаний.

Я сказала, что опыты были полуудачными, но если иметь в виду мысль Николая Васильевича, они просто провалились. В самом деле, он сказал мне перед отъездом: «Некогда я задумывался над стрептококками, усиливающими дифтерию. А теперь подумайте вы». Но, согласно моим опытам, стрептококк вовсе не усиливал дифтерию. Напротив, можно было предположить, что стрептококк и палочка, вызывающая дифтерию, в плохих отношениях и думают только о том, как бы причинить неприятность друг другу. Впрочем, из многих стрептококков это неизменно случалось только с одним. Зато он не только не усиливал, а понижал и даже в некоторых случаях останавливал рост дифтерийного микроба. Возможно, что если бы это происходило не в баньке, а на кафедре, если бы пробирки стояли в штативах, а не в консервных банках, если бы под термостатом, который Андрей сделал сам незадолго до моего приезда, не стояла обыкновенная керосиновая лампа, а сушильный шкаф не помещался на обыкновенной плите, — у нас было бы больше

уверенности в том, что, вопреки здравому смыслу, с помощью ангины можно лечить дифтерию. Так или иначе, но это был факт, существовавший, правда, пока еще только в пробирках, но имеющий некоторые основания утвердиться на более обширном поле действия — в человеческом организме...

Страшное известие о крымском землетрясении донеслось до Анзерского посада; в газетах каждый день стали появляться корреспонденции, фото, рассказы очевидцев. Андрей тревожился о судьбе своего товарища, работавшего в ялтинской больнице, и успокоился, лишь получив от него телеграмму. Трудно было предположить, что и в Ленинграде может произойти землетрясение, и еще труднее, что мое присутствие может его предотвратить, но я, сама не зная почему, стала торопиться домой.

Вот так-то обстояли дела, когда однажды вечером в баньку, где, надев на ночь халатик, я переписывала свою работу, быстро зашел Андрей, положил передо мной письмо, сказал каким-то глухим голосом «спокойной ночи» и вышел. Сперва я подумала, что это письмо из Ленинграда. Нет, на конверте было только написано: «Тане». Я разорвала конверт.

«Милая, хорошая, дорогая Таня, мне страшно не только солгать тебе, но даже подумать о том, что ты можешь мне не поверить, — вот почему я не хочу уверять, что всегда любил тебя, то-есть еще в Лопяхине, хотя, мне кажется, что любил. Я спрашивал себя: а если бы мы не знали друг друга с детских лет и здесь, в Анзерском посаде, встретились впервые? Что изменилось бы? Только одно! Я не терзался бы так долго, проверяя себя, боясь принять за любовь старую дружбу. Нет, это любовь, которую я чувствую всей душой, бесконечно преданной тебе, дорогая Таня! Случалось, что я с испугом и изумлением останавливался перед этим чувством — мне казалось, что ты никогда не полюбишь меня. Но были и минуты неожиданного счастья, когда я был почти уверен, что не нужно никакого письма, что еще одно слово, и ты сама скажешь, что веришь в мою любовь и разделяешь ее. Но время шло, и наконец мне стало страшно, что ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу этого последнего слова. Теперь жду его от тебя.

Всегда твой Андрей».

СТРАШНАЯ МИНУТА

Я прочитала это письмо и, как будто за последней страницей снова шла первая, не останавливаясь ни на секунду, прочитала снова. Сразу множество чувств — изумление, растерянность, неловкость, перемешанная с сожалением, налетели и закружи-

лись в душе. Мы были друзьями, и это была не мимолетная, а верная, старая дружба, когда, ничего не скрывая, можно рассказать о самых затаенных мечтах. Почему же мне так трудно пойти к нему и сказать, что я смотрю на него, как на друга? Потому, что Андрей — добрый, милый, стремящийся все на свете объяснить себе и другим, Андрей, глазами которого я с детства привыкла смотреть на самое главное в жизни, — сразу окажется где-то далеко и я расстанусь с ним навсегда.

Я вскочила и стала ходить из угла в угол, крепко сжимая письмо в руке.

«Так, может быть, ты любишь его?»

Разумеется, если бы я любила кого-нибудь прежде, можно было бы сравнить свои чувства тогда и теперь. Но я только придумывала разные теории — вроде той, например, которую часто развивала Нине, что любовь — это такой же талант, как художество или наука. Нельзя сказать, что я не могу больше жить без Андрея, хотя, без сомнения, буду смертельно скучать, когда мы расстанемся, да еще на неопределенное время. Здесь, в Анзерском посаде, мы расставались на два-три часа, и меня уже тянуло посмотреть, что он делает и не нужно ли ему помочь, и в эту минуту он как раз приходил ко мне с этой же мыслью! Но ведь этого все-таки мало, чтобы сказать ему: «Да».

И мне представилось, что я вхожу в избу, где ночевал со времени моего приезда Андрей — прежде он жил и работал в баньке, — и останавливаюсь в дверях с протянутыми руками. О, с какой нежностью он сжимает их, целует и прикладывает к горящим щекам! И мы начинаем говорить — быстро, бессвязно, неизвестно о чем, но о том, что прежде касалось только его или меня, а теперь касается нас обоих. Мы говорим о том, как станем работать в этой маленькой баньке и как со временем она станет настоящей лабораторией, — разве великие открытия не приходят из глухих деревень? У меня нет никого, кроме отца, который бесконечно далек от меня, а теперь у меня будет муж. Муж — какое странное слово!

Дед Воронин уже стучал в сени сапогами, утро вставало над Анзерским посадом, а я еще возилась со своими глупыми мыслями, которые то вспыхивали, то гасли в темноте, как освещенные пламенем тени.

Так ничего и не придумав, но твердо зная, что сейчас Андрей увидит меня и поймет, что я пришла, чтобы сказать ему: «Нет», я подошла к избе, в которой он ночевал, и негромко постучала в окошко. Никто не ответил, только в сердце, в ответ на этот осторожный стук, отозвалось такое же осторожное: «Нет».

«Спит?» — подумалось мне. Но Андрей всегда вставал очень рано. Я постучала еще раз, потом поднялась на крыльцо, заглянула в сени. Машенька, бледная, расстроенная, стояла в сенях.

- Что случилось?
- Андрей Дмитриевич заболел.
- Что с ним?
- Не знаю. Температура очень высокая. Сорок.

* * *

Это было ничуть не похоже на дифтерию, которая случается у взрослых очень редко и протекает так легко, что врачи часто даже путают ее с катаральной ангиной. У Андрея не было кашля, горло почти не болело, он свободно глотал, и вообще не было ничего, кроме головной боли, сменявшейся время от времени пугавшим нас с Машенькой возбуждением. Но температура каждый вечер поднималась до сорока, а к утру резко падала, и это было плохо, потому что у Андрея, несмотря на его сильное, плотное сложение, оказалось маленькое — значительно меньше нормального — сердце. Он с трудом переносил жар, и я думала, что по этой причине. Впрочем, в течение первых трех дней не произошло ничего особенного, кроме страшного спора, когда мы с Машенькой напали на Андрея, чтобы он позволил впрыснуть ему сыворотку, а он не дал. Три года назад на практике под Батумом он впервые захворал малярией, повторявшейся с тех пор каждое лето. «Это малярия», — упрямо повторял он, а когда мы начали доказывать, что он легко мог заразиться хотя бы от того мальчика, которому делал интубацию в день моего приезда, он смеялся и советовал нам заняться теорией вероятности — есть такая наука. В конце концов я все-таки впрыснула ему сыворотку, но лишь на четвертый день, когда он потерял сознание.

Не раз мне приходилось слышать бред: мама, например, неслла околесицу при самом незначительном повышении температуры. Но такого странного бреда я не слышала еще никогда.

То Андрею казалось, что он на вокзале, поезд опаздывает, а нужно спешить. То он ждал экзамена — сейчас вызовут, а он не готов, не успел прочесть последнюю страницу. Но все это было совсем не то, чего он действительно ждал, когда возвращалось сознание.

— Опять наболтал? — приходя в себя, устало спрашивал он, и у меня сердце разрывалось, когда я встречалась с этими большими, по-детски круглыми глазами на похудевшем лице.

«Ты уедешь, а мы так и не скажем друг другу последнего слова», — вот что я читала в его тревожном, неуверенном взгляде.

Но что я могла ответить, если именно теперь, в эти ночи, сидя у его постели в душевной избе, при слабом свете лампы, я поняла, что хотя он бесконечно дорог мне, но все-таки это не любовь, не любовь! И ни при чем здесь Митя, даже если он ко-

гда-то нравился мне! Митя, с которым я не сказала и десяти слов за всю свою жизнь!

И мне чудилось, как по зимней, освещенной луной дороге я еду в санях с ним — не знаю с кем. С тем, кого я люблю. Тихо вокруг, лес притаился под снегом. Мы едем — куда? Не все ли равно! Лишь бы долго еще звенел колокольчик да снежный дымок вылетал из-под ног лошадей. Лишь бы долго еще мелькали по сторонам дороги деревья, мохнатые, полусонные, под голубым светом луны. Лишь бы долго-долго еще он был рядом со мною. Заиндевшая полость сползает с колен, он поправляет ее, кутает мои ноги: «Что, радость, счастье мое? Озябла? Что молчишь? Скажи что-нибудь. Ты любишь меня?» А я только смеюсь и говорю ему «нет», а сама так люблю, что сильнее, кажется, любить невозможно.

— Вы устали, Таня? Я посижу у Андрея Дмитриевича, а вы подите к себе.

И все исчезло. В темной избе я сидела у постели больного, смутно белели на стуле вата, бинты. Машенька, бледная, тонкая, бесшумная, осторожно будила меня.

Не знаю, когда она спала — мне казалось, что совсем не спала. В посаде было много работы, приходилось следить за выздоравливающими, вести прием. Машенька помогала мне, но это была лишь тень той энергичной, внимательной, нежной, мягко-настойчивой Машеньки, какой она была у Андрея.

Накануне приезжал врач из В—ска, долго осматривал Андрея и сказал, что у него действительно малярия, соединившаяся с катаральной ангиной. Я не возразила, только пожала плечами, и в ответ он накричал на нас за то, что мы до сих пор не отправили Андрея в больницу, точно В—ск был под боком и не нужно было везти тяжелого больного больше ста километров по неудобной дороге.

— Нужно телеграфировать родным, — были единственные разумные слова, которые я услышала от этого человека.

И я уже совсем собралась телеграфировать Мите, когда Андрею вдруг стало гораздо лучше.

— Экой усач, — добродушно сказал он о в—ском докторе. — Вы его накормили?

И стал шутить над нашими опытами, по которым получалось, что при помощи ангины можно лечить дифтерию.

— Но, чур, подопытного животного из меня не делать! — смеясь, сказал он. — Для этого мы слишком давно знакомы.

Он выпил чаю, съел сухарь и яйцо и потребовал, чтобы я рассказала о наших больных. Температура упала к вечеру, впервые до нормы. Словом, это был совсем хороший день, и я подумала, что поступила очень умно, отложив телеграмму до завтра.

В девятом часу Андрей задремал, и Машенька стала гнать меня, потому что прошлую ночь я так расстроилась из-за в—ского доктора, что не спала ни минуты. Помнится, вернувшись в баньку, я подумала: чего больше хочется — есть или спать? И решила, что спать.

Должно быть, я очень устала за эти тревожные дни, потому что прежде никогда не засыпала так скоро — точно падала в мягкую, темную пропасть.

Так было и в этот вечер. Но кто-то стал кричать надо мной, едва я уснула, — вот что огорчило меня! Кто-то ворвался в баньку, бросился ко мне и сказал взволнованным голосом: «Проснитесь! Он умирает!»

Я открыла глаза. Машенька стояла подле меня, босая, в платке, накинутом на голые плечи.

— Умирает! Ах, умирает!

— Что случилось?

— Умирает! — повторяла она. — Ах, плохо совсем! Идите, идите!

Не знаю, что случилось со мной в эту минуту. Почему-то я так сильно толкнула Машеньку, что она чуть не упала, потом побежала на улицу и, вернувшись с порога, стала искать в чемодане новую иглу для шприца.

Потом вспомнила, что отнесла ее Андрею еще третьего дня, и бросилась к двери. Халатик, в котором я спала, зацепился за торчавший в скважине ключ, я рванула халатик...

Андрей лежал без подушки, откинув голову, вытянувшись, с полузакрытыми глазами. Уже наступило утро — мне лишь показалось, что я почти не спала, — и как страшно выступало его побелевшее лицо в этом резком утреннем свете!

В избе был беспорядок, одеяла лежали на полу — очевидно, хозяйка собралась застелить и не успела. Теперь она стояла в стороне. Ребенок заплакал. Она торопливо взяла его из кровати.

— Андрей, что с тобой? Тебе дурно? Открой глаза! Да очнись же! Ты слышишь меня?

Как будто в моей воле было остановить то страшное, что приближалось к нему и уже таилось в этих брошенных на пол одеялах, в том, что хозяйка, сурово потупясь, качала ребенка, — так я гладила и целовала Андрея.

— Дорогой мой, радость моя! — Мне было все равно что говорить, лишь бы это были самые ласковые слова на свете. — Вздохни глубже! Ты слышишь меня? Да разве я позволю, чтобы тебе стало хуже! Машенька, глупая, напугала меня.

Нужно было немедленно впрыснуть камфору, и я закричала Машеньке, которая вошла, чтобы она приготовила шприц. Но у нее так дрожали руки, что я вырвала шприц и стала готовить

сама, очень медленно, потому что у меня тоже дрожали руки. Но все же, хотя и неловко, я впрыснула ему камфору.

— Отходит! — перекрестившись, прошептала хозяйка.

Не помня себя, я накинулась на нее и на Машеньку и выгнала их, а сама распахнула окно и встала на колени у постели Андрея.

Что еще сказать ему? Что сделать, чтобы он очнулся, открыл глаза, чтобы не белела так страшно мертвая, точно очерченная мелом челюсть?

— Ты слышишь меня? Мне было трудно ответить на твое письмо, потому что я еще никогда никого не любила. Я не спала до утра, когда прочитала его, все думала о том, что ведь у меня нет никого, кроме тебя! Я ничего не стану скрывать от тебя, а ты от меня, и все будет прекрасно!

Андрей вздохнул. Веки дрогнули, поднялись. Он услышал меня. Мне показалось, что он улыбается, и я залилась слезами. Они закапали прямо на лицо Андрею; я испугалась, вытерла, но против моей воли они продолжали капать все время, пока я перекладывала его, ставила градусник, слушала сердце, которое с каждым ударом стучало все громче, точно вернувшись откуда-то издалека.

* * *

Весь следующий день я провела, не отходя от Андрея; у него была такая слабость, что приходилось кормить его с ложечки — он не мог поднять руку. Болтливость вдруг овладела им, он говорил, говорил чуть слышным голосом и тут же засыпал на полуслове. Я дала ему воды, холодной, чистой, прямо из колюдца, он выпил несколько ложечек и сказал со счастливой улыбкой: «Как вкусно!» Решительно все приводило его в умиленное состояние; на маленькую дочку хозяйки он смотрел влажными от радости глазами. Это было выздоровление. Согласно учебнику инфекционных болезней Розенберга, над которым я сидела еще совсем недавно, после опасного кризиса часто наступает «сверхчувствительное состояние духа».

Ни эти дни, ни потом, когда Андрей стал садиться в постели, у меня не было ясного представления о том, что же, собственно говоря, произошло между нами. Ничего не произошло! Просто я растерялась, увидев его лицо с рельефно выступавшей челюстью, — насмотрелась на эти челюсти в анатомическом театре! — и наговорила со страху множество ласковых слов. Но что-то произошло — иначе почему же теперь, едва я входила к нему, мы оба начинали чувствовать какую-то перемену, заставлявшую нас как бы немного стесняться друг друга?

Точно между нами была протянута невидимая струна и время от времени Андрей невольно касался ее — так он разго-

варивал со мной о самых обыкновенных вещах, а сам с внимательным и счастливым лицом прислушивался к замиравшему звону.

Но странно! Можно было подумать, что мой ответ на письмо Андрея и надо мною с каждым днем приобретал все большую власть. Вольно или невольно, но я обещала Андрею, что стану его женой, и это обещание приходило ко мне — именно приходило, как человек, — каждую ночь, едва я оставалась одна. И два «я» — одно разумное, хладнокровное, а другое порывистое, взволнованное — начинали вести между собой разговор.

«Ты знаешь Андрея много лет, — говорило первое, разумное я. — Благодороднее, добрее, умнее его ты еще никого не встречала».

«Но ведь придет день, — я робко возражала себе, — когда мне придется сказать Андрею, что это лишь полуправда?»

«Проходят годы, и полуправда становится правдой. Вы будете идти вперед, поддерживая друг друга, учиться и работать. А Митя?» — вдруг подумалось мне.

И мне вспоминалось, как я провожала Митю к Глашенъке, когда он приехал в Лопахин после гражданской войны, и как, узнав его, она крикнула низким, зазвеневшим голосом: «Митя!» — и как потом я бежала по спящим, пустынным улицам, клянясь, что никогда, никого не буду любить. «Когда, переправившись через Анзерку, я без сил лежала на мокром песке и близость гибели прогнала все, чем я жила до сих пор, — думалось мне, — почему с такой горечью я стала думать о Мите?»

И вдруг этот разговор начинал представляться мне каким-то миражем. Что за пустяки придумала я? Что за беда, если некогда — в ранней юности — мне нравился Митя? Да мало ли кто еще нравился мне? А этот молодой врач из Военно-медицинской академии, с которым мы ходили на гастроли МХАТа? Нет, нет! Все будет прекрасно! И наконец — разве решилась бы я отнять от Андрея свое слово, которое, мне казалось, незримо участвовало даже в том, что день ото дня ему становилось лучше?..

Только одно немного огорчало меня: с тех пор как я решила, что все к лучшему, будущее стало представляться мне каким-то туманным, хотя, напротив, должно было стать таким же ясным и чистым, каков был сам Андрей с его ясностью и чистотой. Я не могла избавиться от неприятного чувства, что жизнь вдруг свернула с намеченного пути и побрела в ту сторону, где все было расплывчато и казалось неопределенно-непрочным...

Пора было возвращаться в Ленинград; я бы давно уехала, если бы не болезнь Андрея. В середине августа должен был состояться в Ленинграде Всесоюзный съезд бактериологов и

санитарных врачей, и мне хотелось побывать на нем, тем более что Николай Васильевич должен был выступить с докладом.

На письмо Андрея Митя ответил, что будет очень рад услышать от меня «то, что его поразит». Он собирался на съезд и спрашивал, буду ли я в середине августа в Ленинграде.

Но были и другие, не менее важные поводы, заставлявшие меня торопиться. Николай Васильевич должен был договориться в деканате, чтобы моя командировка считалась практикой между четвертым и пятым курсом. С обычной беспечностью он не сделал этого, и теперь, как мне писала Оля Тропинина, мой перевод на пятый курс встретил неожиданные затруднения. Давно пора было навестить отца, который писал, что «Авдотья Никоновна тяжело больна и все надеется, что ее вылечит Таня». Необходимо было съездить в Лопухин и по другой причине: я должна была привезти и отдать Мите чемодан с бумагами старого доктора, хранившийся у отца.

Машина из В—ска должна была прийти рано утром, и, уложившись, я обошла всех своих пациентов. Андрей сидел на постели в белой рубашке с открытым воротом, из которого торчала трогательная, похудевшая шея. Ежик его, всегда аккуратно подстриженный, торчал во все стороны.

— Жаль, что мне не удастся приехать на съезд, — сказал он. — Правда, Молчанов (это была фамилия заведующего здравотделом) мог бы отпустить меня в августе. Ведь я все-таки болел тяжело.

— А может быть, согласится?

— Едва ли... Таня, — помолчав, продолжал Андрей, — мы с тобой еще не говорили... как все будет. Ты понимаешь, о чем я говорю?

Я ответила спокойно:

— Да, понимаю.

— Но вот что я хотел сказать тебе. Меня мучает одна загадка, которую я, может быть, уже разгадал. Ведь ты... — он волновался, — ведь ты ответила на мое письмо, правда?

— Ну конечно.

— Понимаешь, мне пришло в голову, что так ласково ты никогда не говорила со мной до той ночи. Скажи... — и он взглянул мне прямо в лицо, — ты испугалась, что я умираю, и потому сказала мне...

— Нет.

Андрей опустил голову.

— Мне страшно не за себя, — печально сказал он. — Потому что если ты хоть немного любишь меня — все равно это счастье. Но ты могла обмануться и одно чувство невольно принять за другое. Это смешно, что я так говорю, да? Но ты пони-

маешь... ведь я знаю, что в ту минуту ты от всей души пожалела меня...

Машенька зашла, извинилась, убежала, и мы заговорили о чем-то другом. Не знаю, заметил ли Андрей, что у нее заплаканные глаза. Должно быть, заметил, потому что задумался, не выпуская из рук мои руки.

— Знаешь, о чем я думаю? — сказал он, когда я наконец стала прощаться. — Что я все-таки плохо знаю тебя. Вот сейчас, например, мне все кажется, что ты расстроена, не уверена, говоришь и не слышишь себя. Я ошибаюсь?

— Конечно.

— Но в Ленинграде... обещай, что ты станешь думать об этой минуте, когда тебе показалось, что я умираю.

Что я могла ответить ему?

В избе никого не было, мы обнялись, и я крепко поцеловала Андрея. Никого мне не нужно было, кроме него, — такого милого, доброго, красивого, — я все время забывала, что он очень красивый. Конечно, я люблю его. Как же еще назвать ту теплоту в моем сердце, которая принадлежала только Андрею и которую я начинала чувствовать, едва вспоминала о нем?

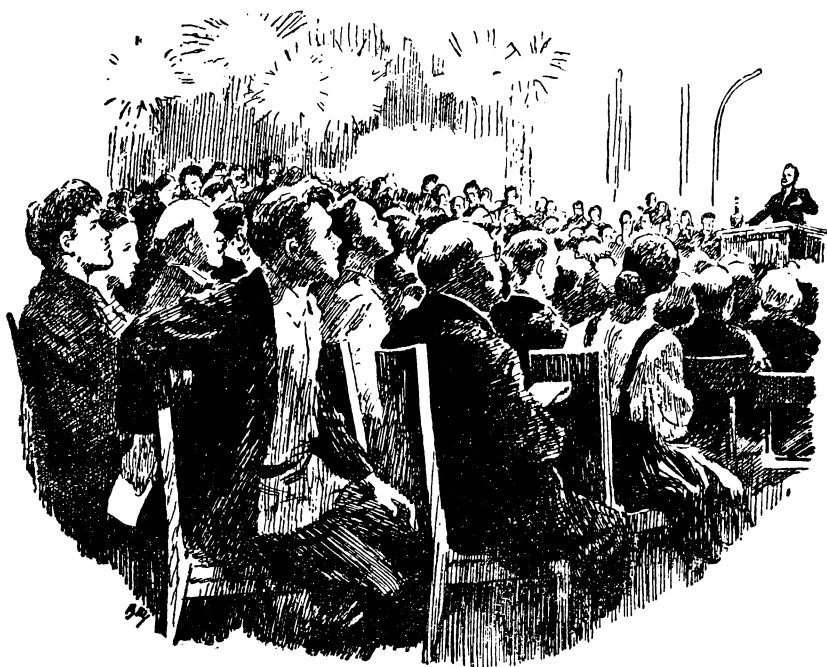




Глава четвертая

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ





ВОЗВРАЩЕНИЕ

Не знаю почему, но, вернувшись в Ленинград, я никому не сказала, что выхожу замуж. Может быть, потому, что это выглядело немного смешно: поехала на эпидемию и через месяц вернулась невестой. Но была и другая причина: еще в поезде все происшедшее между мной и Андреем в Анзерском посаде отодвинулось от меня, но не назад, а вперед, точно мое обещание стать его женой должно было осуществиться лет через десять. Это беспокоило меня, но что я могла поделать со своей глупой душой? «Вот это — сейчас, — думала я, перебирая свои дела, которых накопилось множество за то время, что я не была в Ленинграде, — а это — потом». Сейчас мне нужно явиться с отчетом на кафедру, с оправданиями к декану. На открытом собрании комсомольской организации института мне предстоя-

ло в самое ближайшее время выступить с докладом о поездке в Анзерский посад. Среди этих дел и забот мне смутно мерещилась встреча с Митей, если он приедет на съезд.

Это было открытое собрание комсомольской организации, но пришел почти весь курс — только что съехались после каникул, — и я инстинктивно почувствовала, что непременно должна коснуться тех жизненных вопросов, которые не могли не волновать студентов, кончающих медицинский институт. Накануне я заходила в комитет к Леше Дмитриеву, но он, не знаю почему, снова отложил разговор, который должен был состояться еще до моей поездки. Это тоже взволновало меня. Дмитриев вел собрание, и я поймала себя на том, что во время доклада несколько раз с волнением обернулась к нему.

У меня был план, и я говорила по пунктам, кажется, связано, а между тем товарищи потом сказали, что получилось несоответствие между «научной» и общественной стороной доклада. Я сама почувствовала это, когда вдруг поняла, что моих товарищей, студентов пятого курса, больше интересуют обстоятельства жизни и работы молодого врача на такой далекой окраине, как Анзерский посад, чем меры борьбы с дифтерией, о которых можно было прочесть в любом учебнике инфекционных болезней.

Это стало окончательно ясно, когда, отвечая на какой-то вопрос, я стала говорить об Андрее. Готовясь к докладу, я решила совсем не говорить о нем или в крайнем случае назвать его «местный врач». Но оказалось, что это невозможно, и пришлось даже кратко рассказать биографию Андрея. Я сделала это с невольным чувством, что все сейчас догадаются, почему я покраснела, смутилась, почему говорю о «местном враче» в каком-то неестественно свободном тоне. Но ничего не случилось, и я вскоре совершенно овладела собой. Я рассказала о том, что Андрею приходится заниматься далеко не одной медициной, но, например, и делами рыболовецкой артели. Я упомянула о Митрофане Бережном, сидящем над книгами времен Алексея Михайловича, глубоко убежденном в полной незыблемости своего страшного мира.

Я рассказывала долго, подробно, ничего не преувеличивая, тем более что и без всяких преувеличений у меня получилась не столько история постановки медицинского дела в Анзерском посаде, сколько история борьбы за укрепление советской власти в деревне — борьбы, потребовавшей огромной энергии, решительности, воли и еще одного качества, которое я привела, как глубоко характерное для Андрея: стремления к тому, чтобы его дело, пусть маленькое, никто в Советском Союзе не мог сделать лучше, чем он.

Но вот я перешла к итогам, и мысль о том, что борьба про-

тив дифтерии в глухом поморском селе тоже имеет политическое значение, стала сама собой пробиваться через все, о чем я говорила. Я обошла ее; мне казалось, что, высказав эту мысль, я переоценила бы нашу работу, себя. Но в конце концов все-таки наткнулась на нее с разбегу. Движение интереса пробежало по аудитории, и я поняла, что без этой мысли мой доклад был бы неполон, неверен.

Может быть, не следовало упоминать о Лопахине, но я разошлась и рассказала все — и как девочкой я мечтала «совершить великое во имя и для счастья народа» и как моя поездка помогла увидеть тот простой факт, что мы, комсомольцы, являемся надеждой нового, революционного мира.

Волнение сдавило мне горло, и я замолчала на словах: «И это в то время, когда...» Мне хотелось в общих чертах обрисовать положение страны. Но, очевидно, все прекрасно поняли, что я хотела сказать, потому что раздались аплодисменты. Они возобновились с новой силой, когда я некстати произнесла заранее подготовленную заключительную фразу:

— Таковы краткие итоги моей поездки на дифтерийную эпидемию в Анзерский посад.

Вечером я зашла в ячейку, и Леша Дмитриев сказал, что всем очень понравилось мое выступление. Я спросила:

— А наш разговор?

И он ответил, улыбнувшись:

— Разговора не будет.

* * *

Молодой китаец, спускавшийся с лестницы на кафедре микробиологии — это был приемный сын Николая Васильевича, — добродушно улыбаясь, сказал, что отец занят: у него московские гости. Я пошла в деканат, вернулась — гости еще не ушли. Я получила стипендию, забежала в профком, узнала новости и среди них одну неприятную: что у Лены Быстровой очень болен отец. Гости сидели и, судя по голосам, доносившимся из-за двери, не собирались скоро уходить. Что делать? В маленькой комнатке перед кабинетом Николая Васильевича стояли его коллекции, и я в сотый раз стала рассматривать каких-то странных кукол с опахалами и костяных обезьян. Вдруг дверь распахнулась, и Заозерский, оживленный, с растрепанной бородкой, в новом костюме, в белой рубашке, открывшейся на полной груди, вошел и, обернувшись, крикнул с порога:

— И будет прав, потому что это типичнейший нэпман от науки... А, путешественница! — сказал он, увидев меня. — Ну, как дела? Давно вернулась?

Он называл меня то на «вы», то на «ты».

— Вчера, Николай Васильевич. Я вам писала.

— Получил и ничего не понял... Вот извольте, — сказал он, взяв меня за руку и ведя в кабинет. — Сия девица утверждает, что ею открыт стрептококк, который подавляет палочку Леффлера. Каково, а?

В кабинете было накурено, дым медленно уходил в открытое окно, и везде стояли цветы — Николай Васильевич сам покупал и ему постоянно дарили цветы. Круглый стол, на котором обычно лежали в беспорядке журналы и книги, был накрыт, и за этим столом, уставленным закусками, вином и цветами, сидел, улыбаясь, Митя. Направо и налево от него были какие-то кутившие, смеявшиеся и уставившиеся на меня с любопытством люди.

— Рекомендую, — говорил между тем Николай Васильевич, — способная девушка, возжелавшая, несмотря на мои уговоры, вкусить от горького плода науки. Только что вернулась с дифтерийной эпидемии в Анзерском посаде. Ее зовут Таня, — объяснял он, точно я была маленькая и стеснялась назвать себя. — Мы слушаем вас. Что вы думали сделать и что сделали? Ну-с?

Я смутилась и стояла, не поднимая глаз, но когда Николай Васильевич произнес мое имя, быстро взглянула на Митю. Он поставил бокал на стол, поспешно встал и посмотрел на меня, вежливо улыбаясь. Не узнал. Но это продолжалось не больше минуты. Я заговорила, и, как бы не веря глазам, он стал всматриваться... Потом отвел взгляд, и на лице появился холодный оттенок.

— Почти ничего не сделала, Николай Васильевич. Отвезла сыворотку и помогла местному врачу впрыснуть ее больным и здоровым. Вот и все.

— Молодец! — с удовольствием сказал Николай Васильевич. — Ай, девица! Хороша, а?

— Что касается палочки Леффлера, — продолжала я, — то вы посоветовали мне...

И, повторив слово в слово то, что советовал мне Николай Васильевич, я рассказала, каким образом его предположение привело меня к обратному результату. Сперва голос немного дрожал и делалось то холодно, то жарко, но потом я совершенно успокоилась и, кончая, подумала, что лучше рассказать было почти невозможно. Впрочем, однажды меня уже обмануло подобное чувство!

Меня слушали внимательно, особенно Митя. Зато Николай Васильевич совершенно не слушал, только поглядывал на гостей и с довольным видом похлопывал себя по колену.

— Ну что, какова? — спросил он, когда я замолчала. — Вот тебе и дивчина! Выходит, стало быть, что палочка Леффлера...

И в две минуты он доказал, что мне не удастся подтвердить

результаты, если опыт будет поставлен более точно. Не глядя на меня, Митя стал возражать Николаю Васильевичу, и загорелся спор, да такой, как будто оба только и ждали удобного случая, чтобы с ожесточением наброситься друг на друга.

Сначала я кое-как следила за спором, потом запуталась и только ждала с ужасом, что сейчас Николай Васильевич или Митя обратятся ко мне и окажется, что я просто невежда.

Обо мне спорщики забыли так надолго, что, постояв немного посреди комнаты, я тихонько отошла и присела на ручку кресла.

Они спорили, а я смотрела на Митю, и впервые мне пришлось в голову, что я почти не знаю его. В самом деле, если бы до сих пор мне никогда не случалось встречаться с ним, что я сказала бы об этом человеке?

Нижняя часть его лица была решительная, даже жесткая, а глаза задумчивые, с рассеянным, добрым выражением. Он мало изменился после Лопахина, хотя пополнил и стал казаться еще выше. Попрежнему он держался по-военному прямо; теперь, когда на нем было штатское, эта манера стала еще заметней. В нем было что-то отталкивающее и одновременно притягивающее — эти черты ясно отражались на его лице, так что оно вполне оправдывало известную поговорку, что лицо — зеркало души.

Но самым главным в Мите была все-таки энергия, которая в ту минуту, когда я следила за ним, выражалась, по-моему, во-первых, в том, чтобы победить Заозерского в споре, а во-вторых, чтобы не поссориться с ним. Несколько раз он был готов вспылить и удержался с трудом.

В общем, только одно я поняла в этом затянувшемся споре: Митя намеревался выступить на съезде против какого-то профессора Крамова, а Николай Васильевич заклинал Митю не выступать.

«Это не человек, а елейный удав, — сказал он, — который хоть через десять лет, но подберется и непременно задушит».

Наконец Николай Васильевич вспомнил обо мне.

— Таня, садитесь к столу, — ласково сказал он. — Наливки рюмочку! Наша, чеботарская, земляки прислали!

Я поблагодарила и отказалась.

— Да вы не чинитесь! Вы думаете, профессора, то да се. А мы не профессора, мы тоже студенты, только старые. Учимся, спорим, шутим, а где лучик света блеснет, туда и бросаемся, ей-же-ей! Як барани!

Все засмеялись, и я тоже, но все-таки не села к столу, тем более что московские гости собрались уходить. Николай Васильевич крепко пожал мне руку и велел завтра принести отчет и работу на кафедру.

Митя притворился, что не узнал меня! Даже об Андрее не спросил — хорош! Положим, он не знает, что Андрей болел. Все равно мог бы поинтересоваться братом. Ладно же! Вот что я сделаю: бумаги Павла Петровича отправлю из Лопехина в Москву ценной посылкой, а личные письма оставлю себе. Павел Петрович велел сжечь эти письма, так что я не обязана отдавать их кому бы то ни было и тем более Мите!

Я нашла казначея нашей коммуны, отдала ему стипендию и побежала домой.

Должно быть, мы вышли из института одновременно, только я — из ворот, а Митя — из главного здания, потому что он вдруг оказался в двух шагах позади меня.

— Одну минуту!

Я подождала, и мы пошли к площади Льва Толстого.

— Мне было неудобно говорить с вами у Николая Васильевича, — сказал он вежливо, но, как мне показалось, с оттенком презрения: — Вам передавали? Весной я заходил к вам в общежитие.

— Нет, не передавали.

Я так и кипела.

— Признаться, вас трудно узнать. В Лопехине вы были маленькой девочкой, а теперь... Необыкновенно переменились и похорошели.

Нужно было ответить с иронией: «Благодарю вас». Но ирония не получилась бы, потому что я была очень сердита.

— Вы, кажется, намеревались о чем-то говорить со мной? Полагаю, моя наружность не относится к теме этого разговора?

Он искоса взглянул на меня:

— Да, я хотел говорить с вами. Вы находились при Павле Петровиче в последние дни его жизни. Скажите, когда он скончался, у кого остались его рукописи? У вас?

— Да.

— А вы не думаете, — и Митя слово в слово сказал ту самую фразу, которой так боялся Андрей, — что давно пора вернуть их родным?

Я ответила:

— Вы правы. И я сделала бы это, если бы не боялась, что родные Павла Петровича отнесутся к его рукописям с таким же возмутительным пренебрежением, как и к нему самому.

У меня нечаянно получилось так складно. Впрочем, от злости у меня всегда появляется дар говорить совершенно свободно. Митя изумился:

— Что такое?

— Сейчас объясню, — ответила я хладнокровно. — Но пре-

жде позвольте узнать, почему вы не спрашиваете о здоровье вашего брата? Или вас не интересует, что неделю он был при смерти и что, уезжая, я оставила его еще в постели?

Это была минута, когда я убедилась в том, что Митя очень любит Андрея. Он побледнел, остановился и вдруг так сильно схватил меня за руки, что я чуть не закричала от боли.

— Как — при смерти?

— Теперь ему лучше, гораздо лучше!

— Что с ним было? Дифтерия?

— Если дифтерия, то какая-то не типичная, — ответила я, чувствуя, что мне приходится отвечать за болезнь Андрея, и сердясь на себя за это глупое чувство. — Он сам предполагал малярию.

— Но как он сейчас?

— Поправляется! Встанет через неделю.

— Почему же он не написал мне о своей болезни? Я получил от него письмо перед самым отъездом.

— Это какое письмо? — спросила я сердито. — В котором он написал: «Ты услышишь то, что тебя поразит»?

Мы давно прошли мимо моего общежития и с площади повернули на улицу Красных Зорь — так Кировский проспект назывался в двадцатых годах.

Последние слова я подчеркнула, и Митя, помолчав, взглянул на меня сверху вниз — в буквальном и переносном смысле.

— Слушаю вас.

Мы как-то не ко времени поговорили о болезни Андрея, и теперь было трудно найти прежний сердитый, уверенный тон, помогавший мне держаться свободно. Но это «слушаю вас» было сказано таким равнодушным голосом, что я опять закипела.

— Начнем с того, что мне бы хотелось, чтобы при нашем разговоре присутствовала Глафира Сергеевна.

— Вот как?

Митя вздрогнул, или мне показалось? Впрочем, сразу же взял себя в руки.

— Ну что же, это нетрудно устроить, — сказал он. — Глафира Сергеевна со мной в Ленинграде и даже (он взглянул на часы) сейчас ждет меня в гостинице. Отложим наш разговор на десять минут, и вы можете при ней изложить то, чем намерены меня поразить.

ГЛАФИРА СЕРГЕЕВНА

До мечети мы шли пешком, и Митя, пожалуй, мог бы спросить у меня не только о том, давно ли по улице Красных Зорь стал ходить автобус. По крайней мере, на его месте я отнеслась

бы с интересом к девушке, которая только что вернулась из Архангельской области, где работала полтора месяца с его родным братом, у которой хранились рукописи старого доктора и которая могла рассказать о них (и о нем) больше всех на свете. Но что все это значило, думалось мне, по сравнению с владевшим Митей чувством презрения! Еще бы! Он видел перед собой лицемерку, упростившую, чтобы старый, слабый, больной человек был оставлен на ее попечении, а потом бросившую его без присмотра. Хорошо же!

У Глафиры Сергеевны сидел гость — пожилой человек, с круглой лысеющей головой, которую он держал немного набок, с бледными висячими щеками и пухлыми улыбающимися губами. Когда Митя, пропуская меня вперед, открыл дверь, этот человек встал, а Глафира Сергеевна, сидевшая на диване в нарядном японском халате, спокойно повернула голову. Без сомнения, она узнала меня с первого взгляда.

— Здравствуйте, Валентин Сергеевич, — сказал Митя. — Вот, Глашенька, узнаешь? Старая знакомая Татьяна...

— Петровна, — сказала я.

— Садитесь, Татьяна Петровна! Мы помешали?

Гость улыбнулся:

— Напротив. Дмитрий Дмитрич, рассудите нас. Глафира Сергеевна утверждает, что в ленинградских театрах можно умереть от скуки. А я вчера был в Большом драматическом на «Заговоре императрицы» — прекрасный спектакль, уверяю вас! Вместо доказательства, Глафира Сергеевна, позвольте завтра прислать билеты?

— Я не говорила, что можно умереть, — возразила Глафира Сергеевна, — но в сравнении с Москвой здесь как-то надутو играют.

По-моему, так нельзя было сказать: «надуту играют».

— Нет, вы положительно неисправимы! Москва и Москва! А белые ночи? А Нева? Эрмитаж?

И он продекламировал:

В гранит оделася Нева,
Мосты повисли над водами,
Темнозелеными садами
Ее покрылись острова.

— Помните?

— Разумеется, — сказала Глафира Сергеевна так торопливо, что я невольно подумала: «Ничего ты не помнишь».

И снова они стали сравнивать московские и ленинградские театры. Гость похвалил Акдраму, бывший Александринский, а Глафира Сергеевна сообщила, что она была на спектакле «В царстве скуки» и зрители утверждали, что игра актеров

вполне оправдала название. Время от времени она почему-то брала в руки лежавшую перед ней книгу — очевидно, эта книга имела отношение к Александринскому театру.

Я волновалась, но, может быть, именно поэтому заметила многое, на что при других обстоятельствах не обратила бы никакого внимания. Во-первых, я заметила, что Глафира Сергеевна изменилась — прежде была тонкая, гибкая, а теперь пополнела, и на шее, под самым подбородком — я все рассмотрела! — появилась большая морщина. Несмотря на свой гордый вид, она держалась напряженно, точно в глубине души не была уверена, что имеет право сидеть в этом прекрасном номере гостиницы и разговаривать с такими умными, образованными людьми. Во-вторых, я заметила, что Мите не нравится этот слащавый гость и еще меньше нравится, как ведет себя с ним Глафира Сергеевна. В самом деле: она уронила платочек, гость подхватил, подал. В ответ Глафира Сергеевна протянула руку — и он элегантно поцеловал руку.

В-третьих, я поняла, что невольно попала в круг каких-то сложных, запутанных отношений. Это чувствовалось и в том, что гость говорил слишком неторопливо, и в том, что Митя почти откровенно ждал, когда он уйдет, и в том, что Глафира Сергеевна делала вид, что не замечает Митиного недовольства, хотя оно было буквально написано на его сердитом лице. Вообще все притворялись, но особенно Глафира Сергеевна, которой нужно было еще показать, что она с глубоким равнодушием относится к тому, что некая Татьяна Петровна сидит в углу, терпеливо ожидая окончания разговора. «Зачем явилась ко мне эта мерзкая девчонка в выцветшей жакетке, в заштопанных чулках? О чем собирается говорить со мной? Неужели об этом?» Я была готова почти прочитать ее мысли.

Между прочим, чулки были заштопаны выше колен, но я все время чувствовала эти местечки, точно были заштопаны не чулки, а ноги.

Гость все говорил, вежливо, длинно и льстиво — так преувеличенно льстиво, что я даже подумала, что он смеется над Митей. Повидимому, это был один из микробиологов, приехавших на съезд, но, как и Львовы, за две недели до съезда. Эти две недели — так я поняла из прощальных, незначительных фраз — решено было посвятить осмотру Ленинграда, в котором Глафира Сергеевна еще никогда не была.

— Зачем он приходил? — сердито спросил Митя, когда за гостем наконец захлопнулась дверь. — Ведь ты знаешь, что я не выношу этого святошу. Вот уж действительно «седейный удав»! Кстати, Заозерский только что сказал, что он собирается выступить против меня на съезде.

Глафира Сергеевна пожала плечами:

— А ты можешь представить, что я узнала об этом прежде тебя? И пригласила Крамова именно для того, чтобы...

— Что такое?

Я бы, кажется, спряталась под кровать, если бы Митя вдруг двинулся на меня с таким сердитым лицом.

— Я тысячу раз просил тебя не вмешиваться в мои дела! — закричал он. У него губы не слушались. — Неужели ты не понимаешь, что это ставит меня в ложное положение?

— Ты, кажется, забыл, что мы не одни, — значительно произнесла Глафира Сергеевна.

— Простите! — Митя резко повернулся ко мне.

— Может быть, мне уйти, Дмитрий Дмитрич?

— Нет, нет! Говорите, пожалуйста... Глаша, Татьяна Петровна только что вернулась из Анзерского посада. Андрей тяжело болел, но сейчас ему лучше. Они вместе работали на дифтерии... Мы вас слушаем, Татьяна Петровна.

* * *

— Видите ли, в чем дело, — начала я, рассчитывая (как это постоянно случалось со мной на экзаменах), что мне удастся успокоиться через пять-десять минут, — мы встретились с Андреем случайно, и лишь благодаря этой случайности я узнала, что меня обвиняют в том, что я нанялась за деньги ухаживать за Павлом Петровичем, а потом, когда Глафира Сергеевна уехала...

— Никто вас не обвиняет, — поспешно возразила Глафира Сергеевна. — Да и вообще, что за вздор! Когда это было?

— Не так давно, чтобы я забыла, как вы вели себя по отношению к нему.

Митя с изумлением повернулся к жене. Она ничего не ответила, только поджала губы и взглянула на меня исподлобья.

— Если бы вы были тогда в Лопяхине, Митя, — продолжала я, забыв, что все время называла его «Дмитрием Дмитриевичем», — вы были бы возмущены не меньше, чем я. Вот теперь вы интересуетесь его трудами и даже думаете, что они могут понадобиться вам для какой-то работы. Где же вы были, когда он умирал, один, без друзей и родных? И ведь он ничего не требовал! Да и вообще разве хоть одну минуту он думал о себе? Он писал о своей работе Владимиру Ильичу...

Я остановилась, потому что нужно было успокоиться, но Митя только переспросил с удивлением: «Владимиру Ильичу?!» — и я снова помчалась во весь опор, не разбирая дороги.

— Да, да! И это письмо было бы закончено и отправлено, если бы вы взяли на себя труд хоть заглянуть в те рукописи,

которые я, по вашему мнению, не имела права оставить себе. Но я пришла, чтобы сказать о другом. Глафира Сергеевна оклеветала меня. Я требую, чтобы она немедленно, в вашем присутствии, отказалась от этой клеветы и признала, что она свалила свою вину на меня.

Каждое слово, из которого состояла эта пылкая речь, казалось мне настолько неопровержимым, что я была уже почти готова простить Глафиру Сергеевну... «Сейчас расплатится!» — с торжеством подумалось мне. Но Глафира Сергеевна не расплакалась.

— Вы кончили? — спросила она. — Так вот, Дмитрий, должна тебе сказать, что я не намерена разговаривать с этой... — она не нашла слова, — только скажу, что удивляюсь, зачем ты привел ко мне эту... — Она нарочно все время называла меня просто «эта». — Чтобы меня оскорбить? Так я тебе скажу, что дело не только в том, что она из милости жила у соседки и надеялась захватить комнату Павла Петровича со всеми его вещами. Здесь был еще один подлый расчет... Скажите, товарищ... как вас там зовут? — сказала она с отвращением, — где письма артистки Кречетовой, которые оставил вам Павел Петрович?

Митя спросил тревожно: «Какая Кречетова?» — и я почувствовала с ужасом, что он и Глафира Сергеевна — это одно, а я — совершенно другое. За этой мыслью так же быстро мелькнула другая: «Она стащила у меня эти письма!»

— Где? — переспросила я хладнокровно. — В Лопахине оставлены на хранение.

— Вот как! Оставлены на хранение? — И Глафира Сергеевна взяла со стола книгу, о которой я прежде подумала, что она имеет отношение к Александринскому театру. — Вот они! — Она швырнула мне книгу. — Изданы! Теперь вы посмеете утверждать, что не продали их?

Я стояла далеко от нее, и книга упала на пол. Митя сделал шаг, но я опередила его. «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному», не веря глазам, прочла я на белом переплете.

— Ничего не понимаю, — пробормотал Митя.

— Знаешь, Кречетова, артистка! Да я тебе потом расскажу! Но какова же низость — узнать, что среди бумаг старика имеются личные письма! Разнюхать, что они имеют какую-то ценность! Найти издателя и продать ему эти письма! И эту... — Глафира Сергеевна с трудом удержалась от грубого слова, — ты приводишь ко мне?

Впервые в жизни навстречу мне двинулась такая откровенная, стоялая, поражающая своею меткостью ложь — немудрено, что я растерялась. Нужно было повернуться и уйти. Но в ту минуту с острой, почти болезненной ясностью я увидела полное лицо Раевского с моргающими глазами и услышала его голос,

говорящий: «Мне нужны эти письма. Идет? Задаток сегодня!» И как будто я взяла задаток и обещала украсть эти письма — так я залепетала что-то, обращаясь не к Глафире Сергеевне, а к Мите. Какое-то жестокое выражение возникло у него на лице, промелькнуло в глазах, и это выражение, как ножом, резнуло меня по сердцу.

— Вы верите ей? — закричала я.

Он отвернулся, и я выбежала из номера, не помня себя, с единственной мыслью — не заплакать перед этой страшной женщиной, перед этой подлой, глывшей на меня тяжелыми, поблескивающими глазами.

ПИСЬМА К НЕИЗВЕСТНОМУ

Я сказала, что впервые в моей жизни навстречу мне смело двинулась ложь. В течение первых трех дней после моего возвращения произошло так много событий, точно кто-то долго собирал их в огромную корзину, а теперь опрокинул ее на меня без предупреждения — это тоже случилось со мною впервые. Среди этих событий были важные и не особенно важные, и чтобы отличить одни от других, нужно было остановиться, оглядеться, подумать. Куда там! Только один предмет я видела перед собой: книгу под названием «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному». Наконец мне удалось купить ее у букиниста на Литейном проспекте.

Пожалуй, это было не совсем обыкновенное зрелище: девушка, которая, не обращая ни малейшего внимания на оклики извозчиков, на свистки милиционеров, шла по улицам Ленинграда с раскрытой книгой в руках. Дважды она чуть не попала под лошадь. Она сталкивалась с прохожими. На углу Семеновской с ней поздоровался товарищ по курсу — она его не узнала...

Письма, которые старый доктор просил сжечь после своей смерти, теперь читали чужие, равнодушные, незнакомые люди, и каждый, у кого было три рубля пятьдесят копеек, мог так же, как это сделала она, зайти в магазин и купить эти письма. Письма, которые она не решалась прочитать в рукописи, были напечатаны в количестве пяти тысяч экземпляров, с предисловием какого-то пошляка, намекавшего на «загадку жизни знаменитой актрисы».

Она читает эти письма, и ей кажется, что весь город, широко открыв глаза, вместе с ней перелистывает страницу за страницей. Вот красивая женщина с темными глазами идет по аллее, а там, в беседке на берегу моря, ее уже ждет, волнуясь, высокий человек в свободном летнем костюме и широкой пана-

ме. Загорелое лицо с прекрасными, навывкате, глазами полно муки и радости ожидания. Вот он видит ее, бросается к ней... Это первая встреча в Балаклаве, о которой Кречетова с нежностью вспоминала в нескольких письмах. Вот они встречаются в Генческе, в Азове, всё в маленьких южных городах, где никто не находит странными эти радостные и печальные встречи.

С раскрытой книгой в руках девушка пересекает город, и ей кажется, что от страницы к странице все тише становится на шумных улицах Ленинграда. Через Летний сад она проходит на набережную — чуть слышно перебирают листьями старые липы, умолкают и перестают смеяться люди на пристани, от которой отходит на Острова пытящий, переполненный пароходик. И притихший город вместе с ней читает грустную историю двух людей, которые навсегда полюбили друг друга.

1. «...Как ни тяжелы, почти непереносимы наши горькие встречи, но когда ты уезжаешь, я чувствую такую пустоту, что понять не могу, как еще в силах двигаться, разговаривать, играть. Ты знаешь, что я играю не только на сцене».

2. «...Нужно представить себе всю бессмысленность положения, когда два человека, которые друг без друга не могут вообразить ни единого мига счастья, должны тосковать, терзаться и лгать, лгать на каждом шагу. Когда я вынуждена притворяться, что равнодушно слышу твоё имя, только что уйдя от тебя с пылающими щеками, мне начинает казаться, что когда-нибудь меня убьёт этот мучительный стыд. Да, нам нельзя видеться. Нужно расстаться! Но стоит лишь вообразить ту пустоту, тот ужас, который открывается за этими словами, и я страстно, злобно гоню эту мысль. Нет, верно, суждены нам с тобой, бедный мой, дорогой, эта мука, это небывалое счастье!»

3. «...В Париже Шарко нашел у меня истощение сил и велел ехать в Сицилию. Ты представляешь, как хотелось мне ехать, тогда как я знала, что ты будешь ждать меня в Плесе! Лихорадочно следила я за русскими газетами и по первому известию о вскрытии Волги выехала, убедив врачей, что в Плесе воздух будет здоровее для меня, чем в чужой Сицилии».

4. «...Что я пережила за эти две недели, вообразить нельзя, и описать не берусь! Нет, уезжай! Когда ты в Москве и я знаю, что не могу тебя видеть, я понемногу привыкаю к этой мысли, и боль в сердце не так мучит меня. Но когда ты в Петербурге, не видеть тебя, не быть рядом с тобой — становится невыносимой пыткой. Эти торопливые встречи, когда я поминутно смотрю на часы, это сознание, что мы должны прятаться, как воры, убивают меня».

5. «...Вчера была в Казанском соборе и не могла не заплакать. Хотя я стояла в толпе, в темном углу, закутанная вуалью, кому-то понадобилось сообщить в газетах о моих слезах и пы-

таться разгадать мое горе. Боже мой! Неужели актер никогда и ни в чем не может принадлежать себе? Неужели публика имеет право даже на его слезы?»

6. «...Знаешь ли, с каким чувством я последнее время ухожу от тебя? Что наша любовь — это что-то живое, и нам велят задушить, уничтожить это живое. Боже мой! Задушить то, чем живет, волнуется, переполнено сердце, отказаться от счастья, без которого я не знаю, стоит ли жить? А как бы хотелось, мой милый, родной, чтобы хоть ненадолго все стало по-нашему, как мы часто мечтаем с тобой! Мы уехали бы не знаю куда — в деревню или на юг. Я бы заботилась о тебе, мне так хочется позаботиться о тебе! И каждый вечер был бы такой, как тот в Балаклаве, когда мы возвращались домой и темные фигуры рыбаков с удочками неподвижно виднелись на море. Помнишь ли ты Гейне — «Книгу ле Гран»? Перечти ее и угадай место, которое я отчеркнула, думая о тебе».

7. «...Дорогой мой, если бы ты знал, как я соскучилась без тебя, как страдаю! Теперь уже не мечтаю я больше навсегда соединиться с тобой. Года идут, голова моя седеет, и, видно, не дожидаться нам этого счастья. Но хоть видеть тебя, не скрываясь, хоть знать, что ты здоров и попрежнему любишь меня! Сегодня я снова говорила с ним. Ты знаешь, о ком я пишу. Он повторил, что не даст развода, даже если я возьму всю вину на себя».

8. «...Когда я получаю твое письмо, я, как девочка, прежде всего ищу слова любви, а все остальное кажется мне бесконечно менее важным. Тысячу раз я перечитываю твою подпись, и когда ты не подписываешься «всегда твой» и ставишь только инициалы, мне начинает казаться, что ты меньше любишь меня. Однако меня расстроило известие о «готовой разразиться над тобою буря». Ты глухо пишешь об этом. Почему? Чтобы не огорчать меня? Но разве ты не знаешь, мой друг, что я никогда не расстанусь с тобой! Тяжело мне писать это «не расстанусь», в то время как мы видимся лишь во время твоих редких приездов в Петербург. Но все равно — наша любовь давно уже стала как бы вне нашей власти, и не только вне, а над нами».

9. «...Что говорят в Москве о провале «Чайки»? Гостинодворцы, которые убеждены, что мы играем только для них, свистели, шикали, смеялись, оскорбляли актеров и в конце концов добились провала замечательной пьесы. Бедный Чехов!! Никогда не забуду, как, растерянный, осунувшийся, с напряженной улыбкой, он слушал наши уверения, утешения! Не дождавшись конца спектакля, накинув пальто и забыв шапку, он бежал из театра — так и уехал с непокрытой головой».

10. «...Пишу тебе, надеясь, что мое письмо еще застанет тебя в Петербурге. Синельников только что сказал мне, что по

Москве ходят слухи о том, что министр приказал освободить тебя от преподавания в университете. Я знаю, как важно тебе, в особенности после столкновения с Диановым, хотя бы числиться преподавателем университета. Когда же кончится наконец этот кошмар, который уже отнял у меня почти всех друзей? Вчера узнала, что Кравцов отправлен под надзор полиции в Арзамас. Кажется, никогда я не была трусихой, но я дрожу при одной мысли, что это безумие может коснуться тебя».

11. «...Этого давно ждали, говорят вокруг. И я соглашаюсь, мне все еще нужно делать вид, что между нами никогда не было ничего, кроме простого знакомства. Я не плачу, я ничем не умею выразить горе. Но мне кажется, что я ослепла или сплю летаргическим сном: слышу, чувствую и не в силах крикнуть. Мой бедный, родной, мой навсегда, бесконечно любимый! Ты знаешь, что я решила? Приехать к тебе, чтобы умереть».

* * *

Огорчения, о которых никогда не упоминал Павел Петрович, приходившие «оттуда», из того давно умершего мира, где жила дама с темными глазами, — теперь я поняла их так живо, как будто старые фото, висевшие над фисгармонией в перламутровых рамках, сошли со стен и рассказали мне свою жизнь! Это была грустная жизнь, и, читая некоторые письма, трудно было удержаться от слез. Я не привела их, потому что они увели бы меня слишком далеко...

Кречетова много писала о театре, о ролях, которые она исполняла, почти на каждой странице мелькали имена Горького, Савиной, Комиссаржевской. Это были письма актрисы. Но странно! Не Кречетова, а «неизвестный», которому были адресованы письма, как живой вставал со страниц этой книги.

«На могильной плите следовало бы писать не то, кем был человек, — сказал мне однажды этот «неизвестный», — а то, кем он должен был быть». Вот кем он должен был быть — знаменитым, гордым, уверенным в себе, очастливленным необычайной любовью...

Разумеется, нечего было и сомневаться в том, кто издал эту книгу! На титульном листе было указано название издательства — «Время» и адрес: «Набережная Фонтанки, 24». Но как Раевский добрался до писем, если перед отъездом в Анзерский посад я написала отцу и получила ответ, что чемодан старого доктора цел и невредим и попрежнему стоит на своем месте под его кроватью?

Измученная, но готовая немедленно пустить в ход все силы ума и сердца, чтобы разгадать эту тайну, я влетела в общежитие и лицом к лицу столкнулась с нашим швейцаром.

— А, наконец-то! — сказал мне этот усатый, длинноносый старик, который знал все наши дела и неизменно выручал нас в трудных случаях жизни. — Давно пора!

— Что случилось?

— Папаша приехали.

— Какой папаша?

— Папаша, отец! Ваш папаша!

ДУРНЫЕ ВЕСТИ

Он сидел на моей постели, очень довольный, с красным носиком, в коричневом, измятом, но приличном костюме. Вместо галстука был завязан черный бантик, усы закручены, пушистые волосики, которых осталось уже немного, лихо зачесаны на лоб. Когда я вошла, он с хвастливо-самоуверенным видом рассказывал о чем-то моим соседкам по комнате. Они слушали и улыбались. Увидев меня, отец встал, но, качнувшись, снова сел на кровать.

— А вот и дочь, — сказал он. — Здравствуй, дочь! Как снег на голову, а? Проездом на Амур, станция Михайло Чесноков, по делу редкого экземпляра быка симментальской породы.

Девушки заметили, что я покраснела, и вышли под каким-то предлогом.

Мы с отцом остались одни. Он посмотрел на меня, моргая, и радостно засмеялся.

— Сподобился такую дочь иметь! — сказал он с восторгом. — Господи помилуй! Чудная, великолепная дочка! Подруги рассказывали. Горжусь!

Он отодвинулся, деликатно прикрыв рот ладонью.

— Извиняюсь, — сказал он и икнул. — С горя, Таня, поверь, с тоски-одиночества. Авдотья скончалась.

— Как — скончалась?

— Алле-марше! Семнадцатого дня июля сего года.

И он стал длинно рассказывать, что в последнее время служил в парикмахерской швейцаром, снимал пальто и выдавал номерки и что это прекрасная должность, без которой культура погибла бы, поскольку ни один уважающий себя мастер не станет брить или стричь клиента в пальто. И вот однажды он вернулся домой, стал звать Авдотью, а она сидит за столом и молчит. Он потянул ее за руку, а она — бряк на пол, и все!

— Адская вещь, — сказал он и всхлипнул. — А какая кухарка была! Семнадцать лет у маркиза де Траверзе служила! Очень резко бросила пить — вот беда! Это нельзя — пить такое пространство времени и вдруг моментально бросить. Организм

не выдержал. Так-то вот я и сел на якорь, брат, — сказал отец и самодовольно хлопнул себя по коленям. — Теперь на Амур! Петька Строгов зовет — нужно ехать! У него бык выращен симментальской породы. За девять тысяч верст от матушки России выращен бык ради принципа, а не для какой-то наживы.

Я слушала и молчала. Никогда не забывала я о том, какой у меня отец, но за те годы, что мы не виделись, черты его сгладились в моих воспоминаниях. Теперь мне было больно видеть, что он стал еще более смешным и жалким, чем прежде. Он показал мне заявление о том, что «поскольку осенью сего года в Москве открывается сельскохозяйственная выставка», он от имени какого-то «Товарищества ответственного труда» просит дорпрофсож Амурской железной дороги «доставить экспонат в священный город возрождающейся пролетарской промышленности». Петька Строгов, объяснил он, служит артельщиком и лично доставить быка не может. А он, Петр Власенков, может. Но суть дела не в быке, а в том, что недалеко от станции Михайло Чесноков зарыл клад, который он найдет и разделит пополам со мною.

Он был очень пьян, и прежде всего нужно было увести его из общежития и устроить — но где? У Нины? Я даже не знала еще, в Ленинграде ли Нина. В гостиницу, если достану номер.

— Вот что, папа, — сказала я вдруг: — мне необходимо поговорить с тобой по очень важному делу. Хорошо, что ты явился, иначе на той неделе мне пришлось бы ехать к тебе. Ты помнишь Павла Петровича? Ну, старого доктора? Я часто ходила к нему.

— Как же, — пробормотал отец.

Что-то неуверенное прозвучало в этом коротком ответе. До сих пор он прямо смотрел на меня своими светлыми глазами, которые, как две бусины, торчали на маленьком усатом лице, а теперь глазки забегали и в них показалось неопределенное выражение. Страх?

— Слушай внимательно. Когда доктор умер, мне выдали из Дома инвалидов его чемодан. В чемодане не было вещей, только бумаги. — Я старалась говорить медленно, чтобы он понял. Кажется, он понимал. — Ты был при этом. Уезжая, я отдала тебе этот чемодан и просила беречь. Помнишь?

— Как же, — снова пробормотал отец.

— В чемодане были научные труды Павла Петровича и среди них — письма одной актрисы. Он очень берег их. Он не хотел, чтобы кто бы то ни было прочел их, потому что это были личные письма.

Отец молчал. Глазки, бегавшие по сторонам, беспомощно застыли, пальцы, которые он то и дело подносил к губам, дро-

жали, как всегда, когда он чувствовал себя виноватым. Я продолжала спокойно:

— Теперь эти письма изданы. Вот! — Отец с ужасом взглянул на книгу. — Как это могло случиться — не знаю. Очевидно, кто-то вытащил их из чемодана и списал, а копии продал. А может быть, и не копии, а самые письма, хотя об этом даже страшно подумать. У меня большие неприятности из-за этой истории, папа.

Он пробормотал:

— Почему?

— Потому, что Львовы думают, что это сделала я. Ты ведь знаешь, — сказала я с силой, — кем был для меня Павел Петрович! И вот теперь...

— Что же такого, что же такого? — прошептал отец. — Ведь они не пропали?

— Для меня было бы гораздо лучше, если бы они пропали!

Должно быть, я была очень измучена, потому что голос вдруг зазвенел и я с трудом удержалась от слез.

Отец встал. Не знаю, что творилось в его голове, но почему-то он осторожно вынул из кармана брюк свой старенький бумажник и развернул одну квитанцию, другую. Потом сложил квитанции, выронил бумажник и рухнул передо мной на колени.

— Иуда! — закричал он и ударил себя кулачком в грудь. — Я виноват, я! Отец — подлец! Бейте в колокола! Родную дочь предал...

Я посадила его на кровать, подала воды. У меня руки дрожали.

Все было ясно еще до того, как я выслушала этот перепутанный, длинный рассказ. Раевский — отец с ненавистью называл его «некто» — приехал в Лопухин в марте этого года и прежде всего явился к отцу «с угощением». Трудно ли было ему уговорить отца — не знаю. Отец уверял, что Раевский уламывал его две недели.

— Это ужас что такое было! — повесив голову, объяснил он. — Оттого что в подобных историях я — кто? Кремень.

Но так как ему необходимо было ехать на Амур и билет стоил очень дорого — триста пятьдесят рублей сорок копеек, — и Авдотья была больна, хоронить не на что, и Раевский действовал на него «апатически», — отец в конце концов согласился и, подобрав ключ, вытащил из чемодана бумаги.

— Все бумаги? — спросила я почти хладнокровно.

Отец ответил: «Все», и, не помня себя, я бросилась к нему и с бешеным схватила за плечи. Не помню, что я кричала ему... В дверь постучали, и, как во сне, я увидела Лену Быстрову, стоявшую на пороге.

— Таня! Танечка! Да что с тобой! Таня!

Если бы не Лена, я бы просто пропала в этот несчастный день. За номер — мы отвезли отца в Московскую гостиницу — нужно было заплатить вперед, а я только что отдала стипендию казначею нашей коммуны. Лена достала деньги. Она увела меня к себе, накормила и заставила лечь — я едва держалась на ногах, хотя и порывалась идти в институт и запясться делами, которые та же Лена убедила меня отложить на завтра.

— Ну вот, — сказала она, накинув на плечи шаль и уютно устроившись у меня в ногах, — а теперь рассказывай.

— О чем?

— Обо всем. И не смей выдумывать, если хочешь, чтобы я тебя уважала. Пока я знаю только одно: тебя расстроил отец. Верно?

Я кивнула.

— Но ведь это для тебя не новость?

Я снова кивнула.

— А мне нужны новости. Что случилось?

— Лена, помнишь, я рассказывала тебе о старом докторе? Это было давно, на первом курсе, мы спорили; ты сказала, что профессия иногда — дело случая, и в пример привела меня. А я возразила, что медицина для меня вовсе не случай и что, когда я решила идти на медицинский, на меня повлияли вовсе не твои уговоры. Вот тогда я и рассказала тебе о старом докторе. Неужели не помнишь?

— Помню.

— Так вот... После смерти Павла Петровича остались бумаги. Целый чехомдан с бумагами. В последние дни подле него не было никого, кроме меня, кому он мог бы их передать. Там были личные письма одной женщины, которая любила его, и научный труд, над которым он работал всю жизнь. И вот...

Я рассказала о том, как бумаги старого доктора попали к Раевскому. Лена подумала.

— Этот труд имеет научную ценность?

— Без сомнения! С каждым годом я убеждаюсь в этом все больше и больше.

— Почему же он до сих пор не был издан?

— Потому, что Павел Петрович довел его только до середины и говорил, что самое главное — впереди.

— В таком случае, нужно сделать все возможное, чтобы спасти его из рук этого типа. Совсем не сложно, уверяю тебя! На это есть советская власть, которая не допустит, чтобы ценный научный труд пропадал без толку у какого-то спекулянта. Я поговорю об этом с Дмитриевым, хочешь?

Я отвечала, что хочу, и Лена ушла, объяснив, что торопится

к отцу в Сестрорецк, и на прощанье уверив меня, что все обойдется.

Василий Алексеевич был болен, и Мария Никандровна почти насильно увезла его в Сестрорецк, в какой-то хороший санаторий.

Да, Лена права: нужно заставить Раевского вернуть бумаги Павла Петровича. Но как это сделать? Обратиться в милицию или в прокуратуру? И зачем только я оставила чемодан в Лопяхине? Правда, уезжая, я не знала, что ждет меня впереди, я не могла взять его с собою. Но в прошлом году я написала отцу, и он ответил мне, что чемодан с бумагами цел — вот когда нужно было бросить все и поехать в Лопяхин! Но это было невозможно в разгар занятий, в середине учебного года!

И незаметно среди беспокойно-неопределенных мыслей появилась и робко стукнула в сердце одна определенная, которой тотчас же подчинились все остальные: Раевский издал письма отдельной книгой — это было выгодно для него. А рукопись? Могло ли прийти в голову этому нэпману-дельцу, что перед ним ученый труд, которому была отдана целая жизнь? Что, если он просто бросил в печку эти перепутанные, неразборчивые листы бумаги, написанные дрожащей рукой старика? Уже не робко, а смело, со всего размаху стучала в мое сердце эта страшная мысль.

Нет, напрасно Лена уговорила меня остаться — все равно не спалось! В квартире было жарко, душно, пахло сохнувшим деревом, лаком, чем-то еще, и ходить можно было только из комнаты Лены в столовую и обратно. Всегда у Быстровых было шумно, весело, Мария Никандровна ругала кого-нибудь за несправедливость и вдруг появлялась из кухни с пирогом, испеченным по новому рецепту. Василий Алексеевич по вечерам возился у верстачка, мы занимались, и все дышало уютом, спокойствием, счастьем. А теперь? У меня сжалось сердце, и стало так грустно, что я с трудом удержалась, чтобы не заплакать.

«Позвонить Мите — вот что нужно сделать прежде всего, — думала я, лежа на диване и рассматривая этот верстачок, на котором так и остались лежать какие-то планки. — Но ведь это же значит, что я должна рассказать ему об отце? Да, должна. Как бы это ни было трудно».

— ...Европейская?.. Номер пятый, пожалуйста... Дмитрий Дмитрич?

— Да.

— Говорит Таня Власенкова, — сказала я, чувствуя, что готова убить себя за свой неуверенный голос. — Дмитрий Дмитрич, вы можете думать обо мне что угодно. Но вот что: сегодня приехал из Лопяхина мой отец. И он рассказал мне... В общем, вы хотите знать правду?

— Да, — после недолгого молчания ответил Митин голос.
— Тогда мы должны встретиться.
Он ответил не сразу. Еще мгновение, и я бы бросила трубку.
— Хорошо. Где и когда?
— Где угодно... — Я спохватилась: — Впрочем, я живу в общежитии.
— Может быть, в Летнем саду?
— Очень хорошо. В девять часов, у памятника Крылову.

* * *

Мальчишки-газетчики на разные голоса распевали: «Вечерняя «Красная газета»!», солнце садилось, жаркий летний день остывал над Невой, когда я отправилась на свидание с Митей.

Я купила «Вечерку». Передовая была посвящена пятилетнему плану, и я удивилась, что в этой статье, рассказывавшей о громадной работе, которая должна была перестроить всю нашу жизнь, не было ни слова о молодых специалистах, в частности о медиках, которые тоже имели, кажется, некоторое отношение к пятилетнему плану.

Митя ждал меня. На скамейках вокруг памятника Крылову были заняты все места, и он прохаживался поодаль. «Все-таки красивый», — невольно подумалось мне. Он был прекрасно, даже франтовато одет: в светлом костюме, с нарядной кепкой в одной руке, с палкой — в другой. Забыла сказать, что я тоже в этот день взяла у портнихи свой новый костюм, и он получился очень удачно — длинный жакет в талию и короткая юбка.

— Вчера мне следовало подумать, что вам будет трудно встать на объективную точку зрения в нашем споре с Глафирой Сергеевной. — Эту фразу, но только одну, я приготовила с ночи. — Но я не сразу нашла объяснение тому, что письма оказались изданными. Это поразило меня.

— Да, я видел, что вы растерялись.

Искоса я посмотрела на Митю. Это было сказано в совершенно другом тоне, чем вчера: сердечно и просто.

— И не думала! Просто решила уйти — вот и все. Жаль только, что не успела доказать, что вы виноваты не меньше, чем Глафира Сергеевна. Впрочем, я пришла сюда не упрекать вас, — сказала я торопливо, но не потому торопливо, что Митя нахмурился, а чтобы поскорее подойти к цели нашего разговора. — Вот что: вчера ваша жена обвинила меня... Вам известно, в чем она меня обвинила...

Я запуталась, и пришлось, переведя дыхание, начать сначала.

В конце концов я рассказала все: и как некий делец (я нарочно не назвала Раевского) несколько лет назад приехал в

Лопахин и предложил Павлу Петровичу продать ему письма. И как на другой день он явился ко мне, но я прогнала его, и он уехал из Лопахина с пустыми руками.

— Павел Петрович просил меня сжечь эти письма. Я не решилась и глубоко сожалею об этом. Потому что, если бы я решилась, не произошло бы другого несчастья, о котором мне даже страшно сказать, — не пропали бы научные рукописи Павла Петровича. Ведь вы знаете, что в этом чемодане был весь труд его жизни.

Теперь нужно было переходить к отцу — ох, как не хотелось! Мне мешало еще, что мы были в Летнем саду, где в этот вечер гуляющих было особенно много. Толстые люди в новых шляпах — наверно, нэпманы — молча ходили по главной аллее, их разодетые жены переговаривались крикливыми голосами. На пыльной площадке перед чайным домиком стояли мраморные столики, и официанты, мелькая белыми передниками, разносили мороженое и воду. Вечер был душный, и все время хотелось уйти от движущейся, шумной толпы.

— Вот это я могла рассказать вам вчера. Вчера же, уйдя от вас, я узнала, что приехал отец. Теперь вот что... Несколько слов об отце.

Чем быстрее мне хотелось рассказать об отце, тем почему-то медленнее получалось.

— Он... легкомысленный человек, переменявший в жизни очень много профессий. Сейчас он едет на Амур, очевидно будет служить там на железной дороге. Я не вмешиваюсь в его дела, оттого что это давно уже ничего не меняет. Так вот: отец рассказал мне, что этот издатель вернулся в Лопахин в марте этого года и уговорил его продать письма Кречетовой. И отец сделал это, — сказала я твердым голосом. — И не только это. Пропали все бумаги Павла Петровича, и его труд, и письмо Ленину — все, все! Впрочем, может быть, и не пропали. Но я не знаю, где они находятся, и боюсь, что они не сохранились, потому что этот делец... Он мог просто бросить их в огонь. Ведь он, разумеется, ничего не понимает в науке.

Я замолчала. Опустив голову, Митя шел рядом со мной.

— А как фамилия этого человека? — спросил он. — На переплете указано, кажется, издательство «Время»?

Я сказала:

— Раевский.

Митя остановился:

— Какой Раевский?

— Тот самый.

Я знала, что Митя очень вспыльчив, еще вчера он на моих глазах налетел на жену с побелевшим от гнева лицом. Но сейчас... Можно было подумать, что, назвав Раевского, я попала

в «locus minoris resistentia», как говорят врачи, то-есть в место наименьшего сопротивления.

— Очень хорошо, — сквозь зубы сказал он. — Так Раевский издал эти письма?

— Да.

— И вы думаете, что другие бумаги Павла Петровича тоже находятся у него?

— Да, думаю.

— Он в Ленинграде?

— Не знаю. В книге указан адрес издательства: набережная Фонтанки, двадцать четыре.

Митя посмотрел на часы.

— Жаль, поздно, — злобно проворчал он.

— Вы хотите идти к нему?

— Да. Вместе с вами.

— Вот прекрасно! Нужно все же спросить, согласна ли я?

— Вы согласны?

— Да. Но прежде пойдемте к отцу, Дмитрий Дмитрич. Я хочу, чтобы вы лично услышали от него, как это случилось.

РАЗГОВОР С РАЕВСКИМ

Не слушая уговоров Мити, повторявшего, что он «верит мне, верит!», я настояла на своем и привела его к отцу, который сидел в своем номере у окна и курил, наслаждаясь видом на площадь Восстания. Очевидно, два рубля, которые я оставила ему на обед, были истрачены на что-то другое, потому что, когда мы вошли, он, не вставая, величественно кивнул и заговорил с Митей в каком-то непринужденно-аристократическом духе. Рассказывая о том, что Раевский уговаривал его вытащить письма, он сказал: «Тут дворянин на дворянина наскочил», хотя, насколько мне было известно, фамилия Власенковых никогда не числилась в списках дворян Российской империи. «Увидев на нем крахмалá, — сказал он, — я приказал жене подать и мне крахмалá». Кое-что он напутал и передал совсем не так, как я рассказала Мите. Словом, он не только не называл себя Иудой, не просил «бить в колокола» и т. д., но держал себя так, как будто был героем какой-то рискованной истории, из которой вышел с честью, как и полагается благородному человеку.

Ну, что я могла с ним поделать?

Но Митя... С первого взгляда он понял все и слушал отца вежливо, внимательно, не позволяя себе ни малейшей иронии. Я то краснела, то бледнела, особенно когда отец начинал сочинять. Митя взглядами старался успокоить меня. Отец вдруг заявил, что до революции он работал главным режиссером Алек-

сандринского театра — я нетерпеливо оборвала его. Митя острожно, умело перевел разговор.

Но вот кончился бесконечный рассказ. Митя поблагодарил, сказал, что непременно займется этой историей, спросил что-то об Амурской железной дороге и простился с отцом. Я вышла проводить его. Он был очень спокоен. Мы спустились в вестибюль. Он купил какой-то журнал. Я уже собралась пожелать ему доброй ночи, когда он вдруг скомкал журнал, побледнел и резко повернулся ко мне. Это было так неожиданно, что я невольно подумала, что он прочел в журнале какую-то неприятную новость.

— Мы пойдем к Раевскому сегодня, — сказал он. — Сейчас!

— Поздно же! Издательство закрыто.

— Нет, сейчас! Можно узнать домашний адрес по телефону.

* * *

Это было ошибкой, простительной для меня, но не для Мити, который был старше, опытнее и умнее, чем я. Тогда я не знала, что его жизнь на три четверти состоит из подобных ошибок.

Так или иначе, не выходя из Московской гостиницы, мы узнали домашний адрес Раевского и самое большее через десять минут звонили и стучали в двери его квартиры. Звонила я, а стучал — нетерпеливо — Митя.

— Кто там?

Митя еще стучал, не слышал.

— Дмитрий Дмитрич, открывают.

— Кто там? — повторил доносившийся откуда-то издалика женский испуганный голос.

— Это квартира Раевского?

Долгое молчание.

— А вам кого?

— Да Раевского же! Откройте, пожалуйста.

Снова молчание.

— А кто вы такие?

— Доктор Львов, — ответил Митя вежливо, но мрачно. — С ассистентом.

Раздался грохот крюков, скрежет цепей и мелодичный, как в старинных сундуках, звон замка; мне невольно вспомнились ходившие по Ленинграду слухи, что очень богатые эппманы, в особенности ювелиры, из боязни налетов устроили в своих квартирах сигнализацию, навесили стальные двери. Не знаю, стальная ли, но, во всяком случае, очень тяжелая дверь медленно распахнулась перед нами. Мы вошли. Полная старуха в очках, моргая, как Раевский, встретила нас в передней.

— Доктор Львов... — повторила она недоверчиво. — К Сергею Владимировичу?

— Да, да.

Старуха ушла. Со стуком поставив между ног свою палку, Митя сел и принялся сердито рассматривать переднюю. Передняя была обыкновенная.

Старуха вернулась:

— Сергей Владимирович просил передать, что он не вызывал врача.

— Что?

Митя шагнул к ней. Старуха попятилась. Он снова шагнул, она завизжала, и в глубине коридора, отодвинув портьеру, за которой мелькнула большая, ярко освещенная комната, появился Раевский. Я поразилась — он так постарел, что его стало трудно узнать. Щеки повисли, под глазами появились мешки.

Расставив ноги, согнувшись, закинув голову, похожий в своем зеленом халате на жабу, он стоял в дверях и рассматривал нас тревожно моргающими глазами. Меня он, кажется, совсем не узнал, а Митю узнал, разумеется, с первого взгляда.

— Так вот что это за доктор Львов, — с гримасой искреннего отвращения сказал он. — Ну-с, прошу.

Не знаю, что это было — кабинет, или гостиная, или то и другое вместе. Но ни в одном комиссионном магазине я не видела так много дорогих вещей — деревянных резных картин в тяжелых рамах, ковров, мраморных статуй. Огромная хрустальная люстра висела над круглым столом. Другой стол, поменьше, был покрыт великолепной вышитой скатертью с изображением морского сражения. Повсюду в старинных, красного дерева горках, на окнах, даже на полу под роялью стояла посуда: сервизы. Трюмо было украшено перламутровыми цветами.

— Ну-с, чем могу служить? — спросил Раевский.

Митя придвинул кресло и сел.

— Сегодня, — грозно сказал он, — мне попала в руки книга «Письма О. П. Кречетовой к неизвестному». Вот она. Ты издавал?

Это «ты» было сказано с таким ударением, что люстра нежно зазвенела в ответ.

— Если можешь, не кричи, пожалуйста.

— Я спрашиваю: ты издавал? — оглушительно повторил Митя.

— Ну да, да. В чем дело?

— В том, что эти письма принадлежали моему дяде Павлу Петровичу Лебедеву и после его смерти перешли в собственность нашей семьи. Издавать их ты не имел никакого права.

Раевский пожал плечами:

— По этому вопросу обратиться, пожалуйста, к юрисконсульту издательства, Фонтанка, двадцать четыре.

Митя помолчал.

— Послушай, Раевский, — начал он довольно спокойным голосом, только на щеке играла какая-то опасная жилка. — Поговорим начистоту. Мне отлично известно, что ты украл эти письма... Не сам, не сам! — прикрикнул он, видя, что Раевский энергично затряс головой. — С помощью отца этой девушки, который сейчас находится в Ленинграде.

— Бумаги приобретены за определенную сумму. В издательстве имеется расписка, составленная по соответствующей форме.

Митя шумно задышал.

— Ну хорошо, — сдержавшись, продолжал он. — В конце концов, дело не в этих письмах. Но одновременно к тебе попали научные записки доктора Лебедева. Для тебя они не представляют ни малейшего интереса. Это труд, имеющий значение для нашей науки и сохранившийся в черновиках, понятных только специалисту. Это микробиология, а ты издаешь, насколько мне известно, бульварные переводные романы.

Я смотрела на Раевского не дыша. Самое главное решалось в эту минуту: сохранился ли труд Павла Петровича? Не уничтожил ли его Раевский? Тень расчета прошла по его холодному, полному лицу.

— А специалист, который будет разбираться в этих записках, — ты?

Я перевела дыхание. Сохранился!

— Да, я. Послушай, чорт с тобой! — почти весело сказал Митя. — Я готов простить тебе эту книгу, — он положил руку на «Письма Кречетовой», — при условии, что ты вернешь оригиналы писем и в печати принесешь извинения. Но записки доктора Лебедева ты должен отдать мне сейчас же, слышишь? Сию же минуту!

Закинув голову, презрительно моргая, Раевский слушал его. Когда мы пришли, у него был испуганный вид, он отступил и даже схватился рукой за портьеру. Теперь что-то незаметно было, что он собирается отступить!

Это была минута, когда два лопахинских гимназиста вспомнились мне. Теперь они встретились снова — такими разными, что трудно было вообразить, что они родились в одно время, жили в одном городе и носили одинаковую форму с буквами «Л. Г.» на мельхиоровой бляхе.

Раевский, который глубоко, смертельно оскорбил его первую любовь, — вот кого видел перед собой Митя! И Раевский — я почувствовала — прекрасно понял это. Он улыбнулся с таким

подлым торжеством, так злорадно, так откровенно, что мне стало неловко, точно я подслушала чужой разговор.

Митя замолчал. Жилка все билась, и губы раза два подозрительно вздрогнули. Но он еще сдерживался. Он сказал что-то насчет того, что мой отец в любую минуту готов «дать показание».

— Предполагается суд? — спросил Раевский. — Ну что ж! На этой книге издательство потерпело убыток.

— Послушай... — сквозь зубы почти простонал Митя.

Раевский встал и запахнул халат. Лицо его как-то двинулось, лоб разгладился.

— Ну-с, прошу поторопиться, — грубо сказал он. — Не следует думать, что у меня нет других дел, кроме того дела государственной важности, с которым вы изволили явиться ко мне. В следующий раз прошу звонить. Я по телефону постараюсь разъяснить, как в подобных случаях действуют опытные шантажисты. Эх вы, шантажисты-активисты! — сказал он злобно и засмеялся. — Комсомолья, культсмычка! Красные спецы!

Митя встал, заложив руки за спину, и прошелся по комнате размеренными шагами. У него было задумчивое лицо с полупущенными веками. Осторожно огибая мебель, он подошел и ударил Раевского палкой.

Потом он рассказывал, что боялся этого с первой минуты. Он старался не думать о палке, не смотреть в ее сторону. Даже взмахнув ею, он еще надеялся, что, может быть, удастся все-таки не ударить. Напрасная надежда! К счастью, палка скользнула, и удар пришелся по шее.

Я крикнула: «Митя!», бросилась к нему, схватила за руки.

Потом я увидела, что Раевский почему-то ползет на четвереньках, вздрагивая и хватаясь за ножки кресел, а Митя, закусив губу, крутит палкой над головой, прицеливаясь в трюмо, украшенное перламутровыми цветами. Это трюмо он сперва проткнул, а потом серией мелких ударов, как пишат о фехтовальщиках, выбил из рамы. Давешняя старуха с криком ворвалась в комнату, за ней худенькая черная женщина в кимоно, которая молча прыгнула на Митю, как кошка, так что он должен был осторожно скрутить ей руки и посадить на диван.

— Таня, пошли, — коротко сказал он.

И мы пошли, не очень торопясь, хотя женщина в кимоно, пронзительно визжа, бросала в нас тарелками, старуха вызывала по телефону милицию, и вообще следовало поторопиться.

— Что же вы сделали, Дмитрий Дмитрич! Теперь он ни за что не отдаст, нечего и думать!.. Вы забыли кепку.

— Чорт с ней.

— Теперь все пропало.

На другой день мы долго разговаривали по телефону, и Митя спросил, когда уезжает отец. Спросил между прочим, так, что меньше всего я могла ожидать, что увижу его на вокзале.

Мы условились, что он напишет заявление районному прокурору, и он принес это заявление, в котором рассказывалось, при каких обстоятельствах пропали бумаги старого доктора, причем отец был выставлен пострадавшей, обманутой стороной. Впрочем, отец не успел оценить Митиноgo благородства, потому что, надев очки и самодовольно оглянувшись вокруг, подмахнул заявление не читая. Он был очень милый в этот день — чистенький, причесанный, немного грустный и почти трезвый; когда он был трезв, на него всегда находило «легкое облачко грусти», как писали когда-то. Прощаясь, он намекнул, что, возможно, ему не удастся ограничиться деятельностью «сопроводителя быка» на сельскохозяйственную выставку, потому что его ждут на Амуре дела, от которых «многие ахнут». Кто были эти многие, осталось неясным.

— Я ведь лично жандармов разоружал, — значительно сказал он. — Амур меня знает.

Он поцеловался со мной трижды, крест-накрест, шепнул, что половину клада я могу считать как бы лежащей в моем кармане, помахал платком и уехал. Митя проводил взглядом плавно изогнувшийся на повороте поезд и сказал задумчиво:

— А ведь любопытнейший человек, Танечка, ваш папа...

Он попросил меня показать ему Ленинград, и мы прямо с вокзала отправились в Летний сад.

— Я было одного приятеля попросил, ленинградца. Он согласился, а потом оказалось, что основательно знаком только с двумя достопримечательностями: с игорным клубом на Владимирском и с кафе «Тринадцать» на Садовой.

Я решила, что его просьба — только предлог, а на деле Митя хочет сообщить мне какую-то важную новость. Но вот мы дошли до Летнего сада, и обошли его по боковым аллеям, и сделали открытие, что Летний дворец Петра Великого и есть тот самый скромный двухэтажный домик, недалеко от которого мы встретились третьего дня, но никакой новости я еще не услышала от Мити.

Мы говорили об институте профилактики, который должен был в этом году под руководством Николая Васильевича открыться в Ленинграде; о самом Николае Васильевиче (причем Митя метко определил его, сказав, что это ученый, у которого ясность мысли прямо пропорциональна беспорядочности в работе); о смелом проекте профессора Александрова, предложившего шлюзование днепровских порогов; о студенческой практи-

ке, которая, согласно новому приказу Наркомздрава, теперь должна была проводиться не только летом, но круглый год. Что это значило — для Мити было неясно. Безработицу — в те годы было много безработных врачей — он объяснил двумя причинами: во-первых, администрация принимает на работу не членов Всемедикосантруда, а во-вторых, многие кончившие врачи отказываются ехать в деревню.

— Три года молодой врач работает экстерном или бесплатным стажером, — с возмущением сказал он, — а в деревне безграмотные старухи лечат заговорами и весенней водой! (Я рассказала ему о знахарке.) Нет, к чорту! Я не верю, что из этих белоручек выйдут врачи. Вот и вы! С третьего курса засесть в лабораторию — это ли не ошибка? Да вы теперь всю жизнь будете доказывать, что пептон нужно добывать не из свиных, а из телячьих желудков.

Это было немного обидно, потому что пептоном занимался Петя Рубакин и я действительно помогала ему. Но я сказала только:

— И не подумаю.

— Посмотрим.

Мы зашли в Летний дворец.

Длиннющий, ветхий, изъеденный молью мундир висел в одной из комнат под стеклом витрины, и я сказала, что странно подумать, что на свете жил человек, носивший этот мундир и даже насадивший табачные пятна на полы. Но Митя возразил, что несколько не странно, потому что Петр был только на голову выше его.

— Бедняга! — сказал он серьезно. — Вы — маленькая, Таня, и не подозреваете, как это утомительно...

— Что?

— Да вот! Быть такого высокого роста. Мальчишки дразнят: «Дядя, поймай воробушка!» И вообще... С утра еще ничего, а к вечеру надоедает.

Я засмеялась. Он ласково взглянул на меня и, как ребенку, сделал большие глаза.

Разговор, которого я так нетерпеливо ждала, начался с этого мундира, — не совсем тот разговор, но тоже очень интересный и важный, потому что Митя впервые заговорил о себе. Правда, он немного хвастался и одновременно жалел себя, невольно придавая всем своим поступкам оттенок самопожертвования и благородства. Но все-таки этот разговор заставил меня взглянуть на него другими глазами.

Очень просто он рассказал, как началась его юность — с той минуты, когда он узнал о смерти отца. Это было в гимназии, на уроке латыни. На всю жизнь запомнилось ему молчание класса, когда, собрав книги, он шел между партами к

двери и товарищи с жалостью и любопытством смотрели на него — на него, у которого умер отец. Он еще не знал, что отец был убит. В непривычно пустой раздевалке швейцар торопливо подал ему шинель — торопливо, потому что умер отец. Шел грибной дождь, крупный и редкий, и среди стремительных капель точно стояла, сверкая на солнце, бриллиантовая пыль. И эта пыль, и свежесть дождя, и то, что скоро лето, экзамены, а у него в последней четверти по геометрии двойка, — значит, все это осталось на свете, несмотря на то что умер отец? И, страшно вскрикнув, схватившись за голову, Митя бросился домой. А там уже толпились, взволнованно переговариваясь, какие-то люди; все двери были раскрыты, и толстый подтянутый пристав, стоя в дрожках, кричал: «Господа студенты, прошу разойтись!»

И Митя остался один — в те годы, когда особенно нуждался в направляющей дружеской воле. Мать не только не имела на него никакого влияния, но ничего не делала без его помощи и совета. Старый доктор после ссылки, разбитый болезнью, поселился в Лопяхине, в городе, где он родился и вырос, и после гибели мужа Агния Петровна отвезла детей к нему, а сама поехала в Петербург и вернулась служащей музыкальной фирмы Циммермана.

Так началась лопяхинская жизнь, которая была, в сущности, как сказал Митя, «историей медленного падения интеллигентной семьи». И Агния Петровна долго старалась скрыть это падение и обнищание от Мити.

Падение и обнищание! «А девочке из Посада, — подумала я, — казалось, что нет в мире более богатого, чудесного дома».

Мы прошли спальные комнаты, детскую, кабинет Петра и остановились перед огромными деревянными часами, занимавшими целую стену. Митя сказал, что по этим часам можно было бы узнать не только век, месяц, день, но даже завтрашнюю погоду, если бы они не стояли.

Мне вдруг захотелось спросить, правда ли, что он пошел добровольцем на фронт. Об этом еще в Лопяхине мне как-то сказал Андрей. Но я постеснялась и спросила — тоже не очень-то кстати, — как и когда Митя стал заниматься наукой. Ведь в Лопяхине он был просто лечащим врачом. Он осматривал и лечил маму, и всем в доме прописывал лекарства, и, когда привезли голодающих, тоже работал как врач.

— Это потому, что я люблю лечить, — возразил Митя. — А на самом деле... В каком году я приезжал в Лопяхин?.. В двадцать втором? У меня уже была одна печатная работа. Правда, маленькая. Я описал один любопытный случай.

И он рассказал, как в двадцатом году, во время польской кампании, он встретился с задачей, которую не могли решить

самые опытные врачи: бои шли на правой стороне реки, и раненные, переправившись на левую, неизменно заболевали сыпным тифом. Едва высадившись на берег, они подвергались самой тщательной санитарной обработке — и все-таки заболевали. Почему? Митя составил сводную таблицу инкубационного (скрытого) периода болезни и точно установил, что по времени заражение неизменно связывалось с самой переправой. Оставалось осмотреть баржу, на которой переправлялись раненные. Она-то и оказалась рассадником заразы.

Сперва у него была маленькая лаборатория — микроскоп, сушильный шкаф и два десятка пробирок, потом ему удалось организовать что-то вроде бактериологической станции при штабе армии...

Мы прошли по всем комнатам Петровского домика и были теперь в первом этаже, в кухне, выложенной прелестными голландскими изразцами, сохранившейся со всеми своими таганчиками, подставками для лучины, щипцами для углей и медной, непривычно большой, позеленевшей посудой. Митя рассматривал изразцы и восхищался. Сходство с Андреем мелькнуло, когда с озабоченным, серьезным лицом он стал считать, часто ли и в какой последовательности на изразцах повторяется море. «Надо сейчас же сказать ему, что я выхожу за Андрея», — с остановившимся сердцем подумала я. Но Митя вдруг взглянул на часы, заторопился, и я ничего не сказала.

Прощаясь, я спросила, был ли он у районного прокурора, и Митя ответил, что нет, потому что решил сперва посоветоваться с юристом.

— О чем же посоветоваться? Нужно отобрать у Раевского рукописи Павла Петровича — вот и все.

— Без сомнения. Но для того чтобы это сделать, нужно сначала доказать, что они не принадлежат Раевскому и попали к нему незаконным путем.

— Когда же вы пойдете к юристу?

— Завтра.

— Нет, сегодня!

Митя улыбнулся:

— Вот вы, оказывается, какая! Ну ладно. Сегодня.

СЛОЖНОЕ ДЕЛО

Я вернулась домой после этой прогулки, и наш усатый швейцар подал мне письмо от Андрея. Он писал, что поправился и начал работать. «Милый мой, дорогой друг, как мне хочется поскорее увидеть тебя!» — прочитала я, и сердце стало биться просительно-робко.

У меня было много дела в эти дни. Василий Алексеевич совсем расхворался, мы с Леной возили к нему врачей, которые ставили противоположные диагнозы. А один хирург, прощаясь, сказал совсем страшную вещь, которую мы от Марии Никандровны скрыли. На кафедре тоже было много работы — Николай Васильевич велел повторить опыт с моим стрептококком, — так что на личные, тем более сердечные, дела не оставалось ни одной свободной минуты. Но смутное недовольство собой все же время от времени начинало постукивать в сердце. Днем, когда я была занята, оно постукивало осторожно, а по ночам — все сильнее, смелее.

Усталая, сидела я на предметной комиссии теоретических кафедр, обсуждавшей интересную новость в нашей общественной жизни: студенческое научное общество — СНО. Без конца переправляя каждую фразу, написала я статью о СНО в редакцию нашей газеты, и статья получилась скучной. Опыт со стрептококком не вышел — может быть, из-за моего нетерпения, а может быть, потому, что Николай Васильевич разрешил мне поставить опыт с единственной целью: доказать, что я ошибаюсь. Он не догадывался, что куда больше его веры в священную точность науки мне была нужна в эти дни его вера в мою способность заниматься наукой.

Я сказала Мите — это было в Петровском домике, — что у меня сохранились записи лекций Павла Петровича, и Митя попросил меня взглянуть, нет ли в этих записях чего-нибудь об Ивановском, основателе вирусологии.

— Андрей говорил, что дядя был даже как будто знаком с ним. Между тем в научной литературе об Ивановском нет почти ничего.

Я часто перелистывала записи лекций Павла Петровича с тех пор, как они помогли мне в моем первом опыте иммунизации против дифтерии. Но мне не приходило в голову перелистать их с «вирусологической точки зрения». Теперь я сделала это. Об Ивановском не было почти ничего. Но зато насчет вирусов нашлись интересные мысли.

Биологическое значение вирусов (невидимых микробов) Павел Петрович видел в том, что они представляют собою некую пограничную область между живым и мертвым. «Вирусы являются особой формой существования белка, которая подводит нас к границе мертвого и живого». Это была первая мысль. Вторая касалась «принципа антагонизма», которому старый доктор придавал, повидимому, особенное значение. Самую болезнь он считал борьбой между здоровой клеткой и вирусом или микробом.

«Если представить себе, в течение какого бесконечно долгого времени происходила эта борьба, — утверждал он, — то

ясно, что умирали лишь те организмы, которые были наименее устойчивы к вирусам и микробам. Следовательно, способность организма бороться с врагом наследственно закреплялась».

Очень интересно — даже если судить по моим бестолковым запискам — Павел Петрович говорил о народном опыте борьбы с болезнями, в частности о прививках против оспы. «Не Дженнер, а народ создал эти совершеннейшие прививки, равных которым при всем могуществе современной медицины никому еще не удалось повторить».

* * *

После моего доклада о поездке в Анзерский посад бюро ячейки поручило мне организовать кружок по изучению марксизма-ленинизма. Нужно было много прочесть, и я насилу убедила Лешу Дмитриева дать мне хоть две-три недели для подготовки. Но было еще одно дело, очень срочное, которое заинтересовало меня. Комсомольцы завода имени Молотова готовились к военному походу, и теперь, когда подготовка была почти закончена, оказалось, что у них плохо поставлена санитарная служба. Они обратились в ячейку нашего института, и бюро поручило мне руководство всем медицинским обслуживанием похода.

Это было трудно — не только потому, что я впервые столкнулась с большой организационной задачей, но еще и потому, что руководители похода были очень довольны, что во главе санотряда стоит медичка пятого курса, и свято верили в мой медицинский гений. Нужно было командовать, и оказалось, к моему изумлению, что я умею командовать, поскольку мне почти не приходилось повторять приказаний.

Двадцать семь комсомолок в белых косынках, с красными повязками на рукавах поступили в мое распоряжение. За несколько дней, оставшихся до похода, я должна была не только проверить, знают ли они, например, что такое «первичная обработка раны», но разъяснить основные принципы военно-санитарного дела, о котором я сама еще так недавно почти ничего не знала. Но я справилась, может быть, потому, что с самого начала удалось сбить легкомысленное настроение некоторых моих учениц, смотревших на поход, как на какую-то необязательную игру, — если надоест, можно и бросить.

Противник был серьезный — подшефный пулеметный батальон, стоявший в Петергофе, и перед отправкой директор завода имени Молотова сказал речь, из которой я узнала, что в Ленинграде еще не было подобного комсомольского похода. В самом деле, участники были вооружены учебными винтов-

ками, в отряде было несколько пулеметов, отряду придали кавалерийский эскадрон.

Поход продолжался недолго, но это были запомнившиеся мне дни, полные азарта (охватившего, разумеется, и санитарную часть), загадок, которые нужно было решать, не теряя ни одной минуты, страшной грязи, потому что дождь не переставал, и настоящей работы.

Была в этом походе одна особенная минута — особенная потому, что впервые в душе мелькнуло ощущение войны, поразившее меня своей новизной. Ночью, возвращаясь из штаба, я шла позади наших «позиций», по аллее, соединявшей Старый и Новый Петергоф. Уже открылась знакомая, окруженная печальными, темными кустами беседка, когда где-то очень близко почудился шорох, послышалось движение. Я остановилась не дыша. Это бойцы «противника» ползли по канаве вдоль старинных труб, по которым в знаменитые петергофские фонтаны подается вода. Я бросилась в сторону. «Война!» — невольно подумалось мне. С изумившим меня чувством тревоги — изумившим потому, что я знала, что «противники» тоже свои, — я стояла и слушала, как, подтягиваясь на руках, они ползли и ползли в темноте, в тишине.

Я вернулась бодрая, поздоровевшая, забыв и думать о дурном настроении, а через несколько дней получила от комсомольцев завода имени Молотова благодарность «за хорошую организацию санитарной службы».

* * *

Митя не заходил и не звонил эти дни. Но накануне съезда он вдруг явился на кафедру — и, к моей досаде, как раз в то время, когда я помогала Пете Рубакину, возившемуся со своим пептоном из телячьих желудков. Впрочем, Митя ни о чем не спросил.

— Николай Васильевич пригласил меня посмотреть кафедру, — сказал он, — а сам не пришел. Он не звонил?

— Нет.

Митя вздохнул. У него был расстроенный вид.

— Может быть, у вас найдется немного свободного времени?

У меня оказалось сколько угодно свободного времени, и я охотно прошла с Митей по всем лабораториям, не особенно, впрочем, понимая, что именно Николай Васильевич собрался ему показать. Потом мы спустились на улицу, и я не заметила, как дошли до Лопухинки и стали ходить по садику, что между улицей Красных Зорь и берегом Невки.

Почему мне почудилось, что именно сегодня, в этот про-

хладный, ясный вечер, так не похожий на тот, когда мы встретились в Летнем саду, между нами возникнут какие-то новые, дружеские отношения? Не знаю. Митя все засматривался: то на рыбаков, которые в мокрых до пояса брезентовых штанах тащили сеть вдоль берега Невки, то на лодочку-восьмерку, быстро скользившую по воде под дружными ударами весел.

Сперва мы говорили о съезде: правда ли, что его доклад был назначен на первое заседание, а потом перенесен на последнее, по решению организационной комиссии?

— Да.

— Почему?

— А чорт их знает! — грустно ответил Митя. — Должно быть, старики докопались, что я собираюсь выступать против них.

Было как-то невежливо спрашивать, что это за старики, и, помолчав, я заговорила о лекциях Павла Петровича. Митя оживился:

— Нашли что-нибудь?

— Да.

И я рассказала мысли Павла Петровича — кажется, не очень отчетливо. Но Митя понял и, повидимому, больше, чем я.

— Чорт возьми, какая голова! — сказал он с восторгом. — Об антагонизме не ново, но замечательно, что этот принцип он понимал диалектически, во всяком случае в свете эволюционной теории. Как вы сказали? «Вирусы — особая форма белка, подводящая нас к границе между живым и мертвым»? И эта мысль принадлежит простому врачу, работавшему без лаборатории, в Лопакхине, в те годы! Кстати, я был у юриста, — сказал Митя, помрачнев и принимаясь с ожесточением ковырять палкой гнилой пенёк, набитый прошлогодней листвою.

— Да, да. И что же?

— Говорит, что сложное дело.

— Сложное?

— Он спросил меня, кто из родственников был на иждивении дяди. Я говорю: «Никто. Напротив, он был на иждивении сестры». — «Ну тогда, говорит, имущество выморочное и по закону должно принадлежать государству». Я возразил, что это не имущество, а научный труд, который подвергается опасности в руках спекулянта. Говорит: «Тем более!»

— Что же делать?

— Он сказал, что я должен написать в прокуратуру.

— Дмитрий Дмитрич, не написать, а вы должны сами пойти к прокурору. И не к районному, а к самому главному... не знаю, как он называется — городской или областной. Я говорила с Николаем Васильевичем...

— И что же?

— Он сказал, что не понимает, как вы, человек науки, до сих пор не сделали ничего, чтобы спасти научную работу из рук какого-то проходимца. Это его подлинные слова.

Митя вздохнул:

— Правильно! Надо ехать не к районному, а к городскому прокурору. И надо, чтобы Николай Васильевич предварительно позвонил ему. Вот тогда дело будет вернее.

Мы давно уже ушли из садика, но повернули почему-то не к Островам, а в город, хотя Митя сказал, что ему хочется посмотреть Острова. Было уже поздно, темнело. Извозчик окликнул нас у площади Льва Толстого. Митя ответил: «Не надо», но извозчик, уговаривая, еще довольно долго тащился за нами. У Конверкского началась мокрая мостовая — должно быть, здесь недавно прошел дождь, — из парка запахло свежестью, и свет только что зажегшихся фонарей заблестел на мокром памятнике «Стережущему», на листве. Мы вышли к Неве, и Митя сказал с восхищением:

— Что за город!.. Иногда мне начинает казаться, что я лучше, чем думаю о себе, — продолжал он. — А иногда убеждаюсь, что нет — даже хуже. И вы знаете, что самое трудное, чорт побери, — не находить все, что делаешь, превосходным! Это первое. А второе... Впрочем, вы маленькая и второго еще не поймете.

— Нет, скажите.

— Не прятаться от своих ошибок.

— В науке?

Митя долго шел не отвечая. Потом сказал с трудом:

— И не только в науке. Между прочим, я давно хотел узнать у вас, Таня... Ведь Андрею известна эта история. Вы понимаете, о чем я говорю?

Он спрашивал — известно ли Андрею, что Глафира Сергеевна оклеветала меня?

Я ответила:

— Да.

Митя опустил голову.

— А он не говорил вам... Дело в том, что мне бы не хотелось... У него всегда была какая-то нетерпимость в этих вопросах. Не хотелось бы, чтобы он поссорился с Глафирой Сергеевной.

Я посмотрела на него: это было поразительно, но на моих глазах прежний Митя — самоуверенный, оживленный, блестящий — куда-то пропал, а его место занял усталый, нерешительный человек, который заботился, повидимому, лишь об одном: чтобы его жене, низкой и ничтожной женщине, простили низкий и ничтожный поступок.

— Не знаю, Дмитрий Дмитрич, — сказала я мягко (как

обещала Андрею). — Думаю, что об этом вам нужно лично поговорить с вашим братом.

Он неловко засмеялся:

— Совершенно верно. А теперь у меня есть предложение, Таня. Пойдемте обедать!

Мне давно хотелось есть, и так сильно, что даже кружилась голова и минутами трудно было внимательно слушать Митю. Но после лаборатории я не заходила домой и была в простом, сатиновом темносинем платье и с изорванным, старым портфелем. Поэтому я спросила нерешительно:

— Куда?

— Не все ли равно? — ответил Митя, и мы на трамвае доехали до Казанского собора и зашли в «Донон».

Я не люблю ресторанов, и есть основание полагать, что это чувство, вызывающее удивление моих друзей и знакомых, впервые возникло в тот вечер, когда Митя повел меня обедать в «Донон».

Великолепный мужчина в длинном мундире распахнул перед нами сверкающую стеклянную дверь. Другой, тоже великолепный, с осторожным презрением взял из моих рук портфель и, спрятав его куда-то, сказал: «Номера не нужно». Третий, в черном фраке, встретил нас на лестнице, покрытой ковром, и проводил до других дверей, которые, едва мы приблизились, распахнулись сами собой. Оказалось, что это сделали мальчишки, на которых тоже были мундирчики с двумя рядами серебряных пуговиц, посаженных удивительно часто.

Должно быть, Митя заметил, что я оробела — почему бы иначе он предложил мне руку? Я приняла, и мы превосходно прошли между столиками, за которыми сидели разряженные мужчины и женщины, встретившие нас, как мне показалось, пренебрежительно-равнодушно. Но мне было уже безразлично, как они встретили нас, тем более что меня вел под руку Митя. Я села, оправила платье и тоже посмотрела вокруг себя пренебрежительно-равнодушно. В ресторане было несколько залов, и я немного пожалела, что мы не заняли столик в соседнем — там были зеркальные стены. Лысый официант с застывшим морщинистым лицом подал нам карту. Я заказала — и это тоже сошло превосходно, между прочим, отчасти потому, что Митя, кажется, и сам не знал, кто из нас должен был заказать обед, или не придавал этому никакого значения.

Но дальше начались неудачи. Прежде всего мне совершенно расхотелось есть, так что, когда официант подал закуску, я с трудом заставила себя проглотить немного салата. Суп пошел легче, но, протянув руку за солью, я опрокинула одну из многих рюмок, стоявших подле моего прибора, и проклятая рюмка на тонкой, высокой ножке разбилась. Митя засмеялся и сказал:

«К счастью!» Я тоже засмеялась, но покраснела, и свободная, уверенная манера, с которой я только что разговаривала, равнодушно поглядывая вокруг, мгновенно исчезла.

Словом, я была так потрясена собственным поведением, что не сразу заметила странную перемену, происшедшую за нашим столом. Только что Митя оживленно рассказывал о съезде, на который, оказывается, приехали тысяча пятьсот человек. И вдруг он замолчал. Брови нервно поднялись, губы сжались. Он побледнел. Мне показалось, что сейчас ему станет дурно. Я обернулась. Глафира Сергеевна под руку с Раевским выходила из соседнего зала.

Как я ни презирала ее, но должна была сознаться, что в этот вечер она была необычайно красива! Гладко причесанные на прямой пробор волосы открывали прекрасный лоб, прямой и чистый. Широко расставленные темные глаза блестели на полном, слегка порозовевшем лице. Она была в черном бархатном платье, по-модному длинном, почти до земли, и на открытой шее виднелось агатовое ожерелье — нарочно, чтобы подчеркнуть белизну этой прямой, красивой шеи. Раевский, у которого было сытое, довольное лицо, вел ее с хвастливо-самоуверенным видом.

Митя мрачно проводил их глазами. Они прошли довольно близко, но, кажется, не заметили нас, — и наступило молчание. Я что-то спросила, он промолчал. Наконец он поднял голову, и я увидела то почти физическое усилие, с которым он вернулся ко мне и к нашему разговору.

— О чем, бишь, мы говорили? — немного искусственным голосом спросил он. — Ах да! О съезде. Так вот как это начнется: нарком опоздает, и Николай Васильевич, приняв государственный вид — иногда это у него выходит, — объявит, что ему особенно приятно видеть этот съезд в Ленинграде. О том, что еще приятнее для него было бы увидеть его в Чеботарке, он, разумеется, не скажет ни слова. — И, взявшись с комически-гордым видом за воображаемую бородку, Митя сказал голосом Николая Васильевича: — Итак, мы можем сказать, что в нашей микробиологической хате зажегся научный огонек и этот огонек будет тем светочем, на который со всего Советского Союза сбегутся товарищи по науке.

Он заказал вино и налил мне и себе.

— За наш Лопахин!.. А странно все-таки, что когда-то, Танечка, я вас чуть не убил! — весело сказал он. — Бог мой, как мне запомнилась каждая мелочь! Вы были в потертой плюшевой жакетке, «бывшей» зеленой, платок крест-накрест завязан на груди, и один валенок упал в снег, когда я взял вас на руки. Вы знаете, что я решил стать врачом у вашей постели?

— Да ну?

— Я хотел быть судьей, а когда убили отца — адвокатом. Но когда я увидел, как вы умирали, решил, что стану врачом. Больше того, милый друг! Дал слово, что, если вы умрете, я покончу с собой! Но вы, как сказал Генрих Гейне, «прошли мимо и оставили меня в живых»! Что же еще оставалось мне делать, доктор, — серьезным голосом спросил Митя, — если не посвятить себя медицине? Я был потрясен загадкой вашего выздоровления и вот...

Он допил вино и встал.

— Ну что ж, пойдемте, Таня, — сказал он.

НА СЪЕЗДЕ

У подъезда Филармонии была толкотня, и, насилу пробравшись в вестибюль, я сразу поняла, что нечего и думать попасть на съезд без билета. Машка Коломейцева помогла мне. Мы встретились в вестибюле. Она спросила, почему у меня такой постный вид, подхватила под руку и сказала усатой злой контролерше:

— Нам не нужно билетов. Мы подаем.

Контролерша сердито кивнула, мы прошли, а когда, давась от смеха, я спросила: «Что подаем?» — Маша беззаботно махнула рукой и сказала:

— Ах, не все ли равно!

Съезд открылся ровно через десять минут после того, как мы заняли чьи-то чужие кресла, на которых лежали бумажки с загадочными буквами «ЧОБ» — член организационного бюро, как догадалась Машка. В президиуме сидели главным образом старики, и среди них была особенно заметна фигура Коровина, о котором Петя Рубакин в перерыве сказал, что в прошлом он был главным санитарным инспектором белой армии — ни больше, ни меньше! Он же показал мне Николая Львовича Никольского — знаменитого ученого, одного из основателей русской микробиологии.

«Это дед», — сказал о нем Рубакин. Дед сидел, сморщив большой мясистый нос, скрестив длинные ноги.

Совершенно такой же, как всегда, Николай Васильевич появился за столом президиума — немного сгорбленный, седой, лысый, милый, в потертом пиджаке и модном галстуке, который, тоже как всегда, был завязан криво. Он объявил, что нарком «задержался» — таким образом, Митино предсказание подтвердилось — и что поэтому «в ожидании его приезда» следовало бы начать работу. Машка прошептала:

— В ожидании или не дожидаясь?

Я толкнула ее и стала слушать.

Николай Васильевич произнес совершенно другую речь, чем та, которую я накануне услышала от Мити в ресторане «Донон». Он перечислил обширные задачи, стоящие перед советским здравоохранением в связи с пятилетним планом, и широко обрисовал современное положение дел в нашей практической и научной медицине.

Потом Николай Васильевич предложил почтить вставанием память «выдающихся деятелей, которые были душой предшествующих съездов», и начались доклады. Машка не давала мне слушать. То она, как глухонемая, при помощи пальцев разговаривала с кем-то на хорах, то смеялась над знакомым студентом, энергично записывавшим выступление Заозерского, которое назавтра должно было появиться в газете. То кокетничала одновременно с тремя молодыми людьми, сидевшими за нами.

— Техника, да? — смеясь, спросила она и стала учить этой технике меня, но через пять минут соскучилась, заявила, что у меня не хватает «серьезного, ответственного отношения к делу», и выдумала новую игру: стала писать знакомым студентам анонимные записки — глупые, но довольно смешные.

— Кто это? — спросила она, когда Митя, которого я до сих пор не видела, появился на эстраде — не за столом президиума, а в глубине, на ступеньках справа.

Я ответила:

— Доктор Львов.

— Ты его знаешь?

— Немного.

— Какой интересный!

— Ты находишь?

— Безумно интересный! — сказала Машка. — Давай напишем ему.

— Ты сошла с ума!

— Ну, ты напиши, миленькая, дорогая! Хоть два слова! Я хочу, чтобы он знал, что ты здесь. А потом ты нас познакомишь.

— И не подумаю.

— Не познакомишь?

— Да нет, могу познакомить, но зачем же писать?

— А вдруг он уйдет! Ну пожалуйста! Что тебе стоит?

И Машка почти насильно всунула мне в руки карандаш и бумагу.

— Что же писать?

— Все равно. Два слова!

И прежде, особенно в Лопакине, случалось, что на меня находило чувство беспричинного веселья. Это были минуты,

когда я была твердо, безусловно уверена, что меня ждет самое лучшее, самое прекрасное в жизни. Именно это чувство вдруг овладело мной, когда я взялась за карандаш, чтобы написать Мите. Что-то радостное зазвенело в душе, откликаясь на сиянье хрустальных люстр, на строгость белых колонн, на всю праздничную нарядность великолепного зала, — и вместо двух слов я написала Мите чорт знает что! Какой-то длинный, запутанный, восторженный вздор; были даже стихи — не мои, разумеется, а Тихонова, которыми я тогда увлеклась.

С любопытством зажемутив один глаз, Машка покосилась на записку, сказала «Ого!» и, сложив записку, написала на обороте: «Доктору Львову».

— Кстати, он уже приват-доцент.

— Нет, лучше «доктору», — подумав, ответила Машка, и прежде чем я успела опомниться, моя записка пошла гулять по рядам, приближаясь к Мите.

Некоторые оборачивались с недоумением, и тогда Машка так энергично начинала показывать, кому предназначается записка, что сидевший рядом с нами маленький старичок в пенсне наконец потерял терпение и прошипел:

— Пожалуйста, тише!

Между тем Николай Васильевич, немного привстав, сказал:

— Слово для доклада имеет профессор Крамов.

Движение интереса пробежало в переполненном зале, и Крамов, бледный, с пухлыми щечками, прекрасно одетый, держа в руках один узкий листок бумаги, поднялся на кафедру и выжидательно склонил голову набок.

* * *

Разумеется, теперь я довольно ясно представляю себе, какое место занял этот съезд в развитии советской науки. То были годы «кризисов» — недаром знаменитый хирург Ф. выступил с «Хирургией на распутье», а другой, не менее знаменитый О., ответил ему книгой «Хирургия в пути». Смелая «Теория медицины» С., о которой через два-три года заговорили как о выдающемся явлении, лишь недавно появилась в виде небольшой статьи, напечатанной среди других статей, заслуженно и давно забытых. Уже намечался в те годы тот сложный, плодотворный путь, по которому методы точных дисциплин, проникая в биологию, создавали основы для новых, еще неизвестных наук. В практической медицине шли горячие споры о том, что определяет успех лечения: наука или инстинкт врача. На многочисленных диспутах «клиническое мышление» противопоставлялось «лабораторному», и этим вопросом занимались решительно все — начиная с известного профессора О., заявив-

шего, что диагноз нужно ставить «не только головным, но и спинным мозгом», и кончая студентом, пишущим первую историю болезни.

«Что такое медицина — искусство или ремесло по ремонту человеческих машин?» — под таким названием незадолго до съезда в Доме ученых состоялся диспут, на котором выступали самые видные профессора нашего института. Профилактическое направление советской медицины (кстати, этой теме было посвящено на съезде выступление наркома) искало и находило новые организационные формы, и страницы медицинских журналов были полны горячих споров о диспансеризации, амбулаториях, борьбе с частной практикой и т. д. Но главной мыслью, вокруг которой старое и новое сталкивалось с особенной силой, была мысль о науке как коллективном процессе. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что именно эта мысль противопоставила два пути развития науки: путь рассчитанной, подвижной организации, работающей над серией перекрестных опытов с целью скорейшего открытия истины, и путь исследователя-одиночки, оглядывающегося по сторонам в надежде подобрать какой-нибудь, хотя бы незначительный, но еще неизвестный факт. Именно эта мысль провела отчетливую границу между теми, кому казалось, что наука зашла в тупик, и теми, кто утверждал, что в тупик зашла не наука, а авторы «кризисов», отражающие на страницах книг лишь собственную душевную драму. Среди этих последних были видные ученые — с тем большим упорством настаивали они на бесплодной идее «науки ради науки».

«Нашему делу не хватало борьбы», — писал в те годы ученый, страстно поддерживавший мысль «о коллективном научном процессе». И борьба началась.

Он был прав. Именно тогда началась упорная борьба за советскую науку, за ясность ее материалистических позиций, за целеустремленное, практическое направление — борьба, продолжавшаяся долгие годы.

ДОКЛАД

Согласно повестке дня, за Крамовым должен был выступить какой-то профессор Горский, занимавшийся «территориальным распределением кишечных инфекций», и Машка, соскучившись, стала уговаривать меня пойти на новый фильм «Сумка дипкурьера», который был, по ее мнению, вершиной киноискусства, когда Николай Васильевич, хитро моргнув, объявил, что слово имеет приват-доцент Дмитрий Дмитриевич Львов. Это было неожиданно — ведь Митя сам сказал, что

«старики» перенесли его доклад на последнее заседание. Потом я узнала, что это устроил Николай Васильевич, — среди главных фигур съезда он один принадлежал к «молодым», несмотря на свои шестьдесят три года.

Митя был немного бледен — волновался. Широко раскинув руки, он взялся за кафедру и долго не отпускал ее, точно боялся, что отпустит... и за тридевять земель улетит от «симбиоза при вирусных инфекциях» — так сложно назывался его доклад. Он начал медленно, неуверенно, стараясь привыкнуть к огромному залу, в котором еще слышался сдержанный шум голосов. Резкий свет лампочки, вставленной куда-то в самую кафедру, снизу падавший на лицо, раздражал его. Но с каждой минутой голос становился спокойнее, фразы — короче.

В сущности говоря, главная Митина мысль была очень проста: нет никаких сомнений в том, что вирусы, попадая в организм человека, неизбежно встречаются с микробами. Каков же результат встречи, повторяющейся в течение тысячелетий? И на основании опытов, сведенных в таблицы, которые он последовательно развешивал одну за другой на доске, он доказал, что вирус, который по своей природе в сотни раз меньше бактерии, выработал способность размножаться в бактериальной клетке.

— Смелый человек, — сказал за моей спиной чей-то голос.

— Или не знает Крамова, — с иронией отозвался второй.

Я обернулась. Это были военные врачи, пожилые, в очках, с умными лицами.

— А вам не кажется, что он совершенно прав?

— Да, может быть... Но выступить против Крамова? Вы знаете Крамова?

— Нет.

— Дьявольский характер! Смесь Талейрана с Иудушкой Головлевым!

Дьявольский характер... И, найдя в президиуме Крамова, я долго смотрела на его бледное, почти скучающее личико. Он вежливо слушал Митю.

Митя говорил, и что-то глубоко поэтическое было в этом стройном течении мыслей. Но другое изумило меня: лишь вчера я сказала ему, что старый доктор думал, что вирусы являются особой формой существования белка. А сегодня... Какими смелыми доказательствами он пытался подтвердить правоту этой мысли! Я слушала и не верила ушам. Неужели это было вчера? Он привел последние слова Мечникова: «Я рад, что умираю в такое время, когда с обыкновенной бактериологией осталось мало что сделать, так как будущее принадлежит бактериологии невидимых микробов». Он заявил,

что здравоохранение неизбежно зайдет в тупик, если изучение вирусов не станет делом государственного значения.

— Вспомните эпидемию гриппа, охватившую в девятнадцатом-двадцатом годах весь мир и погубившую более двадцати миллионов человеческих жизней! — сказал он. — И остановитесь хоть на мгновение перед этой чудовищной цифрой! Сравните с этим бедствием мировую войну, унесшую девять миллионов! И подумайте, какое значение в жизни человечества приобретает та скромная профессия, которой мы отдаем наши силы!

Я слушала с увлечением и не заметила, когда и почему в зале стало заметно меняться настроение — кажется, в ту минуту, когда Митя поставил точку на стоявшей позади кафедры школьной доске и объявил, что эта точка — то, что мы знаем о вирусах, а вся доска — это то, чего мы не знаем. Чуть слышный смехок раздался здесь и там, когда он сказал, что отсутствие метода борьбы с вирусными болезнями может привести к неисчислимым потерям. Он заявил, что загадку многих неизлечимых болезней следует искать в направлении, указанном вирусной теорией, и чей-то голос на хорах иронически пропел:

— Не-у-же-ли?

Митя побледнел. Он стоял, подняв голову, и мне было страшно, что сейчас он обернется и увидит пухлое, бледное личико Крамова, на котором появилось злорадное выражение. Но Митя не обернулся.

— Болезнь, которую трудно распознать и легко спутать с другими, — сказал он, — которая подкрадывается незаметно, от которой умирает каждый десятый, против которой нет причинного лечения, потому что она возникает при условиях, которые пока еще невозможно предусмотреть, болезнь загадочная и беспощадная — вы узнали, я полагаю, о какой болезни я говорю? Так вот, для меня и моих сотрудников вирусная природа рака не вызывает ни малейших сомнений...

Вот когда в зале раздался уже не прежний сдержанный, а оглушительный шум! Напрасно мы с Машкой шипели и шикали, напрасно Николай Васильевич громко ударял по звонку.

Шум вперемешку с возмущенными возгласами становился все громче.

— Соблюдайте регламент!

— Время!

Старичок, сердившийся на меня и Машку, долго оглядывался с изумлением, как бы не веря ушам, и вдруг сам закричал оглушительно:

— Вздор!

Николай Васильевич объявил, что прения переносятся на следующее заседание; все стали уходить, и по оживленным лицам я видела, что говорят о докладе. Митя еще был на эстраде — снимал таблицы, собирал бумаги.

Мне хотелось сказать ему, что он прочитал превосходный доклад, но это было невозможно, потому что Машка все не уходила — должно быть, ждала, что сейчас мы пойдем кокетничать с Митей.

— Маша, милая, не сердись на меня. Мне нужно поговорить с ним. Я тебя в другой раз познакомлю.

Я боялась, что она очень обидится. Но она только значительно посмотрела на меня и сказала:

— А-а... понимаю.

Потом сухо простилась и ушла. Без сомнения, ей казалось, что никогда в жизни она не приносила бóльшую жертву.

— Дмитрий Дмитрич...

Я остановила его, когда он спускался с эстрады.

— А, Танечка! Добрый вечер.

— Добрый вечер. Я хотела сказать вам... Это было замечательно — то, что вы говорили. Для вас, разумеется, не имеет значения, что я... Но я с вами согласна.

— Спасибо. Я увлекся и сказал больше, чем хотел. Это едва начатая работа.

И Митя крепко пожал мою руку.

— И спасибо за вашу записку, — прибавил он улыбаясь. — Я прочел и позавидовал.

— Чему же?

— Не знаю. Тому, что вы такая милая. И любите стихи. И молодая... А где Андрей?

Митя сказал это с таким выражением, как будто не прошло и десяти минут, как он расстался с Андреем.

— Андрей? Он в Ленинграде?

— Как, вы не знаете?

— Почему же он не сообщил, что приедет?

— Понятия не имею! Да он здесь где-нибудь! Мы условились встретиться после доклада.

Сейчас я увижу Андрея! Это было так, словно я своей рукой мгновенно приоткрыла сердце, заглянула и поскорее отвернулась, чтобы не видеть всей той путаницы противоречивых чувств, которыми было полно мое сердце.

— Куда же он девался, не пойму, — оглядываясь, говорил между тем Митя. — Мы только что поздоровались, и Николай Васильевич объявил мой доклад. Я ничего толком и спросить не успел! Даже не знаю, где он остановился... Он спрашивал о вас, — вдруг вспомнил Митя. — Я же ему сказал, что вы на

съезде, даже показал вашу записку. Неужели он не подошел к вам?

— Нет.

Я прошла вперед.

Митя догнал меня — это было на лестнице — и заглянул в лицо:

— Вы что-то скрываете от меня?

— Да нет же!

— Ну, так он ждет нас в вестибюле!

Но в вестибюле было пусто. Только Машка, стоявшая перед зеркалом, небрежно накинула макинтош на плечо и вышла, послав мне равнодушно-пренебрежительный взгляд.

— Ну, значит, он пошел прямо ко мне, — сказал Митя. — Он знает, что я живу в «Европейской».

Было еще совсем светло, когда мы вышли из Филармонии. Давно пора было кончиться белым ночам, и коренные ленинградцы считали, что они уже кончились. Но на улицах был еще неопределенный, рассеянный свет белых ночей, всегда казавшийся мне каким-то тревожным.

— Он очень похудел, вот что меня огорчило! Глаза огромные, шея тонкая, ежик торчит! Мне показалось, что он чем-то расстроен. Я спросил, и он ответил, что нет.

У подъезда «Европейской» стояли, громко разговаривая, врачи; один из них окликнул Митю, он отозвался, но не остановился, показав очень вежливо, что он не один.

— Простите, Танечка, я подойду к портье.

Портье сказал, что Митю спрашивали, но давно, днем, часа в четыре.

— Что за вздор! Куда же пропал Андрей?

— Может быть, он ждет вас в номере?

— Да нет же. Ключ у портье.

— Так, может быть, он зашел...

Митя сумрачно посмотрел на меня:

— Тоже нет. Она уехала в Москву, — не называя Глафиру Сергеевну, резко сказал он. — Ну что ж, подождем. Выпьем кофе.

Мы зашли в ресторан. Ничего особенного не было в том, что Андрей по какой-то причине, которая окажется, вероятно, совершенно ничтожной, ушел из Филармонии, не дождавшись брата. Но он не подошел ко мне — вот это было действительно странно.

— Знаете, какой у вас вид? — Митя сложил кулаки, как трубу. — Как будто вас приговорили к расстрелу. Какая вы милая! Вы так волнуетесь за Андрея? Вот я ему расскажу! А я выпил кофе и успокоился... Еще два стакана! — сказал он официантке.

- Спасибо, не хочу.
- Выпейте!
- Не могу, Дмитрий Дмитрич.

— Ну что ж, тогда один. (Официантка ушла.) У меня всегда появляется волчий аппетит от волнения... Нет, вот у вас такой вид, — сказал неожиданно Митя, — как будто вы прекрасно знаете, где он!

Это было сказано как раз в ту минуту, когда я подумала, что, может быть, мы с Андреем случайно разошлись в Филармонии и он поехал ко мне. Неудивительно, что я покраснела.

— Нет, не знаю. Но мне пора. Может быть, вы проводите меня, Дмитрий Дмитрич? Кстати, мы спросим, не заходил ли Андрей ко мне в общежитие.

* * *

Это нужно было сделать давным-давно — рассказать Мите о том, что произошло в Анзерском посаде. Это нужно было сделать в первый день, в первую минуту, когда я увидела Митю. Мне не пришлось бы теперь объяснять, почему Андрей не мог не заехать ко мне. «Так сделай это сейчас», — я мысленно убеждала себя. «Сейчас? Ни за что!» — «Почему же?» — «Потому, что Митя спросит, как же случилось, что я до сих пор ничего не сказала ему». И все время, пока мы ехали на вечернем, быстром трамвае и говорили о Митином докладе и смотрели на Неву, по которой не плыл, а как бы влачился туман, на баржи, которые, едва вырисовываясь, тоже как бы влачились в тумане, — все время мне думалось: «Сказать или нет?»

Было уже без четверти девять, когда мы пришли в общежитие. Я разбудила швейцара, который крепко спал в кресле у дверей своей комнаты, и он сказал, что ко мне в пятом часу заходил «приличный молодой человек».

— А сейчас не заходил? Вечером?

— Нет.

Расстроенные, не зная, что делать, мы стояли в подъезде, и Митя собрался ехать к себе, когда швейцар вдруг вспомнил, что «приличный молодой человек» оставил записку. Кряхтя, он отправился в свою комнату и долго шарил там, роняя стулья и на кого-то сердясь. Потом вернулся с маленькой запиской в руке.

«Таня, родная моя, как видишь, я — в Ленинграде. Твои соседи сказали, что ты на кафедре, а если не на кафедре — у Нины, а если не у Нины — у Лены Быстровой. В общем, если я тебя не найду, увидимся на съезде. Но до съезда еще четыре часа — чертовски много! Я привез тебе сто один подарок. Милая, дорогая, как я тосковал без тебя!

Твой Андрей».



Я прочла эту записку вслух (без последней фразы), и Митя мрачно спросил, кто такие Нина и Лена.

— Мои подруги.

— Он знает их?

— Нину — да. Еще по Лопахину. И вы ее знаете.

— Не помню. Так, может быть, он у Нины?

— Она еще не вернулась с каникул.

Митя закурил.

— Нет, с ним что-то случилось, — помолчав, подавленно сказал он. — Что же делать?

— Можно было бы позвонить Лене по телефону. Но последнее время у них снимают трубку — очень болен отец. Дмитрий Дмитрич, может быть, мне съездить к Лене? У нас условный знак: я постучу в стенку, и она мне откроет. А вы поезжайте к себе.

— Ну что вы! Поедьте вместе!

— Это очень далеко, на Международном.

— Все равно.

У него на щеке билась жилка, как у Агнии Петровны, когда она волновалась. Мы сели в трамвай, и он сказал:

— Нет его у Лены.

— Дмитрий Дмитрич, уверяю вас, что с ним ничего не случилось.

— Вы не знаете Андрея. Он не мог не подождать меня после доклада.

— Я знаю его лучше, чем вы думаете.

— Тем более. Вообще он был какой-то странный.

— Ну вот... придумайте еще что-нибудь!

— Я не придумываю. Это проскользнуло у меня в сознании, но как-то смутно, потому что я должен был через несколько минут выступать. А теперь я вспоминаю: он был очень расстроен.

— Чем же?

— Не знаю. Он побледнел, когда мы заговорили о вас, — вдруг вспомнил Митя. — Да, да! Он побледнел и спросил: «Так она тебе ничего не сказала?» И как раз в эту минуту Николай Васильевич объявил мой доклад. Что вы должны были сказать мне, Таня?

Я ничего не ответила. Мы сошли с трамвая. Парадная дверь в доме, где жили Быстровы, была почему-то закрыта. Митя позвонил. Дворничиха, шлепая туфлями, показалась в темном подъезде.

— Танечка, я вас очень прошу: объясните, в чем дело?

Мы прошли темный пролет лестницы между первым и вторым этажом. Я спросила:

— Андрей переписывался с вами последнее время?
— Нет. Я получил от него одно письмо — перед самым отъездом из Москвы.

— Ну, вот...

Лампочка горела на третьем этаже.

— Танечка, я вас умоляю! Я не пойду дальше. Что изменится от того, что мы узнаем, что днем Андрей был здесь и справлялся о вас?

— А что изменится от того, что я...

Теперь мы снова были в темном пролете, а там, через несколько ступенек, опять начинался светлый, и на черной, обитой клеенкой двери был виден голубой почтовый ящик Быстровых.

— ...от того, что я скажу вам, что мы с Андреем хотим пожениться!

Это было глупо, что я заплакала, но ничуть не смешно, и по Митиному лицу я видела, что он и не думал смеяться. Он взял меня за руки, усадил на подоконник — на лестнице были низкие подоконники — и молча сел рядом.

— Ну вот, а теперь рассказывайте, — ласково сказал он, когда я перестала плакать, и, как маленькую, погладил по голове. — Почему вы так долго молчали? Почему вы плачете? И главное — где Андрей?

— Да не знаю я, где Андрей!

— Ш-ш! Ну ладно, все равно! Не провалился же он, в самом деле, сквозь землю! А теперь...

Он взял мои руки, крепко пожал и хотел поцеловать, но я отняла.

— Поздравляю вас от всей души, милая, хорошая Танечка! Это великолепно, что вы выходите за Андрея, потому что вы оба какие-то светлые, чистые и будете превосходной парой. Но почему этот болван молчал — просто загадка! Если бы у меня была такая невеста, я звонил бы о ней на каждом углу.

Я подняла глаза: у него было доброе лицо и голос звучал сердечно и просто.

— Спасибо, Дмитрий Дмитрич! Но все это... далеко не так просто. Вы даже не можете себе представить, как я хорошо отношусь к Андрею! Но в тот день, когда я получила от него письмо — это было в Анзерском посаде — письмо, в котором он спрашивал меня, разделяю ли я его чувства... я все-таки не решилась ответить «да», хотя никогда еще не встречала человека лучше, чем он, и часто думала, что, может быть, никогда и не встречу...

Кто-то не спеша поднимался по лестнице, и я говорила все тише, наконец шопотом, так что Митя должен был встать и подойти поближе, чтобы услышать меня.

— Но когда я наконец решила, что скажу ему «нет», за

мной прибежали, потому что ему стало плохо. И я... Он был при смерти, и я не могла. Это вышло случайно. Но вы не скажете ему, что это вышло случайно? Вы знаете, Дмитрий Дмитрич, когда я зашла к нему перед отъездом, он сказал, что просит меня подумать об этой минуте, когда я пожалела его. Но что я могла придумать, не огорчая и не оскорбляя его? И вот теперь, когда он приехал...

Я замолчала — не потому, что было сказано все, а потому, что мои слова были так ничтожны, так жалки в сравнении с тем, что я чувствовала в эту минуту! И так не похожи на правду!

Митя грустно смотрел на меня:

— И вы думаете, что вам это удастся?

— Что удастся?

— Да вот... не выйти за Андрея.

— Дмитрий Дмитрич...

— Пожалуйста, не думайте, что я шучу, — поспешно сказал Митя, — или не понимаю, что произошло между вами. Но ведь вы любите его, это же совершенно ясно.

Я сказала растерянно:

— Что?

— Да, да! — с глубоким убеждением повторил Митя. — Вы будете долго сомневаться и мучить его и себя, и кончится только тем, что у вас пропадут самые лучшие годы. Нет, Танечка, вы... — Он взял меня за руки, но в это мгновение где-то очень близко от нас, за стеной, послышался крик.

Дверь распахнулась, и Лена Быстрова, которую я не сразу узнала, растрепанная, в халате, выбежала на площадку.

— Лена!

Она обернулась и бросилась ко мне:

— Это ты, Таня? Как хорошо, что ты пришла! Я хотела вызвать неотложную помощь, а отец... Ему очень плохо. Идем, идем скорее! Он не отпускает меня!

ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Мы стояли в передней. Лена рассказывала, и ничего нельзя было понять — ни того, что случилось утром, когда Василий Алексеевич порезал палец и три часа нельзя было унять кровь, ни того, что случилось сейчас, когда почему-то понадобилась неотложная помощь. Мария Никандровна ушла в аптеку и не возвращалась что-то очень долго. Василий Алексеевич уснул и вдруг стал вставать и сердиться на Лену, которая заставляла его лечь. С болезненным возбуждением, в котором было что-то беспомощно-торопливое, Лена рассказывала, путалась, искала

анализы. Я смотрела на нее во все глаза и не узнавала ее. И ничего не могла понять до тех пор, пока не вошла вслед за Леной в столовую — вошла и остановилась в изумлении, глядя на смутно белевшую постель, на стриженую костлявую голову, неподвижно лежавшую на высоких подушках.

Мне не раз случалось видеть, как страшно болезнь изменяет людей. Например, на одной курации мне попался больной, лицо которого менялось почти ежечасно. Но это была не перемена — то, что я увидела, подойдя к Василию Алексеевичу. Это было полное, окончательное исчезновение прежнего, спокойного, медлительного, задумчивого, удивительно определенного в каждом движении, в каждом слове человека и появление нового человека — высохшего старика с квадратным черепом, кости которого отчетливо проступали под натянувшейся кожей, причем эта перемена произошла за несколько дней. При электрическом свете желтый цвет лица — у Василия Алексеевича была желтуха — обычно почти незаметен. Но уже не желтый, а странный зеленый оттенок лежал на истомленном лице, на узких, беспомощно вытянутых вдоль тела руках. И этот умирающий человек открыл глаза, когда мы вошли, и спустил на ковер тонкие зеленые ноги, и Лена стала упрашивать отца, и было видно, что она старается скрыть от него то страшное, безнадежное, что против воли сквозило в каждом ее движении, в каждом слове.

— Папочка, не нужно, дорогой! Вот доктор пришел, сейчас он тебя посмотрит. Хочешь пить?

Василий Алексеевич покачал головой. Рука, которой он опирался на постель, дрожала.

— Слабость... проклятая, — с трудом пробормотал он.

Еще прежде, в передней, я объяснила Лене, что Митя — врач, и она как-то бледно, бессознательно улыбнулась, когда Митя пошутил, что он всегда является кстати. Теперь она умоляюще смотрела на него (Митя ласково уложил больного и сел подле его постели), и мне стало страшно, когда в этом измученном взгляде мелькнула надежда. Шопотом она попросила у Мити разрешения остаться. Он покачал головой.

— Ради бога!

— Нет, нет.

Я увела Лену.

Было половина одиннадцатого, когда мы ушли от Быстрых. Больной уснул, сказав Лене, что если бы его прежде лечили такие врачи, он давно избавился бы от этой несносной желтухи. Выходная дверь была заперта, и дворничиха, которую Митя насилу поднял с постели, узнав, из какой квартиры, спросила сочувственно:

— Ай скончался?

Молча мы вышли на Международный, пустой и темный. Ночной ветерок мягко нес по мостовой первые желтые листья.

Пролетка стояла у аптеки, в окнах которой сонно просвечивали цветные шары.

— Я подвезу вас.

— Спасибо.

— Извозчик!

Мы сели. Я спросила Митю о положении больного, и он ответил сумрачно:

— Проживет несколько дней.

— Так это не желтуха?

— Нет. Вы помните симптом Курвуазье? У него рак поджелудочной железы — и, очевидно, глубокий, с метастазами, потому что поражена и печень.

— Вы сказали Лене?

— Зачем? Она все понимает. Хорошая девушка, — прибавил он задумчиво.

— Очень.

Мы помолчали.

— Какая беспомощность, — вдруг сказал с горечью Митя, — какая жалкая беспомощность! Чувствовать этот ужас ожидания, который гонит от себя умирающий человек! Знать, что смерть приближается — неизбежно, неотвратимо, — и не уметь не только остановить ее, но хотя бы облегчить мучения! Чорт побери! И подумать только, что едва я заговорил о вирусной природе рака... Ну ладно! Все еще впереди.

Извозчик повернул на улицу Льва Толстого.

— Ну-с, милый друг, а что мы станем делать с Андреем?

— Дмитрий Дмитрич, мне кажется, что я должна... Мы встретимся, и я все расскажу ему. Как вы думаете?

Я сказала это с отчаянием, голос зазвенел, и Митя внимательно посмотрел на меня.

— Разумеется, да... — У него вдруг стало холодное, недовольное лицо, как всегда, когда он уставал. — Сейчас поеду к себе, в «Европейскую», а оттуда, если Андрей не пришел, — прямо в Главное управление милиции.

— Дмитрий Дмитрич, я буду звонить вам. Ваш номер двести двадцать четыре?

— Да.

— Часов в двенадцать.

— Пожалуйста.

— А если Андрей у вас, скажите ему, что я жду его. И буду ждать весь день. Никуда не уйду.

— Хорошо. Доброй ночи.

Я спала тревожно — все была виновата перед кем-то во сне, — когда соседки по комнате разбудили меня и, перебивая друг друга, стали рассказывать, что ко мне приходил посыльный в красной шапке.

— Зачем?

— Да письмо же принес!

— Какое письмо?

— У тебя в руках! Очнись, соня.

Я накинула пальто и спустилась в столовую — в столовой никого не было по вечерам. Письмо было от Андрея:

«Дорогая Таня, ты, без сомнения, очень удивилась, не найдя меня в Филармонии. Я был и видел тебя. Когда ты прочтешь это письмо, я буду уже в поезде: мне случайно удалось на один день вырваться в Ленинград — только потому, что Ефимов (это была фамилия замнаркома), который неожиданно вызвал меня, перенес наш разговор на завтра.

Что же случилось? Я вижу твоё лицо, грустное, с озабоченными глазами, и слышу твой голос, произносящий эти слова: «Что же случилось?» Ничего особенного, дорогой друг. После твоего отъезда я каждый день уходил на Анзерку, а оттуда по каменистой — помнишь? — дорожке к оврагам, к варницам и думал, думал о тебе. Да какое там думал! Я говорил с тобой, я перебирал каждое твоё слово. И странно — мне стало казаться, что не одна, а две Тани были со мной в те прекрасные, незабываемые дни. Одна — ответившая мне «да» и убеждавшая себя в том, что она не могла ответить иначе. И другая — ответившая «нет» и страдавшая, оттого что не решалась отнять у меня своё слово. Помнишь, когда мы расставались, я просил тебя подумать о той минуте, когда я был при смерти и ты пожалела меня? Уже тогда я чувствовал твоё раздвоение, а потом, после твоего отъезда, увидел его так же ясно, как сейчас из окна гостиницы вижу высокий, узкий темный двор, — не правда ли, какие неприветливые дворы в Ленинграде?

Я написал тебе в Ленинград — ты не ответила, и мне впервые подумалось: она не любит меня».

Дальше полстраницы было зачеркнуто, и я разобрала только: «Не подумай, что я упрекаю». Потом снова шли отчетливые, твердые, написанные без колебаний строки:

«Вот, милая Таня! На съезде я увидел твоё оживленное, смеющееся лицо, такое далекое от всего, чем было полно моё сердце, и точно чья-то рука направила свет фонаря на догадки, мерещившиеся мне в полутьме. Я понял, что обманывал себя — и обманывал лишь потому, что мне не хотелось верить печальной мысли: она не любит меня.

Потом я подошел к Мите. Это было трудно — спросить о тебе. Но я спросил — и понял, что ты не сказала ему о том, что произошло между нами в Анзерском посаде. Почему? И я ответил: потому, что она не любит меня.

Вот и все! Я буду писать тебе. Иногда, если позволишь, я стану приезжать к тебе и спрашивать: «Все то же?» Я буду много работать — помнишь, мы говорили о том, что великие открытия приходят и из глухих деревень? Ты не должна думать, что я стал меньше любить тебя.

Всегда твой Андрей».

Размахивая этим письмом, в пальто, накинутом на ночную рубашку, я вбежала в вестибюль и закричала швейцару:

— Петр Францевич, дайте гривенник, скорее, скорее!

Сто лет он копался в старом, потрепанном портмоне, сто лет не отвечала станция, — и, кажется, не ответила бы еще сто, если бы я с отчаянием не ударила кулаком по автомату.

— Дайте справочную Октябрьской дороги. Говорит ревизор.

Не знаю, какой добрый демон подсказал мне эти слова, но телефонистка, в любое время дня и ночи повторявшая «занято», в ответ на подобную просьбу вдруг сказала:

— Даю.

— Когда отходит ближайший поезд в Москву?

— Через двадцать минут.

Я не увижу его! Не скажу, что я одна во всем виновата!

Кажется, курсантам военных школ положено одеваться в полторы-две минуты. Я оделась быстрее. Девочки стали приставать с расспросами, я что-то ответила и, опрометью сбежав по лестнице, бросилась к площади Льва Толстого.

Нечего было и думать на трамвае добраться до вокзала за пятнадцать минут. Такси в те годы не было и в помине. Но как раз накануне Машка Коломейцева рассказала мне об одном нашем студенте пятого курса, у которого рожала жена и который, растерявшись, выскочил на улицу, остановил первую попавшуюся машину и отправил жену в клинику. Этот случай смутно вспомнился мне, когда, перебежав через площадь, я увидела издали приближавшуюся по Большому проспекту машину. Остановить? И с бьющимся сердцем я пошла по мостовой навстречу машине.

— Что случилось?

— Товарищ шофер, мне нужно успеть на Октябрьский вокзал. Поезд отходит через пятнадцать минут. Я вас умоляю!

Шофер был мрачный, небритый, в ушанке, надвинутой на лоб. Я сунула ему пять рублей — все, что у меня было.

Он распахнул дверцу и сказал сердито:

— Садитесь.

...Сама не знаю, что я бормотала, заглядывая в окна, заходя наугад в вагоны. Помнится, мне хотелось крикнуть: «Андрей!» — как в лесу. Мне казалось, что в жизни не может быть большего несчастья: я потеряла Андрея. Он уедет, не повидавшись со мной, расстроенный, оскорбленный, не зная, что я все-таки люблю его, хотя и не так, чтобы он был счастлив, бедный, дорогой, милый!

— Таня! — Он стоял в двух шагах от меня, на площадке вагона. — Ты пришла!

Это было недолго — несколько мгновений, — когда я сердилась на него за то, что, красная, растрепанная, я проталкивалась в проходах среди пассажиров, возившихся со своими вещами, за то, что я плакала, когда он увидел меня. Потом я бросилась к нему и сказала все сразу:

— Я пришла, потому что это невозможно, чтобы ты уехал, не повидавшись со мной! Я не хочу, чтобы мы так расставались! Ведь ты не станешь сердиться за то, что я плохо знаю себя? Мне нужно было написать тебе, но я боялась, что это будут холодные, принужденные письма.

На Андрее было какое-то старое, позеленевшее пальто с лохматыми петлями, и я помню, что из-за этих петель мне тоже захотелось плакать. Но все это — и что он так похудел, что на носу стали видны беленькие параллельные полоски, и что, должно быть, Машенька перестала заботиться о нем, не обматывала петли, — обо всем этом сейчас было некогда думать. До отхода поезда осталось только три или четыре минуты.

— Да, я не думала о тебе, это правда! Я ничего не сказала Мите потому, что все как-то отодвинулось и покрылось туманом с тех пор, как мы расстались в Анзерском посаде.

Нужно было просто снять вещи Андрея с полки и выбросить их через окно на перрон. Но это даже не пришло мне в голову — без сомнения, потому, что я чувствовала себя виноватой. Для меня было наказанием то, что он уезжал, и вполне заслуженным наказанием, с которым я даже не пыталась бороться.

Я говорила и говорила, и уже усатый кондуктор вышел и пронзительно засвистел, а я еще говорила.

— Милая моя, родная, — наконец поспешно сказал Андрей, — спасибо, что ты пришла! Но все же я не хочу, чтобы ты думала, что связана тем, что сказала мне в Анзерском посаде. Мы будем переписываться, хорошо?

Поезд тронулся. Я быстро поцеловала Андрея.

— Да. И я ничего не стану скрывать от тебя. Ты мой лучший друг, единственный, самый дорогой — на всю жизнь!

Он стоял на площадке и кивал с просветлевшим, добрым лицом, а когда вагон был уже далеко, еще раз показал рукой, чтобы я написала.

Так всегда бывало после осенних бурь в Лопакхине, поражавших меня своей дикостью и первобытной силой: вдруг падает ветер, уходит на юг косая стена дождя, перестают страшно шуметь на Овражках деревья. Куда-то исчезает шалый дух разрушения, бессмысленно гремевший железом на крышах. Осторожно открываются двери, и лопакхинцы робко выглядывают в переулки, усеянные обломками водосточных труб, ветками, дранкой, которую ветер неизменно приносил с мельницы — там был станок, на котором делали дранку. Тесьма возвращается в свои берега, и в городе наступает тишина.

С этим чувством вдруг наступившей тишины я занялась после отъезда Андрея своими институтскими делами. Мне предстоял пятый курс, государственные экзамены. Работа на кафедре, которую поручил мне Николай Васильевич, была едва начата.

Больше я не ходила на съезд, только слышала от Рубакина, что с интересной речью выступил Крамов, который сообщил об организации в Москве Института биохимии микробов. «Вот куда бы попасть!» — с восторгом сказал Рубакин. Сотрудники нашей кафедры звали меня на заключительное заседание, но я не пошла, отговорившись болезнью Василия Алексеевича, которому становилось все хуже. Это было правдой — я проводила у Быстровых целые дни и часто оставалась ночевать, чтобы сменить измученную, отчаявшуюся Лену. Впрочем, волнение, растерянность, отчаяние исчезли из этого дома, когда стала совершенно ясна безнадежность положения больного. Василий Алексеевич умирал светло, спокойно, как человек, проживший большую, светлую, твердую жизнь, и только одно сожаление время от времени томило его: как много еще мог бы он сделать! Московско-Нарвский Дом культуры должен был открыться на днях, к десятилетию Октября, и к Василию Алексеевичу приходили друзья с подробными рапортами о том, как идет штукатурка верхних лож, как получается звезда на паркете, и он беспокоился, что свежий материал для дверей придется сушить над временками, на самой постройке. Главный инженер зашел к нему посоветоваться насчет выбора колеров для главного зала, и Василий Алексеевич настоял на бирюзовом и синем цвете, вопреки мнению какой-то важной комиссии. Накануне открытия он послал нас с Леной в Дом культуры, и мы ввели ему, что все готово, хотя в главном зале еще не было полов, стулья не привинчены, а стены окрашены едва ли наполовину. Вот об этом — о Московско-Нарвском Доме культуры — и говорили главным образом в эти дни у Быстровых. О том, что должно было вскоре прийти, о том, что было неизбежно, неот-

вратимо, никто не упоминал ни словом, и только Марию Никандровну я иногда заставляла на кухне стоящей у окна и молча глотающей слезы.

* * *

В приемной было много народу, и с первого взгляда я поняла, что ждать придется долго — часа два или три. Это не очень испугало меня, потому что я захватила с собой учебник гигиены — нетрудный предмет, который можно отлично изучать и в приемной. Впрочем, вскоре пришлось пожалеть, что я не взяла с собой «ушные и горловые», потому что соседи заметили, что я занимаюсь, и стали говорить шопотом, а когда какой-то парень громко зевнул над самым моим ухом, все укоризненно посмотрели на него, а одна старушка спросила с негодованием: «Дома не выспался?» И парень покраснел до ушей.

Накануне я позвонила Мите, и он таким неопределенно-равнодушным голосом заговорил со мной, что я спросила:

— Вы знаете, кто с вами говорит?

— Да, разумеется.

— Вы были у прокурора?

Он помолчал — повидимому, старался вспомнить, по какому делу ему нужно было пойти к прокурору.

— Нет еще.

— Дмитрий Дмитрич, ведь вы же согласились со мной, что нельзя терять ни одного дня.

— Да. Но ведь я обещал, что пойду после съезда.

Не было и речи о том, что он пойдет после съезда! И потом, что это за «обещал»?.. Можно было подумать, что дело, по которому он собирался говорить с прокурором, касается только меня.

Потом я узнала, что в этот день академик Никольский выступил с большой речью, в которой досталось — в числе прочих — и Мите; так что у него был серьезный повод, чтобы углубиться в собственные дела и заботы. Так или иначе, я решила, что не буду больше звонить ему, тем более что была одна важная причина, по которой мне хотелось, чтобы прокурор выслушал именно меня, а не Митю. Леша Дмитриев и Лена, с которыми я посоветовалась, тоже сказали, что откладывать нет ни малейшего смысла.

Какой-то человек, пожилой, с крупными чертами лица, в кепке, сдвинутой на затылок, в пальто, наброшенном на плечи, вышел из кабинета, потом вернулся немного погодя, и по тому оживлению, с которым его встретили в приемной, можно было догадаться, что это один из работников прокуратуры. Но мне даже в голову не пришло, что это и есть городской

прокурор, то-есть главный представитель советской законности в огромном, трехмиллионном Ленинграде.

— Прошу садиться, — сказал он, когда я вошла в просторный, строго обставленный кабинет. — Слушаю вас.

— Товарищ Гаранин, — это была фамилия прокурора, — я студентка Первого Медицинского института Власенкова и пришла по делу, которое требует вашего вмешательства. Возможно, что не вашего лично, но, во всяком случае, вмешательства прокуратуры. Профессор Заозерский (я подчеркнула фамилию Николая Васильевича и тут же с огорчением убедилась, что она не произвела на прокурора никакого впечатления), с которым я советовалась по этому поводу, рекомендовал обратиться именно к вам.

Он слушал не перебивая. Без кепки и пальто он выглядел более суровым, и на умном желтоватом лице установилось выражение привычного внимания.

— А, так вы по этому делу? — сказал он, когда я спросила, получил ли он заявление от Дмитрия Дмитриевича Львова. — Да, получил.

— Видите ли, я не в курсе того, что именно написал вам доктор Львов, — продолжала я, начиная немного волноваться, — но мне история покойного Павла Петровича Лебедева известна лучше, чем кому бы то ни было. Он был моим учителем и руководителем с детских лет, и я могу удостоверить, что его труд действительно имеет научное значение. У него была очень несчастливая жизнь, ко времени Великой Октябрьской революции он был уже беспомощным стариком. Тем не менее он довел приблизительно до середины свою работу, которая в настоящее время находится в руках этого темного типа. Вы знаете, о ком я говорю, товарищ Гаранин?

Прокурор кивнул. Он слушал меня с интересом.

— После революции Павлу Петровичу предлагали напечатать его работу, именно ту, о которой идет речь. Но он отказался, и это естественно, потому что оценить ее, повидимому, можно было только в законченном виде. После смерти Павла Петровича эта рукопись осталась у меня, поскольку его родные в то время... Доктор Львов в своем заявлении указал, каким образом она попала к Раевскому?

— Прошу вас рассказать все, что вы знаете по этому делу. Не спешите. И не волнуйтесь.

— Хорошо. Так вот представьте же себе маленький провинциальный городок...

Я сразу поняла, что нужно не рассказывать все без разбору, а как бы нарисовать портрет, причем сосредоточить в этом портрете все, что было характерно для Павла Петровича как человека науки. Может быть, не следовало упоми-

нать, что он занимался плесенью и приписывал ей сильнейшие лечебные свойства.

— А теперь я должна сообщить вам, — продолжала я с разбегу, потому что иначе сказать об этом мне было бы трудно, — что рукопись Павла Петровича попала к Раевскому по моей вине. Не знаю, что написал по этому поводу доктор Львов, но это факт, что я доверилась своему отцу, оставила ему рукопись, и отец...

Прокурор улыбнулся, и его желтоватое умное лицо с резкими крупными чертами смягчилось.

— Мне кажется, что винить себя в данном случае не приходится, товарищ Власенкова, — сказал он. — Кому же должна довериться дочь, если не своему отцу? Что же касается вашего отца, так он действительно виноват, поскольку распорядился чужим добром по своему усмотрению. Причем вина его усугубляется тем обстоятельством, что это добро не какие-нибудь там ложки и плошки, а научный труд, который принадлежит государству. Объяснительная записка вашего отца приложена к заявлению Львова. Теперь могу вам сообщить, что по этому заявлению в квартире гражданина Раевского уже произведен обыск и никакого научного труда обнаружить не удалось.

— Как не удалось?

— А сам Раевский утверждает, что о научных трудах он не имеет понятия. Ездил он, по его словам, в Лопухин за письмами артистки Кречетовой, которые и выпустил в свет отдельной книгой. Имел ли он на это право? Безусловно, нет. Однако это претензия особая, и могу лишь сказать, что она стоит в ряду других претензий, которые предъявило к гражданину Раевскому государство. Но относительно научного труда покойного Лебедева у нас имеется показание вашего отца — и только.

— Товарищ Гаранин, а я уверена, что рукопись у Раевского! Мы с доктором Львовым были у него... теперь я вижу, что это была ошибка! А теперь... Еще бы! Станет он держать дома научную рукопись, из-за которой — он это превосходно понял — может разыгаться неприятная история!

Прокурор внимательно слушал меня.

— Не волнуйтесь, товарищ Власенкова, — повторил он. — Я думаю, что вы правы. Но вот о чем я попрошу вас. Во-первых, передайте профессору Заозерскому мою просьбу прислать свое заключение по поводу пропавшей работы. С ваших слов он может сделать подобное заключение?

— Да.

— А во-вторых... Попрошу вас пройти сюда. — Он провел меня в соседнюю комнату и усадил за стол. — Напишите мне

подробнейшим образом все, что я от вас сегодня услышал. Не торопитесь и не волнуйтесь. Этот научный труд мы будем искать и дела в таком неопределенном положении не оставим...

Накануне отъезда Митя позвонил в общежитие, и я передала ему свой разговор с прокурором. Он удивился и спросил: написал ли Заозерский заключение по поводу труда Павла Петровича? Я ответила, что — да, хотя на самом деле Николай Васильевич только прочел это заключение, а написала его я от первого до последнего слова.

— Значит, все в порядке, — сказал Митя таким голосом, как будто именно он позаботился о том, чтобы все было в порядке. — А я тоже говорил с Николаем Васильевичем... о вас.

— Да? И что же?

— Сошлись.

— На чем?

— На том, что у вас есть данные.

— Какие данные?

— Научные, Таня, научные. Разумеется, если вы будете серьезно работать.

* * *

Это было на лекции, посвященной менингиту — воспалению мозговых оболочек, — одной из самых страшных детских болезней, против которой в то время знали только одно и то весьма несовершенное средство.

— Что же это за средство? — спросил профессор притихшую аудиторию.

И я громко сказала со своего места:

— Пункция.

Честное слово, до сих пор не знаю, каким образом эта пункция (прокол оболочек спинного мозга) залетела в мою голову. Но я так уверенно произнесла это слово, что обрадованный профессор немедленно пригласил меня подойти — очевидно, чтобы я могла похвастаться перед изумленными товарищами своими глубокими познаниями в детских болезнях. Дрожа, я вышла вперед, и началось... Что началось! На демонстрации был туберкулезный больной, и профессор задал вопрос, относящийся к туберкулезу. Я тупо уставилась на него и промолчала. Он задал другой, третий, а когда в ответ на четвертый я понесла чушь, покачал головой и сказал:

— Вот тебе и пункция! Ну-с, садитесь.

Разумеется, не потому я стала аккуратно ходить на лекции — даже на стоматологию, к которой питала необъяснимое отвращение, — что мне стало страшно получить плохой диплом или отстать от подруг. Но я подумала: еще год — и я стану врачом! Пригодится ли мне тогда мое стремление до-

казать во что бы то ни стало, что стрептококк, показавший в Анзерском посаде такую очевидную ненависть к возбудителю дифтерии, не потерял этого чувства, приехав вместе со мной в Ленинград? (Кстати сказать, весь октябрь я просидела в лаборатории, пытаюсь повторить этот опыт.) Пригодятся ли книги по микробиологии, прочитанные с таким трудом, что на всю жизнь осталось в памяти то почти физическое напряжение, с которым я пробивалась от страницы к странице? Пригодится ли мое умение попадать иглой в тончайшую вену кроличьего уха в ту минуту, когда я останусь одна-одинешенька у постели больного? Когда не подопытное животное, а человек, у которого своя счастливая или несчастливая жизнь, посмотрит мне в глаза с выражением доверия и надежды?

Разумеется, я не могла и не хотела решать этот вопрос в личном плане. Комсомольская ячейка нашего института только что выступила как организатор кампании «Деревне — врача!» Журнал «Медицинский работник» выходил в обложке, на которой завпосредбюро показывал на карте СССР кончающему студенту-медику свободный врачебный участок. На этот вопрос вообще не потребовалось бы ответа, если бы не моя микробиология, в практическом значении которой я сомневалась все больше.

Самое простое было посоветоваться с друзьями — и я посоветовалась: сперва с Олей, для которой было ясно, что мне следует заниматься наукой и только наукой. А потом с Леной, которая не сомневалась в том, что я должна посвятить себя деятельности практического врача. Прошло несколько дней, и я окончательно запуталась, потому что Леша Дмитриев сказал, что бюро ячейки решило выдвинуть меня на научную работу по кафедре профессора Заозерского.

В конце концов сущность вопроса заключалась все-таки в том, что я должна выбирать между двумя направлениями в жизни, которые — так мне казалось — были очень далеки одно от другого. Первый путь — наука — требовал не только упорства и знаний, но и таланта, которого у меня, быть может, и нет. «Это путь сомнений, исканий, — так говорил Николай Васильевич. — Зато какие светлые минуты достаются на долю того, кто находит хоть крупицу общей истины, объясняющую еще неведомую тайну природы!»

Второй путь — практика — вел меня непосредственно в самую глубину жизни.

Эти два пути с особенной отчетливостью представились мне на похоронах Василия Алексеевича Быстрова.

Был ясный октябрьский день, один из тех, когда кажется, что вернулось лето, но вернулось только для того, чтобы про-

ститься надолго. В сквере, вдоль которого мы прошли за гробом, было сухо, деревья стояли легкие, веселые, как будто им не жаль было расставаться с последней листвой, еще дрожавшей на ветках. Небо было бледное, но ясное, с нежными, высокими облачками.

Я много плакала на гражданской панихиде и теперь, выйдя на просторное шоссе, вздохнула полной грудью. Народу было так много, что, когда выносили, милиция на несколько минут остановила движение; но родных, кроме Марии Никандровны и Лены, не было никого, и мне вспомнилось, как Лена говорила, что она стала особенно сердечно относиться ко мне, когда узнала, что у меня, кроме отца, нет родственников — ни далеких, ни близких. И снова и снова у меня сжималось горло, когда я вспоминала, как она неподвижно стояла у изголовья гроба и не отрываясь глядела на мертвое лицо отца. Но я прогнала слезы и до самого Волкова кладбища думала о том, что сделала ошибку, проведя два года на кафедре микробиологии, среди лабораторного стекла, бесконечно далекого от человеческих мук и страданий.

Прощание было на панихиде, но и здесь, на кладбище, после речей тоже стали прощаться. В ясном свете дня, на воздухе, среди живых цветов странным казалось зеленое лицо покойника, который как будто с важностью прислушивался к какой-то происходившей в нем неизъяснимой тайне. И Митина речь на съезде, его страстный призыв к борьбе против рака, вспомнилась мне.

«Болезнь страшная, беспощадная. Болезнь, которую легко спутать с другими и трудно распознать, потому что она подкрадывается незаметно. Болезнь-тайна! Кто и когда разгадает ее?»

Все еще подходили, целовали в лоб, целовали тонкую, тоже зеленую руку. Вот Лена в последний раз наклонилась над отцом и что-то шопотом сказала ему. Вот гроб начали на веревках опускать в могилу, и такими грубыми показались эти толстые перекрутившиеся веревки, и то, что рабочие, побагровев, с натугой держали тяжелый гроб на весу, и то, что их высокие сапоги глубоко вжимались в глинистую землю. Вот первые комья с глухим стуком упали на гроб, и холм, покрытый цветами, вырос над свежей могилой.

П Р О В О Д Ы

Еще когда я была на четвертом курсе, в институте много говорили о том, что Николай Васильевич собирается переехать в Москву. На съезде я тоже слышала, что новый инсти-

тут эпидемиологии, которым будет руководить Николай Васильевич, решено организовать в Москве, а не в Ленинграде. Но это были неопределенные слухи, и на кафедре, например, никто им не верил. В самом деле, как было поверить тому, что придет день и никто из нас не услышит строгого покашливания Николая Васильевича, и «Реве тай стогне», и беспечного молодого смеха, когда вдруг выяснялось, что подопытный кот съел приготовленное к очередному «пятничному» чаю печенье! Кот был то подопытный, то ловил в виварии крыс. Как представить без Николая Васильевича кафедру, в одной из комнат которой стояли коллекции, вывезенные им из Китая, Индии, Египта, а в другой — висел портрет Мечникова с надписью: «Бесстрашному ученику от восхищенного учителя с пожеланием всяческого преуспевания в борьбе против наших микроскопических врагов!» Кафедру, на которой все было проникнуто его мыслью, создано по его слову!

В начале января Петя Рубакин сказал мне, что до конца учебного года Николай Васильевич будет совмещать московский институт с ленинградским, а в начале следующего окончательно переедет в Москву. День проводов был назначен, и некоей Тане Власенковой, сказал Рубакин, от имени кафедры поручено произнести прощальную речь.

Институт устраивал в честь Николая Васильевича торжественное заседание — оно должно было состояться через несколько дней. Но это было не заседание, а обычный «пятничный» чай, на который сотрудники кафедры явились с цветами — все знали, что Николай Васильевич любит живые цветы. Повсюду, на окнах, на шкафах, стояли букеты — всё гортензии: зимой трудно достать другие цветы в Ленинграде.

Николай Васильевич пришел в новом черном костюме (который — это было широко известно — шился к съезду и не был готов, потому что надул портной) и с первого слова объявил, что вчера просил у наркома разрешения забрать с собой всю кафедру в Москву.

— Он спрашивает: «Сколько же человек?» Я отвечаю: «Со слушателями тридцать четыре». — «Многовато», — говорит. А что за многовато, если вы мне все нужны, все мои дорогие, родные!..

Никогда прежде я не бывала на этих чаепитиях, где сотрудники кафедры держались свободно, как знакомые, совершенно иначе, чем на работе. Правда, я уже не была той девочкой, которая, решив посвятить себя науке, тайком пробралась в кабинет профессора и спряталась за портьеру. Но все-таки я чувствовала себя неуверенно, напряженно, неловко. То мне казалось, что я могу и даже должна вмешаться в серьезный разговор, завязавшийся между Николаем Ва-

сильевичем и Петей, то, съездившись на диване, я начинала торопливо повторять в уме свою речь.

Между тем речи начались, и было уже видно, что Николаю Васильевичу самому хочется сказать речь — у него было растроганное, но вместе с тем какое-то нетерпеливо-страдающее выражение. Вдруг дошла очередь до меня. Я встала, откашлялась, начала: «Дорогой Николай Васильевич...» — и замолчала, потому что оказалось, что я не помню ни слова. Это было ужасно. С ошолобленным видом я стояла, крепко сжимая рюмку в руке.

— Ну что, забыла? — спросил Николай Васильевич.

Все засмеялись; я вспомнила, и вышло даже к лучшему, что я так волновалась, потому что сказала совсем другое, чем приготовила, и это другое было гораздо серьезнее и умнее.

Николай Васильевич поцеловал меня и немного всплакнул. Когда молодежь приветствовала его, он всегда бывал особенно тронут. Вместо ответа он рассказал, как в 1919 году разнесся слух о его смерти, и в институте, в Микробиологическом обществе — словом, везде почтили его память вставанием, а академик Коровин, всю жизнь доказывающий, что Николай Васильевич не кто иной, как Дон Кихот, воюющий с ветряными мельницами, написал статью, в которой сравнил его одновременно с Мечниковым и Пастером.

— Потом, говорят, волосы на себе рвал, — сказал Николай Васильевич, — и доказывал, собачий сын, что я подстроил эту штуку нарочно... Ну, Таня, — сказал он, когда чай кончился и я подседа к нему, — а вы приедете ко мне в Москву, а?

— Нет, Николай Васильевич.

— Вот тебе и на! Почему?

— Потому, что я решила оставить микробиологию. Хочу работать как практический врач.

— Что такое? — Он взял меня за руки и посмотрел в глаза. — Это, кажется, серьезный разговор. Да, Таня?

— Да.

Он подумал:

— Завтра зайдите ко мне домой. Между двумя и тремя. Ишь, придумала! Практический врач!

УЧИТЕЛЬ

Еще ничего не было окончательно решено, но, несмотря на то что бюро ячейки попрежнему выдвигало меня в аспирантуру, я все более склонялась к тому, чтобы взять врачебный участок. Я поняла, что мучилась этими сомнениями, еще когда писала свою первую историю болезни — печальную

историю, кончающуюся словами: «Диагноз под вопросом». Разве не спрашивала я себя на собрании комсомольской ячейки, обсуждавшей дело Корсавина: «А тебе не придется вернуть государству деньги, затраченные на твоё обучение?» Когда после спокойных терапевтических клиник я в заразных бараках встретилась с лихорадочной борьбой, идущей у каждой койки, своими глазами увидев напряжённую работу жизни, стремившейся победить смерть, — разве не захотелось мне с головой ринуться в эту работу? Нет, нет, я думала об этом давно!

Но странная вещь! Едва я начинала представлять себе деятельность практического врача, как наша кафедра вспоминалась мне с какой-то пугающей соблазнительной силой. Что же, значит, не будет этого прекрасного чувства, с которым я всегда подходила к дверям лаборатории? Не будет затаённого волнения, когда, стараясь не спугнуть ещё неопределённую мысль, осторожно касаешься того неведомого, о котором ничего не знает ни один человек на земле? А надежда, пускай детская, что наступит день торжества, когда то, что я сделаю, коснется миллионов сердец, — я ещё не забыла её! А институт старого доктора, в котором всё происходило по его желанию и о котором я неизменно вспоминала в дни моих немногих удач?..

Мне не повезло. Вернувшись с «пятничного» чаепития, я наугад раскрыла Тимирязева, стала читать и наткнулась на страницу, умножившую мои колебания. Вот она:

«...Стыдитесь, — говорит ученому негодующий моралист, — кругом вас бедствуют люди, а вас заботит мысль — откуда взялась эта серая грязь на дне вашей колбы! Смерть уносит отца, опору семьи, вырывает ребенка из объятий матери, а вы ломаете голову — мертвы или живы какие-то точки под стеклами вашего микроскопа? Разбейте ваши колбы, бегите из лаборатории, окажите помощь больному, принесите слово утешения там, где бессильно искусство врача».

Но вот проходит сорок лет, и вновь встречаются эти воображаемые лица. Теперь берет слово ученый:

«...Вы были правы, я не оказывал помощи больным, но вот целые народы, которые я оградил от болезней. Я не утешал отцов и матерей, но вот тысячи отцов и матерей, которым я вернул их детей, обречённых на неизбежную гибель. И всё это было в той серой грязи на дне моей колбы, в тех точках, которые двигались под моим микроскопом!»

* * *

Николай Васильевич назначил мне час, когда он возвращался домой к обеду, и опоздал на добрых сорок минут. На-

конец пришел, веселый, с цветами, и от души удивился, найдя меня в своем кабинете.

— Что повесила нос, милая дивчина? — спросил он. — Опять собралась сказать речь и забыла? Садитесь-ка вот сюда. Я вас слушаю. И не сердитесь, что опоздал. Зато дома обедать не буду.

Он пододвинул мне кресло и сам сел у окна.

Ясным видением молодости встает передо мной эта минута: солнце сверкает на светлой мебели, обитой яркой полосатой материей, на твердых, блестящих фикусах, на письменном приборе, на лениво-внимательном Будде, которым прижата груда бумаг на столе. Николай Васильевич, толстенький, с седой бородкой, в небрежно завязанном галстуке, сидит, терпеливо приготовившись слушать, сложив на груди короткие руки. Он очень серьезен — без сомнения, чтобы не обидеть свою ученицу. Но в темных живых глазах мелькает ирония, от которой чувство растерянности с еще большей силой охватывает меня.

— Ну-с?

В общем, это был длинный, бессвязный рассказ, из которого можно было сделать только два вывода: во-первых, что я твердо решила посвятить себя деятельности врача на сельском участке, а во-вторых, что в глубине души мне все-таки хочется, чтобы Николай Васильевич не согласился с моими доводами и отправил меня заниматься теорией.

— Вот что, милая Таня, — выслушав меня, серьезно сказал он. — Однажды уж был, кажется, случай, когда я посоветовал вам прочитать «Дон Кихота». Мне нравится, когда из темного леса выходят по звездам, не спрашивая дороги. Но я вас полюбил и поэтому стараюсь ответить на ваши вопросы. Вы спрашиваете: должны ли вы посвятить себя практической медицине? Отвечаю: нет. Почему? Да потому, что у вас теоретическая голова. Все, чем вы интересуетесь, невольно — можно сказать, против вашей воли — оборачивается теоретической стороной. Вот вы рассказали мне о болезни отца Лены Быстровой. И что же? Что взволновало вас больше всего? Не клиническая картина, не вопрос о том, как облегчить страдания больного, а тайна самой болезни, перед которой беспомощно останавливаются глубочайшие умы медицинской науки. Да, у вас теоретическая голова. Правда, этого мало, нужны еще хорошие руки. Но это, милый друг, зависит от вас. Итак — наука! Вопрос второй: ехать ли вам после института в деревню или куда там пошлют? Безусловно! Почему? Потому, что для ваших научных интересов это будет только полезно.

Он говорил, и я слушала с таким чувством, точно в боль-

шом зале, по которому я бродила впотьмах, зажигались лампы, сперва в одном углу, потом в другом, и хотя было еще полутемно, но уже стали видны двери, через которые можно выйти на волю.

— Мне ли доказывать вам, что в деревне можно и должно заниматься наукой? Разве свою работу, весьма любопытную, вы не привезли из деревни, да еще глухой-преглухой, за сто километров от железной дороги? Да знаете ли вы, что иногда то обстоятельство, что в деревне нет сложного взаимодействия городских факторов, помогает решению важных вопросов! Угодно примеры? Пожалуйста: местные заболевания — скажем, зоб, трахома, энцефалит. Именно на материале сельского участка нужно изучать их статистику, лечение, результаты. А загадочное действие ядовитых растений? Много ли мы знаем о бактерицидных свойствах народных средств, которые продаются в каждой аптеке? Я уже не говорю о последовательной, научно поставленной борьбе с какой-нибудь определенной, характерной для района болезнью — ослепительная, увлекательнейшая задача! Милая моя, да я знаю крупнейших ученых, которые едут в деревню для решения самых сложных вопросов теоретической медицины! Вот-с. Это одна сторона. Но для вас важна и другая.

Николай Васильевич помолчал, вздохнул и попросил разрешения прилечь.

— У меня, например, — устроившись на диване, сказал он, — в молодости не было подобных сомнений. Я попал прямо в лабораторию, и мне удалось кое-что сделать, но лишь потому, что в те времена сама бактериологическая лаборатория была новостью в медицинской науке. Так что нельзя сказать, что для науки, по крайней мере с организационной стороны, это были потерянные годы. Но пришел день, когда мне стало ясно, что я превратился в скучного собирателя фактов, встающих перед ним внезапно, как из тумана. На второстепенном — вот характерная черта! — я стал настаивать, как на главном. И нужна была катастрофа, чтобы мне стало ясно, что наука и жизнь не должны расходиться под линзами микроскопа.

И Николай Васильевич рассказал, как еще молодым человеком, работая на Одесской бактериологической станции, он, по поручению Мечникова, делал овцам массовые прививки против сибирской язвы и три тысячи животных погибли по неизвестной причине.

— По неизвестной причине! А на деле причина заключалась именно в том, что он не был проверен жизнью — тот опыт, который я пытался столь широко применить. Вот что было для меня катастрофой! — раздельно повторил

Николай Васильевич. — Вот-с, милый друг! Так что — смело вперед! Вам сколько лет — двадцать два? Вы не белоручка и, слава богу, здоровы. Так взгляните же открытыми глазами на жизнь, о которой вы не имеете еще никакого понятия. Вы встретитесь с трудностями — это почти неизбежно. Но вы преодолеете их, в особенности если не будете забывать, что, в сущности говоря, вам дьявольски повезло — до революции вам нечего было бы делать с вашим призванием. В деревне вы получите то, чего никогда не найдете в лаборатории, хотя бы ею руководил гениальный ученый, — жизненный опыт! Да-с, жизненный опыт, значение которого для человека науки переоценить невозможно.

Мы говорили добрых три часа, и то, что в этот день я услышала от Николая Васильевича, заставило меня надолго забыть о своих сомнениях. Потом они появились снова, но на этот раз окончательное решение подсказала мне сама жизнь.

ПРОЩАНИЕ С ЮНОСТЬЮ

Но сомнения сомнениями, а пора было браться за дело, то-есть кончать институт. Пятый курс, потом государственные — при одном этом слове мне становилось холодно и что-то катилось от головы к ногам, очевидно душа уходила в пятки.

В первом полугодии я еще заходила на кафедру, главным образом чтобы посоветоваться с Петей Рубакиным, которому Николай Васильевич поручил позаботиться о моей первой статье. Во втором — забыла и думать, что существует на белом свете, да еще в Ленинграде, да еще во дворе Первого Медицинского, скромное серое здание, в котором некая студентка ежедневно до поздней ночи возилась с таинственным стрептококком. Кстати сказать, я потеряла сон и покой, работая над статьей, посвященной этому стрептококку. Я переписывала ее по меньшей мере четыре раза. Потом Оля Тропина исправила стиль, и я переписала еще раз. В особенности не давалась мне одна фраза, начинавшаяся словами: «Поповой доказывалось...»

Но что значили эти муки в сравнении с неслыханным издевательством, которое я ежедневно терпела от Пети! То он начинал публично доказывать, что за эту статью я должна получить по меньшей мере Нобелевскую премию. То утверждал, что мое — очень скромное — название никуда не годится и статью нужно назвать: «О противоестественном поведении одного паразита». То требовал, чтобы я посвятила ее памяти выдающегося советского микробиолога Петра Николаевича Рубакина, поскольку сей последний отдал данному

произведению все свои силы и, читая двенадцатый вариант, скончался в ужасных мучениях. То, едва увидев меня, он кричал: «Поповой доказывалось» — и умолял, чтобы его отвезли в сумасшедший дом. Словом, дорого досталась мне его помощь, и день, когда я наконец отправила статью Николаю Васильевичу, показался мне праздником, несмотря на то что это был отвратительный, пасмурный день, битком набитый «ушными и горловыми».

Ох, уж эти горловые и ушные! Это было необходимо — кто не понимал, что на периферии каждый из нас мог прежде всего встретиться с этими болезнями! Но все время, пока я занималась ушными и горловыми, у меня было неприятное чувство, что ко мне пристают с чем-то длинным, скучным, однообразным и что ровно ничего не произойдет, если на другой день после экзамена я забуду об этих болезнях. И я забыла, впрочем только потому, что началась новая неделя, а на пятом курсе это значило: новый предмет.

Я занималась с Олей Тропининой и еще раз оценила ее умение легко схватывать то, что можно назвать «общей панорамой» предмета. В любой новый курс она входила, как в город, держа перед глазами воображаемую карту и следя по ней за линиями улиц. Она очень помогала мне, но и я ей, кажется, тоже. Она нетерпеливо относилась к мелочам, а были предметы, представляющие собою не что иное, как перечень мелочей, да еще и прескучных. Она не любила возвращаться — превосходная черта! Но, как известно, не возвращаясь к прочитанной странице, очень трудно, почти невозможно окончить медицинский институт. Кроме того, когда в шестом часу утра Оля засыпала на полуслове, я трясла ее за плечи, ругала, хотя и очень жалко было смотреть на ее худенькое милое лицо с большими, влажными, закрывающимися глазами.

* * *

Это было неожиданно, когда из сплошного, слившегося времени, состоявшего из зубрежки, ночных дежурств, торопливых практических занятий, времени, делившегося не на дни и часы, а на детские и инфекционные, вдруг выглянула весна. Однажды, идя с утомительного дежурства в Институте скорой помощи, я посмотрела на небо и убедилась, что Зсмя, как ни странно, продолжает свой бег вокруг Солнца, не обращая внимания на заботы и огорчения очередного выпуска молодых врачей. Небо было весеннее, нежная луна, едва заметная в его прозрачной голубизне, медленно уходила, ночные пушистые облачка тепло розовели, освещенные солнцем, а оно — великолепное, красно-желтое, тоже весеннее — уже вставало где-то далеко, готовясь ринуться в город.

Так же неожиданно, как весна, обнаружилось, что почти все мои подруги вышли замуж. Эту «кампанию» начала, к общему изумлению, тихая, сдержанная, молчаливая Верочка Климова, вышедшая за того молодого военного врача, который водил меня на гастроли МХАТа. Я же и познакомила их — недаром на свадебном обеде третий, после жениха и невесты, тост был провозглашен за меня. Потом вышла Машка Коломейцева и тоже удивила — не потому, разумеется, что вышла, но потому, что, отвергнув множество завидных женихов, выбрала студента-египтолога — худого, лохматого, в темных очках и погруженно-го в книги, интересовавшие его, кажется, гораздо больше, чем Машка.

— Ничего не поделаешь, девочки, любви! — решительно объявила она.

Когда мы готовились к государственному, я получила приглашение еще на одну свадьбу — не институтскую, а нашу, лопухинскую, о которой я еще расскажу.

Андрей писал мне очень часто, и теперь мне казалось странным, что до сих пор я жила, не получая этих длинных, ласковых писем. Он писал, не выбирая главного в своей жизни: о рыболовной артели, в делах которой он принимал горячее участие, о разговоре с лоцманом (в посаде жил интересный старик-лоцман восьмидесяти пяти лет), о новом, тоже артельном, строительстве карбасов на Анзерке. Иногда он спохватывался: а вдруг то, что он пишет, не занимает меня? Он ошибался — не только потому, что это были живые, свободные письма, в которых, как пульс, билась ровная, неторопливая, пытливая мысль, но еще и потому, что я инстинктивно чувствовала, что он не один сражается с Митрофаном Бережным, который был для него живым олицетворением старого мира, любителю девушками-гребцами, поразившими его своей красотой. Впрочем, в некоторых письмах он прямо писал, что видит меня рядом с собою.

«Вчера вернулся из Архангельска. Был на концерте, слушал Шестую симфонию Чайковского, и знаешь ли, что происходило у меня в душе под эти золотые звуки? Я вспоминал нашу юность, полную великолепных надежд! Ты помнишь наш с тобой разговор на Пустыньке после школьного бала? Мы мечтали совершить великое во имя и для счастья народа. Откуда взялась эта мысль, которая с тех пор невольно звучит в душе, как далекая, но отчетливая мелодия? Откуда этот свет правды и чистоты, озаривший наши школьные годы? Он пришел к нам от тех, кто впервые в истории человечества не согласился с господствующей идеей: «человек человеку — волк». «Какое счастье, что ты не одинок, — как будто говорила мне эта музыка, поднимавшая из глубины души какие-то радостные слезы, — что твои усилия не потонут в океане усилий других людей, стре-

мящихся изменить жизнь и сделать ее прекрасной, счастливой!» Потом я стал думать о тебе, и так живо представилось, как ты внимательно слушаешь меня, а потом говоришь одно слово, от которого мои умные мысли в один миг переворачиваются вверх ногами...»

Всегда мне было трудно отвечать на письма Андрея — в письмах становилось особенно ясно, насколько он образованнее, чем я. Но теперь я отвечала легко. Конечно, нечего было и думать угнаться за Андреем, который, сидя в Анзерском посаде, успевал следить не только за научной, но и за художественной литературой, выписывал журналы и был в курсе всего, что происходило в стране...

В мае Лена Быстрова вернулась с VIII съезда комсомола — усталая, повзрослевшая и какая-то другая, чем прежде. С первого же слова она заявила, что должна подготовиться к докладу, и пропала на несколько дней, но однажды вечером вдруг явилась, захлопнула перед моим носом учебник судебной медицины и вытащила меня на улицу, уже полную той неопределенной игры теней и света, которой всегда начинается ленинградская белая ночь.

Лена видела на съезде Сталина и слышала его речь.

— Ты знаешь, какое у меня было чувство, — сказала она: — как будто каждое слово имело прямое отношение ко мне. Я проверяла себя все время, пока он говорил, — вот это обо мне! А это? И знаешь что, Таня, — вдруг взволнованно сказала она: — слушая его, я подумала, что была неправа, советуя тебе отказаться от аспирантуры.

— Почему?

— Потому что у тебя все-таки есть данные и ты, наверно, могла бы стать хорошим ученым. Знаешь, что он сказал? — И Лена процитировала наизусть: — «Нам нужны теперь целые группы, сотни и тысячи новых кадров из большевиков, могущих быть хозяевами дела в разнообразнейших отраслях знаний. Без этого нечего и говорить о быстром темпе социалистического строительства нашей страны».

— А ты думаешь, что я могу заниматься наукой?

Лена не ответила, задумалась, и некоторое время мы молчали по Университетской набережной, пустынной в этот сумеречный час. Было тихо, только стук наших каблучков по панели слышался да на Неве пыхтел катерок, тащивший баржу.

— Да, все зависит от нас, — сказала Лена. — И я теперь вижу, что, в сущности говоря, мы еще только начинаем учиться. Он сказал, что наука — это крепость, которой должна овладеть молодежь, если она хочет быть строителем новой жизни. А мы хотим быть этими строителями и будем, потому что верим в торжество коммунизма и готовы отдать ему все свои силы!

С трудом вспоминаю я несколько дней, прошедших между курсовыми и государственными экзаменами, которые начались в июне. Девочки потащили меня на «Похищение из сераля» Моцарта; я мгновенно заснула и открыла глаза, когда похищение уже совершилось. Во втором акте я вдруг обнаружила за щекой карамель — должно быть, снова вздремнула. Зато к концу третьего окончательно пришла в себя и потребовала у девочек, чтобы оперу показали сначала.

На другой день Леша Дмитриев, встретив меня и Олю на институтском дворе, объявил, что у нас «жалкий, полузадохшийся вид», и доказал, что для того, чтобы сдать госэкзамен, нам нужны три вещи: гулять, гулять и гулять. Мы испугались и пошли в Ботанический сад. Это была странная прогулка! Оля все время громко дышала и говорила: «Внимание! Вентиляция организма», а я изображала артистку Колумбову из Московского театра эстрады. Потом мне захотелось посидеть в беседке на холме, с которого открывался вид на длинную аллею, красиво расчерченную параллельными косыми тенями, но Оля не дала, объяснив, что мы должны не сидеть, а «драться за здоровый отдых». В саду было привольно, прохладно, от маленьких серозеленых растений подле оранжереи пахло легкой горечью, нежные, молодые побеги елей были уже темные, твердые — верный признак, что лето в разгаре. Часа три мы бродили по саду и наконец уснули где-то в кустах, голодные, счастливые, пьяные от воздуха, зелени и неслыханного, давно забытого фантастического безделья.

Это было в середине июня, государственные уже начались; мы занимались троим — Оля, Лена Быстрова и я, — и счастливый день в Ботаническом давно казался мне полусном. Помнится, мы обсуждали в этот вечер сложный план, согласно которому наша группа не должна была попасть к Гиене Петровне (таково было прозвище некой Елены Петровны М., доцента по детским болезням), когда в дверь постучали, позвонили, и на пороге показалась нарядная, похорошевшая, смущенная, в новой шляпке с вуалью Ниночка Башмакова.

Разумеется, прежде всего мне пришло в голову, что кто-то снова объяснился ей в любви и она пришла, чтобы немедленно обсудить со мной, серьезно это или несерьезно. Но на этот раз у меня не было времени, чтобы заняться подробным изучением вопроса, я, усадив ее тут же в передней на диванчик — это было в квартире Быстровых, — я сказала решительно:

— Ну, выкладывай! Десять минут.

Нина засмеялась, покраснела, откинула вуальку и поцеловала меня с задумчивым — это было поразительно! — видом.

Спохватившись, что закрасила мою щеку, она вынула платочек, стала оттирать, размазала и сказала счастливым голосом:

— Уф!

Мы все заметно одичали во время экзаменов — я, кажется, больше других. Поэтому я тоже сказала «уф», но с другим — нетерпеливо-страдающим выражением.

— Говори же!

— Ничего особенного! Просто меня собираются пригласить в Михайловский театр.

— Да ну?

Это было великолепно — едва окончив консерваторию, получить приглашение в большой, известный всей стране театр, — и я от всей души поздравила Нину:

— Вот молодец! Помнишь, как Гурий спрашивал: «Ребята, а вдруг я — гений?» Когда твой дебют? Я весь институт приведу! Скоро?

— Постой... Это еще не всё.

Нина заморгала, потом зажмурилась, и две слезы, большие, счастливые, покатались из зажмуренных глаз.

— Понимаешь, он очень хороший, — она вытерла слезы, — и даже слишком умный для меня, но мне не страшно, что он такой умный, а между тем даже с тобой иногда почему-то страшно. И он любит меня! До сих пор, когда мне объяснялись, я как-то не чувствовала. А теперь почувствовала — и знаю наверное и убеждена, что ему все равно, что я хорошенькая и пою, а важно совершенно другое. Он мне давно понравился, еще в прошлом году, но, понимаешь, мне даже в голову не приходило — во-первых, потому что он всегда был погружен в музыку, то-есть в себя, а во-вторых, потому что он знаменитый.

— Знаменитый?

— Ну да! Знаешь кто? Виктор Сергеев.

— А-а...

Признаться, в первую минуту я не вспомнила, кто таков Виктор Сергеев и почему Нина с гордостью произнесла это имя. Но потом афиша Филармонии мелькнула передо мной, статья в вечерней «Красной»...

— Постой, но ведь он же москвич?

— Да нет, ленинградец! Он наш, консерваторский, ученик Шелепова. Он давно кончил, еще в двадцать третьем, его оставили при консерватории, понимаешь?

Я обняла Нину:

— Вот теперь, когда ты не спрашиваешь, серьезно или не-серьезно, я верю, милый друг, что это серьезно.

Мне хотелось, чтобы девочки тоже поздравили Нину, но она не пустила меня, и мы болтали до тех пор, пока из Лениной

комнаты не донесся многозначительный кашель. Нина заторопилась:

— Постой, да как же твои дела?

— Ничего, пока сдаю хорошо. Но впереди, ох, самое трудное! Хирургия.

— А комиссия по распределению была?

— Вчера.

— И что же?

— Еще не знаю.

— Но ты останешься в Ленинграде?

— О нет! Да мне никто и не предлагает.

Это было правдой — с тех пор как уехал Николай Васильевич, на кафедре перестали говорить о том, что он предлагал мне остаться в аспирантуре.

— Как же так? — с огорчением спросила Нина. — И не дают выбрать?

— Дают. Я, например, попросилась в Лопахин.

— Не может быть! Вот здорово! Тогда мы будем видаться часто!

— Погоди, еще не дадут!

— Да что ты! Ведь это нам с тобой кажется, что Лопахин — прелесть! А для других — это страшная глушь! Дадут!

Многозначительный кашель повторился, и я поскорее простилась с Ниной. Еще раз крепко обняла ее. Еще раз заглянула в добрые заплаканные глаза, по которым было видно, что Нине от души хочется, чтобы мне стало так же хорошо, как ей. Еще раз пожелала счастья. Потом проводила до ворот, и милое, легкое виденье в шляпке с вуалью исчезло за углом, как за кулисой, а я вернулась к кишечным расстройствам, которые, как известно, представляют собою серьезнейшую опасность для грудных, особенно в летнее время.

* * *

Душным июльским вечером я выхожу из института и поворачиваю не направо, как обычно, к общежитию, а налево — все равно куда, к трамвайному парку. Только что кончилось торжественное собрание нового выпуска молодых врачей, чудные слова доверия и надежды еще звенят в голове, лица товарищей, похудевшие, счастливые, еще мелькают перед глазами. «Очень странно, девочки, — сказала Лена Быстрова, — но жизнь, оказывается, может стать еще интереснее».

Я сажу в незнакомый садик на берегу Невы, и девочки, до сих пор старательно игравшие в «классы», с удивлением смотрят на тетю-чудачку, которая ложится на скамейку и как зачарованная смотрит в прекрасное, еще подернутое дымкой жары, остывающее вечернее небо. Неужели уже прошли, про-

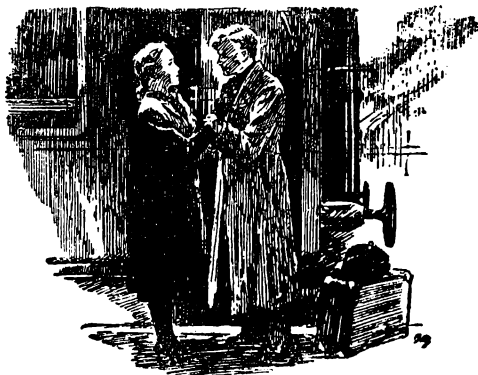
мчались, отшумели институтские годы? Трамвай, звеня, скатывается по Сампсониевскому мосту — прямо ко мне? Последний зеленый луч заката скользнул над Невой — для меня? Толстая, важная няня, точно сошедшая со страниц детской книжки, подходит с вязанием в руках и спрашивает, не дурно ли мне. Я смотрю на нее, и слезы счастливого волнения застилают глаза. Неужели эта доброта, и вежливость, и вязание в руках — для меня?

* * *

Молодость кажется бесконечной, и о ней хочется рассказывать долго, подробно, с любовью. Почему не рассказать, например, о прекрасном «лопахинском» вечере у Нины, на который пришли Гурий, собиравшийся в Запорожье, где начиналось строительство Днепровской плотины, и командир-подводник Володя Лукашевич, у которого был такой вид, как будто он так и не собрался поговорить со мной о чем-то очень важном? Почему не рассказать, как Гурий произнес немного длинную, но, в общем, превосходную речь о том, что все мы, в сущности говоря, «разъезжаемся в пятилетку»? Почему не рассказать о том, что на этом вечере кто-то заговорил об Андрее и оказалось, что каждому из нас по-своему не хватает Андрея? Почему не рассказать о том, как рано утром мы вышли на улицу — Нина жила теперь в Чернышевском — и отправились к Неве, над которой с гортанными криками низко носились чайки?

Мы вышли вперед, взявшись за руки, во всю ширину панели. Гурий громко читал Маяковского: «Эй, вы! Небо! Снимите шляпу!», и город был нарядный, просторный, молодой и опять какой-то новый, в мягких красках тающей белой ночи.

Но хватит! Мне предстоит рассказать еще многое, и, быть может, лишь вступлением к тому, что составляет главное содержание жизни, окажутся молодые, быстро промелькнувшие годы?..



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---------------------|---|
| От автора | 3 |
|---------------------|---|

Глава первая — Первые страницы

| | |
|---|----|
| Таня | 7 |
| О чем рассказал Андрей | 11 |
| «Депо проката роялей и пианино» | 15 |
| Скоро домой | 18 |
| Старый доктор | 22 |
| Загадка | 25 |
| Свидание | 30 |
| Замостье | 32 |
| Письмо. Мамино детство. Снова у Львовых | 37 |
| Павел Петрович | 49 |

Глава вторая — Старый доктор

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Для кого? | 61 |
| У Львовых гости | 66 |
| Встреча | 70 |
| Друзья | 73 |
| Голосую против | 76 |
| Думаю | 79 |
| Разговор с Глашенькой | 83 |
| Дебют | 86 |
| Ночь на Пустыньке | 89 |
| Несколько дней | 94 |
| «Синема — чудо XX века» | 99 |
| Слушаю курс | 102 |
| Отец | 106 |
| Прощание | 111 |
| Заботы | 116 |
| Новогодняя ночь | 119 |
| Старая история | 122 |
| Решение | 125 |
| Сон | 129 |
| Тишина | 134 |

Глава третья — Студенческие годы

| | |
|--|-----|
| Испытание | 143 |
| Первый Медицинский | 149 |
| Первые годы | 151 |
| Три дома | 159 |
| Ничего не выходит | 166 |
| Полет | 174 |
| Переправа | 181 |
| Ночной обход | 185 |
| Машенька | 187 |
| Большой разговор | 190 |
| Большой разговор (продолжение) | 196 |
| Страшная минута | 200 |

Глава четвертая — Прощание с юностью

| | |
|---------------------------------|-----|
| Возвращение | 211 |
| Глафира Сергеевна | 217 |
| Письма к неизвестному | 222 |
| Дурные вести | 226 |
| Как поступить? | 229 |
| Разговор с Раевским | 233 |
| Митя говорит о себе | 238 |
| Сложное дело | 241 |
| На съезде | 249 |
| Доклад | 252 |
| Простая случайность | 260 |
| Сущность вопроса | 266 |
| Проводы | 272 |
| Учитель | 274 |
| Прощание с юностью | 278 |

К ЧИТАТЕЛЯМ

Издательство просит отзывы об
этой книге присылать по адресу:
Москва, Д-47, ул. Горького, 43. Дом
детской книги.

Для старшего возраста

Каверин Вениамин Александрович

ЮНОСТЬ ТАНИ

Ответственный редактор С. Н. Боярская. Художественный редактор П. И. Суворов.
Технические редакторы М. А. Кутузова и Ю. А. Молоканов.
Корректоры Е. Б. Кайрукишис и Р. С. Мишелевич.

Сдано в набор 20/V 1955 г. Подписано к печати 15/VII 1955 г. Формат 60×92¹/₁₆ —
18,13 п. л. (16,73 уч.-изд. л.). Тираж 75 000 экз. А03300. Заказ № 751. Цена 7 р. 60 к.
Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сущевский вал, 49.

7p.60x.